



Александр Товбин

приключение сомнамбулы

ТОМ 2

Александр Товбин

Приключения сомнамбулы. Том 2

«Геликон Плюс»

2008

Товбин А. Б.

Приключения сомнамбулы. Том 2 / А. Б. Товбин — «Геликон Плюс», 2008

История, начавшаяся с шумного, всполошившего горожан ночного обрушения жилой башни, которую спроектировал Илья Соснин, неожиданным для него образом выходит за границы расследования локальной катастрофы, разветвляется, укрупняет масштаб событий, превращаясь при этом в историю сугубо личную. Личную, однако – не замкнутую. После подробного (детство-отрочество-юность) знакомства с Ильей Сосниным – зорким и отрешённым, одержимым потусторонними тайнами искусства и завиральными художественными гипотезами, мечтами об обретении магического кристалла – романная история, формально уместившаяся в несколько дней одного, 1977, года, своевольно распространяется на весь двадцатый век и фантастично перехлёстывает рубеж тысячелетия, отражая блеск и нищету «нулевых», как их окрестили, лет. Стечение обстоятельств, подчас невероятных на обыденный взгляд, расширяет не только пространственно-временные горизонты повествования, но и угол зрения взрослеющего героя, прихотливо меняет его запросы и устремления. Странные познавательные толчки испытывает Соснин. На сломе эпох, буквально – на руинах советской власти, он углубляется в лабиринты своей судьбы, судеб близких и вчера ещё далёких ему людей, упрямо ищет внутренние мотивы случившегося с ним, и, испытав очередной толчок, делает ненароком шаг по ту сторону реальности, за оболочки видимостей; будущее, до этого плававшее в розоватом тумане, безутешно конкретизируется, он получает возможность посмотреть на собственное прошлое и окружающий мир другими глазами... Чем же пришлось оплачивать нечаянную отвагу, обратившую давние творческие мечты в суровый духовный опыт? И что же скрывалось за подвижной панорамой лиц, идей, полотен, архитектурных памятников, бытовых мелочей и ускользающих смыслов? Многослойный, густо заселённый роман обещает читателю немало сюрпризов.

© Товбин А. Б., 2008
© Геликон Плюс, 2008

Содержание

Часть шестая	7
Часть седьмая	134
Конец ознакомительного фрагмента.	190

Александр Товбин

Приключения сомнамбулы. Том 2

© Товбин А., текст, 2008

© «Геликон Плюс», макет, 2008

* * *

Часть шестая

Ослепшие зеркала

подсказки цепкого впечатления

Шагая после допроса по громыхавшему трамваями мосту на Васильевский, к Художнику, Соснин машинально набрасывал деятельный портрет: у Остапа Степановича Стороженко были редкие русые волосы, аккуратно зачёсанные наверх, под плоским лбом симметрично лепились правильные мелкие детали лица, голова же Стороженко при его среднем росте достигала вполне нормальной величины... между сероватыми глазками и коротким, прямым, без намёка на горбинку носиком, гибкими влажными губками простиралась пустота бескровной пористой кожи... и ещё были усы, как же, упустил усы.

кое-какие дополнения к анкете

Не очень-то здоровый цвет лица, наверное, объяснялся умственной нагрузкой, которую нёс этот компетентный юрист.

Остапу Степановичу, в коем удачно скрестились гуманитарные способности с трудолюбием, прочили блестящее научное будущее; после успешной защиты, несмотря на молодость – было ему всего-то лет тридцать пять – он готовился взойти на ключевую кафедру с гарантией профессорской должности, однако, покоряя академические высоты, он не бросал и беспокоящую практику – практические приложения его научных познаний в области юриспруденции не довольствовались рутинным пожиранием нервных клеток, требовали непрестанной, углублённой работы над собой, чтобы во всеоружии разнообразнейших сведений вести уголовные дела, подчас вынуждавшие вторгаться в абсолютно незнакомые сферы. Ко всему Остапа Степановича упростили временно консультировать Отдел Культуры всеильного Комитета да так и осталось... Вроде бы сполна хватало обязанностей, но с темпераментом неугомонного общественника он вёл ещё и семинар по марксистско-ленинской эстетике, сопредседателем правовой комиссии юристов-демократов, имевшей высокий международный статус, мотался по странам и континентам, а к возвращению на просторнейшем рабочем столе его вырастал Монблан новых дел, конечно же – неотложных.

ритуальные пассы перед допросом

– Проходите, Илья Сергеевич, не бойтесь! – с украинской певучестью пригласил Остап Степанович, поднимая от документов засиявший лик, который округлой мягкостью ободряюще контрастировал с висевшим за спиной следователя каноническим фотопортретом узколицего, с клинком бородки Дзержинского. – Проходите, проходите, – повторял он, хлопая одной ладонью по бумажной свалке, где запряталась зажигалка, а другой, отгоняя досадливо кружившую моль.

Нашупав зажигалку, сверкнув огоньком, вспомнил о сигарете, лежавшей поверх портсигара с кустистой монограммой, снял сигарету с крышки и широким жестом протянул распахнувшийся на лету портсигар. Когда Соснин, невольно вдохнувший табачные благовония, пока-

чал головой, следовательно, наконец, закурил, отдался жадной сладкой затяжке, но, опережая облачко дыма, тень озабоченности неожиданно легла на его чело. Извинился, что отвлечётся, потребовал от телефонной трубки чего-то, чего больше не желал ждать, при этом он листал записную книжку с каллиграфически-ровненько, строчечка к строчечке, заполненными страничками и выравнивал на маленьком носу очки в роговой оправе; очки отчасти скрадывали пустоту лица, чему, впрочем, служили и небольшие, хотя пышные – не то, что шевелюра – рыжеватые усы, понуждавшие Остапа Степановича, дабы, неровен час, не воспламениться, пользоваться при курении длинным, плавно сужавшимся и уплощавшимся для удобства прикуса мундштуком из изукрашенного «под мрамор» желтоватого пластика.

добавочные штрихи

Несмотря на бескровность лицевого покрова – впечатление бескровности, кстати сказать, усугублял мертвящий люминесцентный свет, даже днём заливавший казённо-аскетический кабинет с узким окном, – Остап Степанович был ярко выраженный сангвиник, излучавший душевную подвижность, неутомимость. Чувствовалось, что нерасчётливо-щедро расходуясь на работе, он, однако, ночью хорошо высыпался, по утрам оплачивал трусцой дневную упругость и мышц, и мыслей. А как ему шёл двубортный костюм-тройка мышьиной масти с блестящими пуговицами и знаком интеллектуальной доблести – лиловым университетским ромбом на лацкане! Хотя... хотя свежая, в бело-красную клеточку, сорочка, гороховый галстук с косой оранжевой полосой, защемлённый безупречно-твёрдым нейлоновым воротничком и ускользающий под жилетку с выведенным наружу тоненьким кантиком атласной подкладки, сообщали его облику несколько противоречившую служебной официальности франтоватость, которую он даже оттенял гороховым же, с оранжевыми искорками платочком, купленным, надо полагать, в комплекте с галстуком и не без кокетства высунувшим плотно сложенные крылышки из нагрудного кармашка пиджака, будто в нём, этом потайном кармашке, томилась дивная бабочка. Между тем из тщательно подогнанных одна к другой частей туалета складывалось в целом исключительно приятное впечатление опрятной значительности, вроде бы начисто нейтрализовавшей мелкие огрехи лица, впрочем, подходя к столу по тропинке, протоптанной взволнованными подследственными в бобрике болотного синтетического ковра, нельзя было не заметить на нижней губе Остапа Степановича обесцвеченную ангиому размером с недоразвитую брусничину.

чистосердечные признания следователя по особо важным делам

– Усаживайтесь поудобнее, Илья Сергеевич, не ищите правду в ногах, – вновь с форсированной любезностью пропел после слабого прохладного рукопожатия и фокусов с портсигаром Остап Степанович.

И глянул на свежие известковые отпечатки подошв на паркете, ковре, вздохнул сокрушённо. – Это не косметический ремонт, бедствие.

– Не числится в картотеке? Отвечаете за свои слова? – грозно крикнул в трубку, прижатую плечом к правому уху, левое же ухо подставил вошедшему без стука низкому сотруднику плотного телосложения в коричневом костюме и скрипучих ботинках; пока тот щекотал ухо Остапа Степановича холёной чёрной бородкой и что-то шептал, шептал, беззастенчиво косясь тёмным выпуклым глазом на Соснина, Остап Степанович слушал с непроницаемой миной, ответы на вопросы шептуна писал на бумажках, которые потом рвал и многозначи-

тельно сжигал в пепельнице. Вдруг следователь ослабился, отчего кожа у уголков рта собралась густыми морщинками. – Лёгкую задачку я вам, таким орлам, и не поручал! Ищите, ищите, картотеку до доньшка перебрать, – кисти рук, не приученные бездельничать, потянулись к изящному миниатюрному несессеру с петлевой ручкой, привалившемуся к многогранно сверкавшей, словно редкостный аметист, чернильнице, к ней было прилажено ещё и гусиное перо из бронзы. Дотянулся, извлёк из кожаного пазика маникюрную пилочку и ну опиливать и без того идеально закруглённые ногти; художественно оформленная чернильница, несессер, да и костюмный лоск следователя выбивались из казённого убранства кабинета, обнесённого фанерованной панелью и обставленного тяжёлой дубовой мебелью, которая явно тосковала по золотому веку органов.

Вне очереди приглашённый сотрудник избавился от конфиденциальной информации, проскрипел на цыпочках к двери; на другом конце провода с новым усердием взялись искать в загадочной картотеке что-то суперважное для ускоренных отправок следствия; Остап Степанович, довольный собой, сморщив потешно носик, пожаловался. – Темп сумасшедший, вынуждает служить многостаночником! Прозаседал за границей, потратил неделю на пустопорожнюю болтовню с повинностями на голодных коктейлях, когда вернулся, снова ералаш на столе, дела множатся, хотя кривая должна бы идти на убыль, – понижая и понижая голос, вовсе умолк, как если бы не находил крепких слов для суетности людей и их институций, безнаказанно похищавших время.

И тут он громко хлопнул над головой в ладоши.

– У нас, – воодушевился Стороженко, настигнув-таки обнаглевшую моль, – широчайший диапазон свидетелей с обвиняемыми! От бездумно диссидентствующей интеллигенции, гораздой заговаривать зубы, до рецидивистов, из которых клещами слова не вытащишь, к каждому изволь подобрать психологический ключ.

Забарабанил по жести дождь.

Стороженко медленно подошёл к окну, глянул на побагровевший, исхлётанный внезапным ливнем Михайловский замок, мечтательно вздохнув, произнёс. – И дождя серебряные нити...

– Что? Ещё не обнаружили? – гаркнул он в подозвавшую трубку, – всю картотеку перебрать, мы директивный процесс готовим!

Утонул в кресле.

– Это, поверите ли, моя слабость! Быть можно дельным... и думать о красе... – напомнил он тенорком, ловко-ловко орудуя пилочкой, – с детства не терплю заусениц. О, детство, околдованное украинскими днями и ночами детство... Днепровский простор... А как парубки с девчатами над-рекой-под-луной хороводы водили... Однако мне, законнику, правоведу, чужда расплывчатость, красота меня трогает и убеждает лишь тогда, когда правит красотой логика, – с внезапной жёсткостью отчеканил Остап Степанович, положил телефонную трубку и, смягчив тон, сохранявший, однако, наставительную серьёзность, пояснил. – Разумеется, говоря о рукотворной красоте, достойной гордого имени человека, близкой всем, нацеливающей и помогающей... интересно, думал Соснин, что написал Художник? Какую картину покажет сегодня вечером?

– Ну как? Светит незнакомая звезда? – спросил весело, взяв снова телефонную трубку, – светит, но пока не греет?

Вздыхнул и покачал головой.

Трубка легла на место.

Пилочка отправилась в кожаное узилище.

– В подлинно гуманном обществе будущего, – весомо внушал, – не найдётся места для эстетских излишеств, лишённых пользы, если пока ещё что-то, кроме жизненно необходимого и достаточного, выдаётся за красоту, то долго терпеть надувательства люди не пожелают,

бездуховному плутовству надёжный заслон поставят материалистическая теория, поступь социализма. Замурлыкал на французский манер... – Любил задумчивый голос Монтана, красиво на далёкой волне звучал, но теперь-то обесценился голос! Ив идейным перевёртышем оказался, опозорил себя, нашу искреннюю любовь к нему, хотя я, Илья Сергеевич, неисправимый оптимист, социализм победит повсеместно, и опять, опять далёкие, однако ж истинные друзья наши будут петь, и большие расстояния сократятся. Согласитесь, – затрясся в беззвучном смехе Остап Степанович, – иррациональность, непостижимость красоты ради красоты, провозглашённые манифестами декадентского искусства ради искусства, а ныне подхваченные и раздутые реакционными спецслужбами через собственные радиорупоры, апеллируют к тайне и мистике, к тому, чего нет! Мы с коллегами недавно коснулись болезненной проблемы на эстетическом семинаре, с учётом сложности, важности её даже Павла Вильгельмовича Бухмейстера, редкого эрудита, умницу высокой пробы, пригласили. Разумеется, коснулись бегло, вопросов скопилось множество, но крайне любопытно, по-моему, и симптоматично то, что быстро сложилось единодушие: вещь в себе не только не возвышенна, но и безнравственна, если не служит вещью для нас.

На Соснина повалились обломки карнизов, аттиков, уворачиваясь, задохнулся кирпичной пылью, под подошвами хрустело стекло... – А на зодчих повышенная ответственность, в поклонениях абстрактной красоте не долго ведь и целый город обрушить, – вывел из транса певучий голосок Стороженко.

Да, Стороженко сидел напротив.

– Однако не буду, как это, увы, допускает кодексом недобросовестных следователей, усыплять вашу бдительность побочными темами, – не бросая привычных занятий рук, Остап Степанович направил блеск стёкол на Соснина, доверительно улыбнулся и ловко передвинул языком мундштук в угол рта, – ближе к телу, как шутят на искромётном юге. Не скрою, я готовился к нашей встрече, штудировал книги по искусству, зодчеству; книги, конечно, популярные, возможно, компилятивные, при остром интересе к общефилософским закономерностям учения о прекрасном, в тонкой, но частной сфере, которую по роду призвания вам посчастливилось постичь во всей её облагораживающей глубине, я отнюдь не специалист и потому не отважился работать с первоисточниками. Хотя для нахождения с вами общего языка почерпнутого мной, льщусь надеждой, будет достаточно... – Снял очки и, зажмурившись, – определяющий оттенок его глаз Соснин так и не успел различить, – потёр переносицу.

– Ненавижу диалоги глухих. Моя задача не в том, чтобы посадить за решётку. Нет и нет, это исключительная прерогатива суда. Признаюсь, моя задача – понять. Понять во всей доступности холодному разуму, твёрдому, но не каменному сердцу фактическую и мотивировочную совокупность обстоятельств прискорбного, если не сказать, – понизил голос, – безобразного случая...

Помолчал. – А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, – неожиданно чисто, звонко пропел он, опять помолчал, повторил задумчиво, с нескрываемым укором глядя на Соснина, – сорвалась и падает, – и сказал твёрдо, как выстраданный итог, – есть только миг, за него и держись.

Хлопнул, привстав, в ладоши, прихлопнул моль.

– Начать можем с детали, мелочи, не возражаете? Не обязательно ведь с места в карьер гнаться за обобщениями. Порой незаметная в путанице доводов и контрдоводов мелочь способна стать тем звеном, за которое вытаскивается цепь... Чтобы заковать невиновных? – в пору пошутить, как в кабинете Влади; послушники всепобеждавшей идеологии перекликались... и вели себя похоже, очень похоже.

За спиной проскрипели шаги.

Опять крепыш с чёрной бородкой, затянутый в коричневый костюм, склонился над ухом Остапа Степановича, издевательски, едва ли не подмигивая, скопился на Соснина и торжественно раскрыл перед Стороженко коленкоровую твёрдую папку.

Никак не припоминалась фамилия влиятельного шептуна, вскользь, между глотками коньяка, названная Валеркой.

**хотел всего-навсего выпить в чинной тишине кофе,
а угодил на вкусный и обильный (плавно перетекавший
в обед) завтрак с болтливо-вдохновенным сатиром**

Обняв, дверь-вертушка плавно качнулась, внесла в сумрачное благолепие вестибюля с тусклым блеском бронзы, красноватых стройных колонн, в отгоняющую тревоги гармонию лидвалевских деталей.

– А-а-а, салют! – вынырнул из уборной, вытирая клочком бумажного полотенца руки, Валерка Бухтин, – по рюмке чаю натошак?

Сколько раз взбегали они, счастливицы и победители, по этому маршу с беломраморными ступенями! И сейчас бельэтажное кафе, будто их дожидались, как раз распаивало матово-стеклянные, в тонком тёмном бронзовом обрамлении, дверные створки. Привычно плюхнулись на малиновый диван с высокой припухлой спинкой. – Нет-нет, кофе потом, Риммочка, принеси-ка нам... из горяченького? Ил, «Судак Орли» или омлет с сыром? Давай-ка и то и другое слопаем, куда спешить?! Учти, я богат сегодня, неприлично богат... Долгожданный гонорар за переводы, аванс за диссертацию, сочинённую номенклатурному таджику, – заказав изысканную еду, оправдавшись за расточительность, Валерка уже сновал вдоль мраморной зелено-дымчатой стойки; болтал с буфетчицей Танюшей, выбирал выпивку.

После рюмки армянского Валерка вспомнил, как встречался здесь с гонкуровскими, букеровскими и даже нобелевскими лауреатами, как околдовывал их затем невскими набережными, мостами. Сказал, что, завтракая теперь в «Европейской», он облегчал служебную участь стукачей, глаз с него не спускавших после коллективного письма, в котором осуждались... сам навлекал на себя беду? Посетовал. – Протесты дозированы, власть предрержащим они безразличны почти, самим подписантам – не шибко опасны, опротивело покорное интеллигентское бытование с претензиями на жалкую роскошь, пижонством на людях, баррикадами, выстроенными в собственных кухнях... не бытование вовсе, так, тотальная симуляция, всё – заведено, все служат придатками расхлябанного, но крутящегося по инерции механизма. Знаешь, как лучше всего определить наше поведение в наше время? Не сказать лучше и короче, чем в давнем уже, мучительно сочинявшемся модернистском романе умнейшего австрияка: мы с величайшей энергией делаем только то, что не считаем необходимым! Не назвав вымученного романа, автора, не умолкавший Валерка похотливо следил за порханием официанток, почему-то заискивающе и вбок – к плечу Соснина – клонил носатую голову, словно копировал службу Диониса с греческой вазы.

невольная фиксация изменений

Светлая, с каштановыми подпалинками борода, редкие тёмные усы. Над лоснящимися залысинами прозрачная, как роша осенью, золотисто-пегая шевелюра. Выцветший, потёртый годами Печорин, лишь глаза яркие, голубые, брызжущие безумствами. И в непрестанном беспокойстве белые женские руки, пальцы с длинными ногтями, нелепым перстнем; Костя Кузьминский подарил, уезжая в Америку.

Сдал Валерка.

Обрёл повадки говорливого алкаша, не больно-то вязавшиеся со славой всё ещё восходящей филологической звезды!

Да, он забыл о добавочном источнике неприличного обогащения – в Мюнхене на деньги какого-то голландского фонда издали сборник статей; воровато поозиравшись, Валерка достал невзрачную, в мягкой обложке книжицу. Гордился и смущался, чересчур небрежно издали – перечень опечаток, если б составили, был бы не многим короче основного корпуса текста. Валерка объявил, что вечером представит на суд секции прозы Пушкинского Дома доклад о будущем романа. Лотман заболел, не приехал, зато почтят присутствием Иванов, Гаспаров.

Да, ему тоже звонил Художник, приглашал, жаль, из-за доклада сегодня никак не сможет посмотреть картину. И, убирая с глаз долой, грубо ругнул долгожданную, но жалкую книжицу; да, всё вполне органично для официально непризнанной филологической звезды по прозвищу Нос!

Да-да, потёртый, изрядно потёртый.

Застрял где-то между подпольем, поднадзорной обителью пьяненькой интеллектуальной вольницы, и строгими академическими сводами, достойными хранителя-продолжателя отцовской научной славы. Несолідный, однако, получался из него продолжатель! Идея мемориальной квартиры-музея и та умерла вместе с Юлией Павловной – каждый Валеркин развод отщипывал от профессорской квартиры по комнате, хорош бы получился мемориал в коммуналке с отвергнутыми озлоблёнными жёнами.

неспешно разгоняясь (когда всё нельзя, когда всё можно)

После второй рюмки, добрея, Валерка признавался, что подлюю, тягуче-тягостную эпоху, на которую выпали их лучшие годы, в хронических приступах слабости ему хотелось проспать... коли всё нельзя, зачем суетиться? – Вот, даже зеркала устают отражать, – небрежно махнул в сторону слепо блестящего за Танюшиной спиной, огромного, как у Мане, в картинном Фоли-Бержер, зеркала. – Однако, – любил без промедления себя опровергнуть! – однако именно в такую, отторгающую всякий идейный порыв эпоху, когда время остановилось, тайные семена падают в тощую почву, поливаются сухими ночными слезами... и незаметно набухают, выбрасывают пусть и хиленькие пока побеги, причудливо скрещиваются, мутируют, а грядущая эпоха по закону исторического контраста – динамичная, сдвиговая и собирательная, ибо всё-всё-всё будет можно! – пожнёт неожиданные плоды. И стоит ли обидчиво укорять застывшее в невнятном накопительстве время? Придёт час и оно, всезнающее и веротерпимое, помирят когда-то враждовавшие формы и стили, научит иронизировать над увядшими надеждами, пафосом. «Неизбежность постмодернизма» – называлась последняя, затерявшаяся затем в самиздате статья, названная столь категорично после долгих споров с подачи Шанского.

Идеи Толькиных лекций сильно зацепили Валерку?

К третьей рюмке подоспели тонкие подсушенные ломтики булки, твёрдые рифлёные лепесточки сливочного масла, зернистая икра в круглых, стеклянных, с толстым дном, ванночках.

Хотя... Шанский подбросил название, а вот остальное...

Ощупывая взором аппетитные формы официантки Риммочки, старательно раскладывавшей на скатерти накрахмаленные салфетки, Валерка, смеясь, жаловался, что сразу же упёрся в тупик, когда рискнул переводить «Аду», – отменивший пространственно-временные границы и опоры роман, творение высокого лингвистического садизма, издевался над переводчиком; словарный запас предательски оскудевал, русские слова цепенели в мерцании иноязычных смыслов, они, неуловимые, игриво взблескивали и исчезали на подвижных стыках разных язы-

ковых контекстов, там и окуджавские песенки проблеснули, там всё, всё... и россыпи парадоксов из главы о времени, начинённой образами и переливчатыми образчиками то ли авторской, то ли романного персонажа, Ван Вина, речи... – «пространство – толчея в ушах», ещё что-то неожиданное, Соснин не успевал схватывать... Кивнув в сторону плотного, плечистого, в коричневом костюме, человечка с холёной смоляной бородкой и бегавшими выпуклыми тёмными глазками, который промокал салфеткой сочные губы, Бухтин зашептал. – Враг не дремлет, куратор спецпроектов и наружного наблюдения Отдела Культуры Большого Дома с утра пораньше проверяет боеготовность рассредоточенной по интуристовским этажам тайной рати, после трудов праведных кофейком балуется в уюте.

Валерка назвал фамилию куратора-сибарита, тут же вылетела из головы.

Зато, посмотрев на круглые часы над пустым зеркалом, Соснин вспомнил о ждавшей его беседе со следователем.

Валерка выслушал, присвистнул. – И к тебе подобралась, гады... поднял рюмку. – Пусть они сдохнут.

А ещё справку о красоте писать, – затосковал Соснин.

неопределённый и неопределимый мир-дар

Старую пластинку заело?

Дожёвывая бутерброд с икрой, Валерка возвращался к давней, возможно, и впрямь навязчивой – потуплял с плутоватым смирением очи – идее направленного, достигаемого гибридизацией стилей романного полифонизма. Столько лет минуло, но не утратил пыл, по-прежнему грезил скрещением хотя бы двух авторских языков, двух поэтик. Язык взрывчатой красоты, внезапно озаряющей мир, язык лирический и игривый, беззащитный и смелый, знающий себе цену, похваляющийся тем, что это чистый язык, без мыслей, точнее, с мыслями, которые, однако, трудно извлечь из слов, предстояло породнить с языком мучительных сомнений и осмыслений, языком нудновато-философическим, по сути неизобразительным в дотошнейших описаниях того, что кололо глаз, интриговало мозг, теребило душу. А лёгкость, жизненная естественность сюжетосложения, ведомого искристо-игровым умом, острым зрением и тонкой эмоцией, срачивались в Валеркиных квазинаучных мечтаниях с сюжетосложением рассудочным, рассудительным, при этом – скрытным, подспудным... если же долгоиграющие хитроумные сюжеты пронзали ненароком поверхность текста, они ослабевали и крошились затем под грузом подробностей... И почему с такой истовостью Валерка внушал давно надоевшую, хотя всё ещё сырую идейку гибридизации именно Соснину? Опылял словами... окуривал идейным наркотиком? Валерка навряд ли в нём искал исполнителя... и можно ли вообще накопать что-то удобоваримое под диктовку затемнённых его идей?

Темно... Впрочем, Соснин оставался благодарным слушателем.

– Бывают счастливые совпадения мышления с творчеством?

– Бывают! Хотя бы у Манна с Набоковым! – Валерка заразительно засмеялся; а-а-а, вот куда он опять клонил.

Заговорил о нерасчленимости сущего, о единстве мира, провоцирующего на всеобъемлющее самовыражение индивидуальный творческий дар, который и сам-то воспринимается как суверенный мир... Навязчивые соображения оставались смутными, путанными, долгие годы провозился с методическими подходами к той же гибридизации, однако и самого главного, того, ради чего городился филологический огород, толком не объяснял. Напротив, цитируя себя-прежнего, коверкал цитаты и дополнял их новыми фразами, будто запуская тематически близкие, но записанные в разное время и произвольно склеенные магнитофонные ленты.

– Всё популярней ядовитое мнение, что Манн слабый мыслитель... компилятор чужих идей.

– Слабый, сильный, мы не о градациях. И не о мыслителях, как таковых, а о совпадении характера мышления с творчеством.

– Год за годом спрашиваю одно и то же, авось, что-то новенькое услышу – почему именно эту парочку ты отобрал для экспериментов? Манн, несмотря на опрометчивые наскоки неутомимых нигилистов, давно превратился в литературный памятник, Набоков, слава богам, здравствует, сочиняет и удивляет.

– Кто вдохновеннее, чем они, творческие антиподы, смог поведать об истоках и подоплёках собственного писательства? – вопросом на вопрос отвечал Валерка.

– Но как их, таких разных, соединять?

– Смело, – возбуждённо темнил Валерка, привыкший темнить с незапамятных времён рюмочных, чебуречных, – смело, но не безоглядно. Соединяя, можно и нужно оглядываться, осматриваться, вот, – обвёл безумным взором кафе, будто видел не знакомый до мелочей интерьер, выделанный с отменным вкусом, не замкнутое, без окон, лапидарное пространство с отборными предметами и степенно жующими людьми, а страшную брешь, пробитую в мироздании, – всё неустранимо и важно, всё высказанное ещё отзовется, ничего нельзя счесть лишним и вычеркнуть. Помнишь чародея в чёрном, лилипутку с барабанчиком? Фокуснику дано под барабанную дробь вычёркивать из жизни канарейку или кота, фокуснику, но не романисту... Волнами накатывалась энергия, сухие слова дышали страстью.

– Погоди, не вычёркивать, не отбирать и – удерживать от растеканий смысл?

– Не выпрыгнуть из шинели? Учителя-классики своими немеркнущими литературными посланиями с пелёнок вменяют нам банально-обязательные усовершенствования души, мы, читая ли, пописывая, одержимы нравственными максимумами, итоговым светом, просветлением хотя бы... итоговой светоносной ясности подчиняется и отбор жизненного материала письма. Что за культурный страх сковывает нас? Оглядываясь на традицию, боимся неявных выводов, забываем, что и «просто текст», и «просто жизнь» волнуют присутствием скрытых смыслов.

Соснина задел пыливый взгляд куратора со смоляной бородкой. И Валерка охотно отвлёкся, ввязался в поединок взглядов со смертельным своим врагом, да уж, навлекал, притягивал беду; кошка с мышкой давненько знали друг дружку, мышка бравировала отвагой... коричневый крепыш вальяжно повёл плечами, ему, хозяину положения, и кафе с персоналом принадлежало, и едоки.

Риммочка с подносом. – «Судак Орли»; пододвинула беленькие, с удлинёнными носиками, соусницы.

– Как соединять стили антиподов – сталкивать или наслаивать?

– И сталкивать, и наслаивать... – с соусницей, зависшей в руке, Валерка понёсся дальше. Неведомая, если не чуждая отечественной традиции, дерзкая, сомнительная, как зачатие в пробирке, идея гибридизации опять и опять пробно погружалась в воображаемую огненно-холодную языковую стихию.

наезд

Валерка погас. – Льва Яковлевича сбила машина.

Какая-то дамочка заруливала со Звенигородской на Загородный, он плёлся с авоськой из гастронома... Слепший почти, с сердцем, штопанном-перештопанном после инфарктов – дурацкого дорожно-транспортного происшествия для ухода в мир иной ему не хватало, пока в больницу везли, скончался.

Соснин, будто бы на него наехали, ни слова не проронил – близко-близко, рядом совсем, на травяном пляжике, рыхлый, с круглым белым животиком, в длинных сатиновых трусах, Ля-Ля дрожавшим голосом задекламиривал Блока; после купания, под пение Нонны Андреевны беспечно грелись у догорающего костра... поодаль, на крутом берегу Красавицы алели, как высокие свечи, стволы сосен, подождённых закатным солнцем.

– Львиная доля! – усмехнулся Валерка, – мне из Могилёва сестра Льва Яковлевича звонила... когда на похороны приезжала, никого из нас не застала, я в кое веки кантовался в Москве, Толька – в Коктебеле, ты... ты летал в Ташкент? Или в Тбилиси?

Соснин без уточнений кивнул.

Выпили.

«я сказал тебе не все слова»

Поморщился – буфетчица услаждалась лирикой из транзистора – и вернулся к идейке гибридизации, которая им когда-то ещё в наивной, так и не защищённой диссертации задевалась. И вот, один автор – саркастический противник символизации, другой – всякий эпизод, всякий жест своего искусства и своей жизни, продлеваемой в искусстве, возводил в символ. – У одного, – повторялся, худо-бедно втолковывая, Валерка, – стиль письма игровой, искромётный, у другого – тоже игровой, однако замедленный, с частыми торможениями, играющий на большом пространстве: мысль испытывается оговорками, в них вдруг проскальзывает новая мысль... Кружения мыслей, кружева слов.

Из транзистора лилась сладенькая мелодия.

– В Москве у Виктора Борисовича гостил, затеями делился, он слушал, одобрял, потом руку тянет – давай, говорит. – Что? – изумляюсь я. – Текст давай, готовый, отделанный. Нет? Тогда не дурачь легковёрных синтетическими утопиями, твоё прогностическое литературоведение – блеф, обман лишнего слов, хотя тебе-то чудится, что слов не хватает, что надо договорить, до-объяснить, дабы замышленное набухло многозначительностью. И останутся блефом твои фантазии, пока не напишешь кратко ли, многословно, но – ответственно, по своим законам.

Соснина разморило в тепле, уюте... да ещё коньячок под усыплявшие Валеркины говорения – привычная, захлёбывающаяся речь успокаивала, об ожидавшем допросе не хотелось думать; макнул в соус ломтик запечённого в тесте судака.

– А Юрий Михайлович и слушать бы такое не стал, – самокритично жевал Валерка, – чересчур нестрого, неряшливо.

Умолк, полез в папку – мелькнула книжка Амальрика, журнал с «Тремя пророками». Вытащил смятый, исчерканный листок, что-то вписал; корректировал, наверное, положения вечернего доклада в секции прозы.

Звучала музыка... к кинофильму...

Валерка вновь оживился, в наступившей тишине мажорно взмахнул ножом и вилок. – Ну и приключилась с ним намеренно история!

«Синяя птица» как не придуманный сюжет (из апокрифов Бухтина)

Проснулся прекрасным весенним утром с головной болью и тухлым ртом, удивительно ли, что на левую ногу встал? – опохмела нет, жрать нечего. Взялся кошачий хек на завтрак поджаривать.

Едва зарумянились рыбёшки, – звонок в дверь.

Отпираю.

Квартальный в форменной красе, при исполнении: так и так, по компетентной наводке, вы, гражданин хороший, официально нигде не служите Родине и по указу о тунеядстве, отнюдь, замечу, не отменённому, если не внемлете последнему серьёзному предупреждению, будете по суду высланы на сто первый километр от дворцов-музеев навоз возить. В юбилейный год, говорит, на снисхождение не надейтесь... А дома, как на грех, сухо, для смягчения диалога даже стопарь милицейскому лейтенанту не поднести.

Я, конечно, заливаю, мол, не покладая рук умственной игрой упиваюсь, он, конечно, не верит, что сочинительство – от Бога, дудки, ему трудовую книжку подай с увековеченными в ней служебными победами, привыкли с околотитературными трутнями не нянчиться. – Тем более, – напоминает осведомлённо, – мало вам социально опасного безделья, в юбилейный год, повторю, крайне предосудительного, так Синявского с Даниэлем поддерживали, о чём когда ещё с Литейного давали ориентировку, и пражскую весну крикливо защищали от быстрых танков, помогали академика-ядерщика и литературного власовца выгораживать, с отщепенцами якшаетесь, не говоря о том, что с купленными ЦРУ иностранцами контактируете без меры – топтуны сигналить устали о ваших подвигах, а служба прослушивания истратила на ваши каляканья на неродных языках дефицитные километры плёнки. Вдобавок сомнительные приятельства среди котельных операторов попенял, и строго-престрого, с подозрением, зыркнул, будто я восстание лишних людей готовлю.

И посоветовал напоследок. – Взвесьте все «про» и «контра», угомонитесь, не пишите против ветра. И, приняхиваясь, носом повёл, – пахнет жареным, не рискуйте. И вызов вручил на профилактику, я же ускакал на кухню – догорал серебристый хек.

А за окном – солнышко.

Почему бы, пусть и на голодный желудок, голову не проветрить?

Иду по Невскому, русскими красавицами люблюсь, блеск! Но кушать хочется. И автопилот заворачивает меня к Исаакию, правильно рулю, думаю, выпью малость в «Щели», заем бутербродиком, и тут вижу у магазина «Фрукты-Овощи», над которым квартира американского консула по культуре, припаркованный «Форд-Мустанг» с дипломатическим номером. Ага, дома. Нанесу-ка я Джейку, решаю, давно намеченный визит вежливости. И как джентльмен для консульши Нормы, креси редкостной, белый букетик у старушки беру за рубль.

– О-о-о-кей, Валерий! – завопил Джейк, – как удачно, как подгадал, я экзотическую парочку из южной Калифорнии к обеду жду, они на «Ленфильме» создают совместное произведение для детей и юношества «Синяя птица», сейчас исторические объекты, потрясшие мир, осматривают, с крейсера «Аврора» уже звонили, что выезжают. Интересно им будет познакомиться с потомственным русским интеллигентом: широкообразованным, свободолюбивым и – назло тоталитарному режиму – исповедующим общечеловеческие ценности, зафиксированные Хельсинкским соглашением. И хлопчет, хлопчет Джейк, жалуется по-свойски. – Норма улетела в Бостон на всемирный конгресс уфологов, один хозяйничаю, хотя приставленная органами кухарка Глаша помогает, как может. Ну, думаю, мне бы твои проблемы, и в гостиную нетерпеливо заглядываю; ура, и впрямь подгадал! – на столе пузырь Смирновской водки, Анжуйское...

И тут дзинь-дзинь, возгласы.

Влетела ослепительная бабонька на шпильках, в расстёгнутом леопарде, облаке французских парфюмов. За ней – верзила бой-френд, квадратной челюстью двигает, готов перекусить соперника.

Джейк выпихивает, представляет меня, я же глазам не верю... – Ну, – лепечу, – краше, чем Клеопатра!

Сияет. – Неужели и в вашем медвежьем углу многомиллионная костюмная фильма с не придуманным сюжетом громкий успех имела?

Когда задета гордость великоросса, я смелею отчаянно и потому процеживаю небрежно. – Фальшивые голливудские поделки, пусть и расточительно-дорогие из-за пышных колесниц и золочёных одежд, меня не кольшут, я, поверите ли, одну из своих прошлых жизней прожил в теле римлянина Антония и всё-всё, вплоть до интимных вздохов, натурально помню, я будто бы вчера в страстных объятиях сжимал своенравную египетскую царицу... и в доказательство не хуже Лоуренса Оливье на Эйвоне шекспировские перлы патетично зачитываю... короче, теперь с учётом подлинного давнего опыта ясно вижу я, что древняя царица, хотя портретное сходство чуть ли не генетическое, не дотягивает до соблазнов распрекрасной актрисы, её сыгравшей. И – скромный букетик протягиваю: ландыши, объясняю, светлого мая привет.

Она в восторге, на шее виснет, я её тискаю, шалею, груди у неё – чарджойские дыни.

Секс-партнёр, он же телохранитель, хмурится угрожающе, но наконец-то все мы за столом уже, выпиваем, закусываем – сёмга, икра, гусиный паштет, всё честь-честью.

Лиз к сигарете тянется, я щёлкаю зажигалкой, она закуривает, неотёсанный амбал, пробующийся на роль её седьмого мужа, лезет с тexasской наглостью. – Антиквариат, сколько стоит? У меня с собой зажигалка-самоделка была – патронная гильза с бензином, гофрированное колёсико, помнишь, такие гильзы после войны у спусков к Неве искали? – Это, – отвечаю с чувством законной гордости, – бесценная вещь, как светлая память. Он вертит, вертит колёсико – из каменного века находка, а искру никак не высечь. Элизабет пробует – и сразу огонёк! Смеётся, довольная, он хмурится, хмурится, но тишайшая Глаша, отключив зад, утку с трюфелями и черносливом вносит, Джейк наливает.

Съеден волшебный обед.

Звезда заторопилась готовиться к вечерней съёмке и слушать чудесные мелодии вери талантливому застенчивого Андрея Петрова, сочинённые им для совместной ленты. Дарю на прощание зажигалку, коли её пальчикам так удобна. Элизабет опять шею мне обвивает, взасос целует, могучий самец само собою кручинится, а Элизабет, сверкая глазами, зубами, щебечет. – Диа Валерий, когда в Беверли Хиллз невзначай забросит судьба, милости прошу на еженедельное, с восьми до девяти после полудня по пятницам, пати, искренне буду рада. И – выпархивает из рук, раздразив дурманящим ароматом ноздри.

Вернулся домой.

На сковородке обугленный хек в белом жиру застыл, голодная кошка противно мяукает, даже таракана для забавы догонять не желает.

Присел на табуретку – было всё это, не было? Чтобы так разом, встык – угрозы квартального, объятия Элизабет Тейлор.

Как же я упустил её, мгновение не остановил?

Вот он, эффект не придуманного сюжета.

Рассказать – не поверят.

даль умозрительного романа (прогностическое литературоведение пытается конструировать)

К омлету с сыром Валерка, умоляюще глянув, надумал взять ещё триста грамм коньячку.

– Роман, этот традиционно-весомый, вроде бы навечно изваянный русской классикой жанр-монолит, вот-вот обратится в крошево, словно распадутся сами основания жизни и возникнет из распада новый сборочный материал для трудов и забав созидającego сознания. Допустим, жизнь, мироздание саморазрушаются, искусство – возводит... и заодно – рушит гармонию замкнутого произведения – размыкает и посылы его, и форму.

И в даль манит; заодно манит ведать тем, чего пока нет.

А-а-а, подospel пышной омлет. Плотно, вкусно угощал разбогатевший Валерка. Риммочка склонилась... чистенькая белая кожа, приятно надушена.

Валерка собирался подлить, Соснин отодвинул рюмку. – Хватит, не являться же к следователю прокуратуры пьяным.

Человечек со смоляной бородкой доел круглое клюквенное пирожное, допил кофе. Поводя коричневыми плечами, вновь по-хозяйски обвёл взором кафе, достал бумажник и расплатился.

– Теперь к вечеру пожалует, – Валерка словно засмутился, с несвойственной ему угловатостью пересел с диванчика в кресло напротив, чтобы посмотреть Соснину в глаза, – надо-ели завязки-развязки... в любой частице, в любом промежуточном состоянии текста-плазмы, где речь героев неотличима от авторской, где перемешались смыслы, должны одновременно содержаться завязка, кульминация и развязка, если, конечно, выпячивание завязок-развязок не превращается автором в самодовлеющий игровой приём. И вообще, реалистические мотивировки и картины в столь желанной для него, хотя не существующей пока прозе – суть обманки правдоподобия, но какая она, смутная фантомная проза, какая? Вот бы прочесть...

Расширяя горизонты прогностического литературоведения, трассируя неисхоженные пути, Валерка не заикливался на идее синтеза двух стилей избранных им контрастных авторов, он ведь носился с затеей, названной толкователем Валеркиных бзиков Шанским «сложением-умножением чего изволите», – высоко ценя, к примеру, бытовые и психологические миниатюры Добычина, – Валерка обожал отыскивать в коридорно-антресольных недрах отцовской библиотеки сгинувших непризнанных гениев – он полагал добычинские миниатюры идеальными прототипическими микро-прозаизмами: заряженными, токопроводными, готовыми сомкнуться с прозаизмами других сочинителей в роман особого типа, нет-нет, не в собрание пёстрых глав, но в некий роман-альманах, составленный и скомпонованный автором, который походил на режиссёра, собиравшего ансамбль из разнохарактерных и капризных актёров.

– И как тебе в новом свете наше школьное сочинительство? – каждый абзац ведь продолжал другой автор. Не обогнали ли мы своё пугливое время?

– Не то, не совсем то, – отглотнул Валерка, – линейных, последовательных сцеплений мало, где сращивания, наслаивания отличий?

Затея уязвимая, близкая мечтаниям засидевшейся в девках невесты об интегральном женихе. Или – зеркальным терзаниям Подколесина... Однако это был всего лишь модельный ход: реально ли собрать под одной обложкой художников, которые почему-то подрались бы сочинять свои фрагменты для некоего мета-автора, властвующего над целостным текстом? Взрослый лепет? Нда-а, какой там Подколесин, модель слишком амбициозна, чтобы торопливо – от греха подальше – в окошко выпрыгнуть! Отважный Валерка, похоже, провозглашал очередную – вслед за Джойсом? – попытку состязания с Библией, которая оставалась вечным и всемирным бестселлером. Стало быть, сочинять фрагменты, имитируя контрастность их содержаний-стилей, то выпячивая, то сглаживая отличия, был обречён один-единственный, само-собой монстровидный, коли на такое замахивался, автор-собиратель. В этой наспех набросанной за вкусной едой, близкой лекционным фантазиям Шанского подвижной модели текста – кстати, пространственное подобие её смутно проступало и в проектных мечтаниях Соснина; не потому ли Бухтин находил и ценил в нём благодарного слушателя? – именно композиции как неосознанной, но ведущей категории сверхсодержательности и надлежало порождать неожиданно-острые впечатления, переживания.

Валерка снова что-то помечал в блокноте, Соснин мог спокойно доесть омлет.

Итак, Валерка, никогда не боялся высоких слов – о высоком, так о высоком! Пусть и с романтическим скепсисом, он провозглашал художника всевластным инвентаризатором мироздания, образно перемещённого во внутренний мир, и художник этот обречён был, перемещи-

вая и упорядочивая, запечатлевать-перечислять все присвоенные им элементарные частички внешнего мира, которые, сшибаясь-срастаясь в глубине души и на экранах сознания, обретают взрывную силу. Имелось в виду не смиренное собирательство, но горделивый внутренний зов – объять необъятное, проверить мироздание на прочность.

Подливал из графинчика.

И выяснялось, что мир подавляет дар, обнаруживалась недостаточность языка, позорно выдыхавшегося в мелкотемьи и коловращениях современности. И беда была не в лексической бедности языка, нет – с расширением угла зрения на словесный ландшафт ощущалась нужда в ином синтаксисе, если угодно – синтаксисе композиции, и, стало быть, новых приёмах сборки словесных массивов текста. – Нет, нет, не то, – отвечал на молчаливый вопрос Соснина, – надоели штампы динамичного монтажа, надо... надо заново комбинировать и сращивать сейчас и здесь донимающие частицы мира в каждом минимальном сегменте текста, да так, чтобы стыков не было видно! И сращивать затем разноликие сегменты. – Нет, – твёрдо повторял, – не последовательно – сперва одно, потом другое, третье – так писали, когда писались истории. Без обновления композиционного синтаксиса будет только распухать эпическая белиберда! – выпил, посмотрел в пустое зеркало за спиной буфетчицы, – бедность, даже беспомощность языка, многословное онемение сравнимы с реакциями уставшего отражать зеркала: смотрит, как большущий расплющенный глаз, вверх и вниз смотрит, по сторонам, однако не видит потолка, настенного фриза, подпёртого плоскими капителями пилястр, не видит нас, не видит даже Танюшиной спины; надоевшая окаянная действительность провалилась за амальгаму.

– Провалилась? Мы говорим, а будто бы онемели? Но чего ради и надолго ли подевались куда-то отражения?

– Вот он, вопрос вопросов! – счастливо дёрнулся и завертел головой Бухтин, – да ещё в твоём духе, вербальное и зримое стянуты в один узел. Слепшее-онемевшее зеркало, суть накопитель, когда оно наново прозреет-заговорит, ударит преобразующим пульсирующим гейзером отражений-смыслов, придётся улавливать выбросы внезапного многообразия, ритмы его пульсаций...

Пока что пар вырвался из кофеварки, сломалась.

о божестве, вдохновении и пр.

– Заряжает любую хитроумную схему сборки взрывчатых частиц тайна. Сочинитель томится, терзается в хаосе накоплений, смотрит по сторонам и, будто бы это зеркало, ни черта не видит, но вдруг – рождается образная вселенная. Художественный дар поглощает мир, возгоняет мировую материю в дивную подъёмную силу... Соснин не всё понимал, Валерка продолжал громоздить возвышенные загадки.

Омлет, однако, доеден, графинчик пуст; кофепитие отменилось.

– Потянувшись пером к бумаге, замкнув тайную токопроводную цепь, автор упивается чувством полёта – порывает с обыденностью, непостижимо вырывается из её пут, чтобы в одиноком высоком холоде обрести пугающую зоркость, увидеть и мироздание извне; самоотречение, самоотдача одариваются запредельной точкой зрения...

Чересчур уж высокопарно, – рассеянно думал Соснин, пока Валерка вспоминал о художнике как наконечнике божественного орудия.

– Как примирять-соединять стили? Сталкивая, переслаивая аскетизм и необузданность? Но вот ведь, смотри, смирились, соединились с модерном ордерные мотивы! Строгая органика дара... гармония... – совершенные пропорции, лёгкие – мимолётное воспоминание об ампире? – пилястры с изящно стилизованными ионическими капителями, карнизиками,

бронзовые бра, и солидно-тяжеловатая, облицованная зеленоватым мрамором стойка, за ней – бездна зеркала.

– Когда поставлена точка ли, многоточие, автор отчуждается от творения, неужто и с Богом приключалось такое? Автор, покинувший космос, жалок – его, вновь влезшего в человеческую шкуру, повседневность отвращает, измучивает недоумением – был ли он там, в прозрачном средоточии тайн?

Соснин нащупал в кармане пиджака повестку.

– Но ради чего так торопился, возносясь, автор? Боялся, что вот-вот отнимут у него видение и видения? Торопился зашифровать нашёптываемые с небес откровения? – Валерка щедро рассчитывался с Риммочкой.

Посмотрел на часы... не скоро ещё.

– Конечно, не за тем торопился, чтобы опять продолдонить проклятые, пропитанные социальным ядом вопросы, которые, отравив разночинцев, век бередили бедные души, в том числе и душу покойного Льва Яковлевича. Нет, обозревая мир с невыносимых высот, автор мучился вовсе не насущными, изводившими на земле вопросами... и не благодаря ли вдохновенной подъёмной мощи, испытанной при взлёте, гениальные прозаические вещи становились поэмами? Нервно засмеялся. – Почему у вязкой, как родимое бездорожье, жизни такие буйные символы? Почему чичиковская бричка, превращённая в птицу-тройку? Ныне – пьяная, несущаяся в Петушки электричка?

свято место

Спор на голосах, препирательства с сочными поцелуями... – в кафе, закрывавшееся на часовой перерыв, победно ворвался Кешка. Приподнял над полом, не выпускал из объятий Риммочку, которая безуспешно хотела запереть дверь. Риммочка отбивалась, счастливо, со всхлипами, хохоча, болтала капроновыми ножками в воздухе. Кешка издавал боевые кличи. В весёлой шумной схватке успел перемазаться помадой, расстегнуть пуговички на Риммочкиной груди; из-за могучей Кешкиной спины возник широко улыбавшийся Тропов в клетчатом пиджаке с двумя покачивающимися на каблуках дылдами-манекенщицами из Дома Моделей.

– Кешенька, Кешенька, кофе нет, чёртова машина сломалась, венгерские машины такие ненадёжные, – виновато запричитала скользнувшая вдоль пустого настенного зеркала буфетчица Таня.

– Что-нибудь погорячее, чем кофе, есть? – облокотился на мрамор Тропов.

– Свежая идея!

Кешка бережно поставил Риммочку на пол, одёрнул мохнатый свитер. – Нос, Ил, не обрыдло ещё в любой лабуде выискивать высший смысл? Сольёмся в экстазе и запируем! – воскликнул беспутный искуситель, но они, отнекиваясь, освободили диванчик, поспешили ретироваться, знали, что их ждало, если бы задержались.

Слепяще блеснуло зеркало.

Риммочка заперла-таки за ними матово-стеклянную створку.

вопросы, ответы и неизменная просьба (на беломраморной лестнице)

– Как назвал дразнилку свою для светил-филологов?

– «Роман без конца», – хитро заулыбался Валерка.

– Смелчак! Чего ради ты отменил конец?

– Конец романа провозглашал исчерпанность человеческих историй, тех, что по инерции эксплуатировали придушенные характеры, отменённые скорым на расправу временем биографии.

– И какие истории теперь сулят романную бесконечность?

– Надчеловеческие... кругозор расширяется... ещё Тонио Крёгер понял, что проникнуть в человеческое начало удастся лишь удалившись от него, чтобы увидеть человека остранённым холодным взором.

– С чувствами-страстями, неистовой борьбою добра со злом?

– Неразрешимое противоречие, – хмурился Валерка, – сделать персонажа живым, полнокровным, наделённым низкими ли, высокими помыслами, а затем приняться им безбожно манипулировать в угоду фабуле, композиции, которые ныне способны раскрыть внутренний мир персонажа куда полнее, точнее, чем проявления естества...

Навстречу взбегал по ступенькам Рубин.

– Кешка с Троповым там?

– Там. А ты опоздал, Таня с Риммочкой двери заперли, не пускают.

– Меня пустят, – уверенно сказал Рубин и попросил трёшку.

снова о формальной теории, зарождающейся на сей раз под ледяным солнцем и в удалых (графоманских?) грёзах

– Литература – часть жизни, не самая существенная, замечу, часть, однако русская литература, затем и не только русская, в дерзких проявлениях своих возжелали быть больше жизни, часть замахнулась превзойти целое, такая сверхзадача. Вот откуда берутся аморфные романы, их неудержимые выплески за границы изящного письма непричёсанных и безразмерных смыслов... – препровождённые злым взглядом швейцара, вышли из «Европейской».

Аморфные... Берущие жизнь в целом? – припомнилось духовное завещание Валеркиного отца.

– И как непричёсанные, с безразмерными смыслами романы читать? У кого-нибудь терпения хватит?

Валерка расхохотался. – Данте подкинул метафору идеального романа, измучивающее чтение такого романа подобно хождениям по кругам ада. Тем более, уверен, не только на путешествия античного мореплавателя, но и на дантовы круги откликнулись лет эдак через семьсот дублинские кружения Блума! Счастливо хохотал. – С какой стати жалеть читателя? Пусть разделяет напряжение внутренних битв; блаженно щурясь, накинуд на шею шарф, глубоко вдохнул холодный воздух.

– Срастить бы всё-всё, что творится и вовне, и в сознании, всё, что ловят-считывают в вечном информационном обмене органы чувств, ощупывающие, точно толпы слепцов, мировой покров, чтобы углубиться, понять... для начала романист пускается во все тяжкие – срашивая воедино всё, чем удивляет мир, он, творящий форму, как стихийный теоретик вынашивает неписанные правила для себя; он одержим пьяным бесстрашием, удалью графомана, – как всегда, в тысячный или тысяча первый раз, Валерка удалялся в гадательное будущее романа.

В «Садко» пропускали по одному вылезавших из автобуса одинаковых аккуратных старичков-интуристов.

Приветливо заулыбавшись, кивал из своей будки Герат, в знак высшего расположения скидывал руки с чёрными щётками.

У киоска «Союзпечати» ждали подвоза прессы.

Свернули на Невский.

– Но внезапно романист трезвеет. Тужащегося в очередной раз углубиться и скорчить умную-преумную рожу соискателя истины озаряет вдруг, что не существует объективно, вне связи с ним – таким уязвимым, сомневающимся – бытующих где-то за небесным куполом контекстов-подтекстов, нет без него изначальной глубины сущего; романист внезапно остаётся один на один с нескончаемой поверхностью, все-все признаки вожденной глубины шифрующей в узорах-изображениях, он всматривается в ковёр, сотканный Богом, понимает, что в текст узорчатые тайны ему придётся сводить перекодированными божественный шифр простыми словами, находить свой порядок, за словами ничего нет, понимает он, всё в них. Опять занесло? – сводить, перекодировать... подобное, как, впрочем, и противоположное сказанному сейчас, Соснин многократно от него, да и от Шанского, выслушивал, но Валерка с раскованным вдохновением первооткрывателя вертел по сторонам головой, – вот, смотрим и не видим, а в ход непроизвольно пускаем то, что...

мир как продукт бокового зрения

– Да, образ мироздания вырастает из всякого достойного текста не целенаправленно, образ лепится из случайностей, несуразностей, разного рода мелочей, донимающих на каждом шагу, однако зачастую остающихся не замеченными, точнее – не отмеченными вниманием, а там, за границей непосредственного внимания, за рамкой условного кадра, возможно, главное...

– И опять та же закавыка отрезвевшего романиста – для расширения поля зрения и сращивания в воображении всего-всего, что тревожит всеядные творческие рецепторы, нужен внутренний закон, хотя бы правило, которое ведало бы неявным отбором и охраняло тайну смыслового напряжения текста... бесхитростная задачка – искать особый порядок для простых слов. Искать композицию.

Часы на Думе пробили два раза.

время умозрительного романа

Обнаружилась потерянная нить!

– Расквитавшись с завлекательным сюжетом, повествовательностью, за миф цепляются как за последнюю скрепу. Через пятьдесят лет после Джойса! Неужто, навсегда опьянили античные сказки, пусть и настоявшиеся в веках, будто бы вино в амфорах? Неужто, христианская культура рассыплется без связей с языческими героями и богами?! Мифология сделалась модным паролем современности, мол, рвёмся в будущее, подгоняемые ветром прогресса, но мы все оттуда. Запустили по кругу переложения прелестных баек, мечтаем покачаться заново в колыбели культуры, будто человечеству дано снова впасть в детство. Между тем античная энергетика исчерпана – вот и зачарованная усталость, климакс искусства. Желаний невпроворот, а приёмов схватывания, удержания Большой формы нет, как нет. Нужен прорыв: и охранительный, и варварский прорыв в неизвестность, как уже случалось. Дерзкая художественная мифология, пусть и вдохновляясь древней, античной, может, как доказано, обладать суверенной мощью! Я не о том, что «Улисс» затмил «Одиссею», избави бог, я о могуществе мифа, которым сам этот роман стал; один день вместил мир и...

– Сверхсложный роман?

– Главное – своевременный! И – на все времена!

– С чего бы это?

– Цепко и подробно схвачена-охвачена жизнь, вся жизнь! – ни у кого не получалось в конкретный календарный день все времена вместить. И вся-вся, огромная, необъятная жизнь, к которой, такой огромной, безграничной, не подступиться, – как будто под микроскопом! Каким образом жизнь схвачена? Время, сжатое до границ дня, вмещает целый объёмный мир, и потому всё, что происходит в этот день, обретает выпуклость, чёткость, все мелочи становятся удивительно значимыми, внутренне-весомыми, взаимосвязанными, – повернулся с сомнением к Соснину, поймёт ли? – едет колымага, жуют за стеклом кафе, кого-то хоронят, а действие, привычное нам, развращённым повествовательностью, романное действие отменено, сюжет парализован. Зато хочется следить за сменой формальных приёмов письма, в текст хочется всматриваться... тебе это должно быть близко.

И многие ли из сравнимых с Валеркой уникалов вытерпели прочесть, всматриваясь в детали, чтобы улавливать общий смысл, тягостный роман-миф от корки до корки? На русском, ибо перевода нет, вообще никто не читал! Однако могущество мифа было налицо, разрасталось. Валерке хотелось верить на слово, он-то читал «Улисса»; и уже прочёл «Аду».

– И знаешь почему ещё – «Роман без конца»? Великие модернистские романы я воспринимаю как недописанные, у них открытая композиция, их продолжат...

Над Невским, залитым ярким холодным солнцем, посвистывал ветер.

– Ну и лето! – поёжился, поднял воротник курточки, поправил шарф, – жаль, Шанский, наверное, ещё в Коктебеле, не погреться в его котельной.

Какая котельная в июне? – удивился Соснин, но промолчал; и разве Шанского не уволили из котельной?

Пьяно покачивалась фонтанная струя у Казанского. Синюю рябь канала заглаживали плоские льдинки.

– Конечно, миф соблазняет сочинителя циклическим временем, которое невидимым обручем удерживает текст от распада. Однако фокус не в сюжетах сказок, не в подвигах героев. Не надо путать причину со следствием! Мы – дети линейного мира, ибо уверовали, что время направлено из прошлого в будущее. Голгофа разомкнула круговое время язычников – из календарной точки побежали по прямой годы... и на тебе – возвратная тяга на круги. Вот оно! Циклическое время – продукт вовсе не мифа, лишь задавшего циклическому времени формальную оболочку, но подсознания; в противовес условному, обслуживающему текущие идеи прогресса линейному или условно-спиральному – любимый образ марксистов – времени, напор самовыражения художника, его пытливая память самостийно способны вживлять циклическое время в текст без перемигивания с античной традицией. И в этом смысле романная форма – суть форма воплощения мифа. Да и наша спящая, погружённая в ужасные сны страна, её коллективное подсознание, в котором слиплись страхи и мечтанья многомиллионного имперского «я», стонет и ликует вовсе не в историческом, а циклическом времени. Пробуждения материализуют кошмары, страна встаёт на бой, – Валерка замер на краю тротуара, – такси сворачивало с набережной на Невский.

И будто сначала! Сам с собой спорил?

– Наскучили сочинения с последовательными временными коллизиями! Приключения в освоенном времени-пространстве буксуют, время, чистое время, для литературы всё ещё чуть ли не запретная территория... ну да, белое пятно... Время, – продолжал, – это не стрела, это среда, среда, эффект длительности усиливается в тесноте, толчее, все странствия Одиссея, все его приключения развёртываются на морском пятачке, утыканном карликовыми островами, но какое уплотнение времени, какая иллюзия протяжённости... – далее Валерка походя пнул ясперсовское осевое время, ему, дескать, не сладить из индивидуальных озарений цельную философию истории... – К чему я? – спросил себя Валерка, передразнив кокетливый вопрос Шанского, который тот обычно задавал себе, запутывая дискуссию, Валерка тоже боялся, по-видимому, что не справится с расхлябанностью собственных мыслей и окон-

чательно провалится в сивый бред, однако сразу же, и озорно, как только он умел, глянул на Соснина: сам-то он, пытаясь объяснить, возможно и сплеховал, но зато готов похвастать чужими, выгодно присвоенными премудростями – пассажи из четвёртой главы «Ады» были и впрямь блестящими... но почему пространство – это толчея в ушах, не в глазах? С фанатичной угрюмостью Валерка помечтал о том, чтобы парадоксы времени врывались в зарождавшийся текст, наполняли энергией, деформировали исходные композиционные схемы. И заряжали тайным знанием о том, что будет. Хотя, заряд этот и так издавна ощущался, мечтай, не мечтай. Гениальное произведение – сколок, – объявлял Валерка, – в нём чудесно отражается весь мир искусства, все-все не только старинные, но и перспективные открытия – приёмы, формы. У Моцарта обнаружены джазовые синкопы, ещё бы, ещё бы, художника, пусть и кумира гармоничной эпохи, болезненно облучает будущее, возбуждает и тревожит задолго до того... Соснин вспоминал: «всё, что до меня – моё! И всё, что после меня – тоже моё!»... отрешённо слушал; от бомбардировки зажигательными идеями, как часто случалось с ним, успокаивался. – Чур меня, чур меня! – откуда-то доносился Валеркин голос, – речь не о фантастах недоброй памяти, которые, очертя головы, запускают героических бедолаг шастать по грядущему на фотонных ракетах, по мне бы, – вскинул окантованный солнцем профиль с носом-секирой, – по мне бы запустить «я» в цикличное время, охватывающее разные времена...

Запускали, сколько раз запускали...

Соснин оглянулся на башню Думы – стрелка сползла вправо на пять минут – вспомнил опять, что об этом Валерка уже писал, причём строго вполне и стройно – «Время как белое пятно...» напечатали «Часы».

в отделе художественной литературы Дома Книги

Грязные протёртые выщербленные ступени... Бедный Сюзор!

На лестнице толкались мордастые спекулянты с пикулями в портфелях, по стенке жалась немая чёрная очередь, которая на верхней площадке безнадёжно упиралась в толпу – давали «Петербургские повести», изданные в Бурятии на серо-жёлтой, с занозами-щепочками, бумаге.

Протиснулись к прилавку поэзии.

Облокотясь на массивную дубовую столешницу, протянувшуюся между двумя витринами с тусклыми исцарапанными наклонными стёклами, где были достойно похоронены Прокофьев и Наровчатов, огромный, улыбочиво-красногубый Лёня Соколов громко, во весь голос, как если бы дразнил осаждавших кассу книголюбов, хвастал покупкой в высокогорном киргизском кишлаке однотомника Гессе, в доказательство вытащил из сумки, с торжествующей небрежностью полистал на глазах завистников «Степного волка»; потом похвалил самиздатовского Кривулина, спросил у Бухтина, когда тот, наконец, переведёт Музиля.

В турбулентности на подступах к заветной кассе потел Акмен; увидел Валерку с Сосниным, оптимистично поднял в приветствии руку с зажатými в кулаке деньгами.

– Где тут Пикуля, Хейли и ещё того... ну, немца...

– Он что, брат того...?

– Брат, брат.

– На сколько килограммов талон?

– Пятнадцать.

– Пикуля и Хейли только за двадцать пять.

– А Гоголя?

– Гоголь в открытой продаже, – рука вытянулась к массовой потасовке, из последних сил яростно проталкивался к кассе Акмен.

К другой кассе вился хвост везунчиков, у них был шанс отоварить, то бишь поменять на ходкие сочинения в твёрдых, пропахших клеем переплётках, талоны за сданную макулатуру; на пятнадцать килограмм меняли Генриха Манна, «Верноподданного»; с отталкивающим – под чёрным готическим шрифтом – типом на жёлтой обложке.

Валерка полюбезничал с Люсей Левиной, ввязался в болтовню книжников, а Люся, посмеиваясь, парируя шуточные колкости, поманила Соснина свежей книжечкой Кушнера; тихо вышел из библиографического отдела Шиндин, одобрительно кивнул, удостоверил качество стихов.

Шиндин прислушался к болтовне, с тихим ужасом в глазах и усталой улыбкой на устах посмотрел в потолок, закачал головою, зашептал. – КГБ, КГБ, КГБ...

Из толпы выбирался распаренный счастливый Акмен с добытым чеком, достались-таки «Петербургские повести».

Опасливо оглянувшись по сторонам, Люся вытащила из-под поэтического прилавка и протянула вдобавок к книжечке Кушнера сжатые канцелярской скрепкой листочки папирусной бумаги с тусклой машинописью «Римских элегий», Соснин торопливо сложил, сунул во внутренний карман пиджака.

текст как город?

(с Носом – по Невскому)

В дверях едва не столкнулись с Сашкой Товбиным; спинами почували, тот обернулся, посмотрел вслед. Увидели перебежавшего Невский Дина.

Валерка вызвался проводить.

Снова зашагали по Невскому, только в обратную сторону. Льдины в канале укрупнились, их стало больше.

Шарф по ветру, глаза взблескивают... одна рука в кармане, другая взрезает небо... Нос навеселе.

Любопытно! – доходило до Соснина, – сам он, мучительно и своевольно перекомпановывал в воображении дома и пространства; Шанский, пускаясь во все тяжкие, ошарашивал интерпретациями; оригинальными, завиральными, какими угодно, но – интерпретациями того, что бытовало в натуре, в слитности слов, камня, воды и воздуха, того, что жило в тех, кто слушал лекции Шанского, как образ Санкт-Петербурга. А Валерка ничего из реально существовавшего не перекомпановывал, не интерпретировал. Отталкивался от того, что знал, любил, и сейчас, здесь, пируя ли, вышагивая по Невскому, упивался необозримо-невиданным размахом и внезапной красотой замышляемого; свято веря, что покончит с упадком жанра, творил фантомную прозу, чтобы когда-нибудь потом, одолев соблазны интеллектуальной и эмоциональной праздности, дисциплинировать ум, строгим языком построить романические структуры будущего... как водилось, контекст опережал текст. И до чего последователен, неутомим был Валерка в своих потугах объять необъятное, соединить несоединимое, срастить все филологические методы и подходы! Он, истинный наследник формалистов, относился, конечно, к тексту как к замкнутому самодостаточному феномену, в самой форме своей зашифровавшему все свои тайны, и он же верил в художественное всеисие внетекстовых связей, уникальности авторской личности, биографии. Давняя страсть к выявлению-обозначению границ обернулась поисковым бытованием в бескрайней сплошной динамической пограничности – между текстом, который он непрестанно творил в воображении, усложнял попутными домыслами, апокрифами... и текстом, который, опять-таки в воображении, тут же принимался исследовать.

довать, случалось, что и безжалостно критиковать; собственно, он сам творил слитную пограничность филологического романа.

– Выкинь из головы всё, что я тебе наговорил, – опустил воротник куртки, надвинул на лоб плоскую вельветовую кепчонку, отчего ещё сильнее выдался вперёд нос, – к вечеру моя бормотуха перебродит в скучненький инерционный доклад.

После взлёта – самоуничижение?

Молча пересекли под землёй Садовую.

На углу Малой Садовой Валерка закричал, замахал. – Володя, Володя!

И Володя Эрлин, который входил в кулинарию «Елисейского» за ежедневной чашечкой двойного кофе, оглянулся, придержал дверь, тоже махнул, узнав.

– Как ни крути, соревнование с Богом ли, Библией, восхищает, конечно, бесстрашием, но никакой тотальный текст всё не схватит, хотя попытка всё схватить за один летний день в одном городе вылилась в фантастический романский опыт, – давал-таки задний ход? – Валерка снова завертел головой, описал круговым взмахом руки небо, фасады, прохожих, зазеленевший на зло холодам Екатерининский садик. – И, само собой, широту зрения Создателя не превзойти, – Валерка, только что взхлёб рассказывавший о всеохватном опыте Джойса, повторно взмахнул рукой, – ну как можно всё это затолкать в жанр? Или даже в полижанровую бесформенность! Смотри, в подворотне фарца кучкуется, дети скачут, и куст шевелится там вдали, под Аничковым дворцом, смотри, смотри наползает и тает тень, и – блестит анодированная жестянка, Высоцкий хрипит в машине, за окном – пустые бутылки, и автобусы, троллейбусы – мимо, люди спуют, толкни дверь – спят, жуют, целуются, умирают, и всё – рядом, всё – сразу, одномоментно, таких точек-моментов – тьма! Постигаем ли мы словом динамичный гибрид невообразимой сложности? А свёртывание в миф истории? А зов будущего? Куда, зачем несутся птица-тройка ли, электричка? Не дают и не дадут ответа, – заразительно засмеялся.

У Соснина запрыгали в глазах чёрные точки.

За ними, за точечками, словно за облачком мошкары, ступеньки вниз, «Аврора», полуподвальное молочное кафе. На краю голубого пластмассового стола замусоленное меню, едят сосиски, ну да, исключительно молочные сосиски. Рядом – «Охота и рыболовство», перовские хвостуны с двустволками на привале, объёмные... из воска, как у мадам Тюссо? С жалкой механикой, когда-то удивлявшей, ого, и сейчас детей не оттащить от стекла – у охотника медленно, дёргаясь, вздрагивая, двигается рука. Где-то спрятан моторчик... электропроводок-нерв... Натюрморт из экипированных тел, ружей, пернатых трофеев в пейзажном пыльном папье-маше... серо-зелёный с коричневым передвижной натюрморт-макет... всё тусклое, выцвел изумрудный блик на затылке селезня... Зарос грязью угол витрины.

Оглянулся. Выбеленные щиты по сторонам дворовой арки, мимо которых только что прошагал. Что-что в «Авроре»? А-а-а, мура... Зато с послезавтра – «Зеркало»!

– Или, – возобновился монолог Бухтина, – близкое тебе единство в многообразии: как родилось сие самодовольное разностилье? Сумбур вместо застывшей музыки.

Повинуясь взмаху Валеркиной руки, взгляд заскользил вдоль знакомого до мелочей непрерывного рельефа фасадов.

– Вот, – не унимался Валерка, как обычно, пересыпая речь фразами из романов, которые переводил, – сплотились в парадный ряд пышные, обжитые и наново обживаемые надгробия, почтившие почившее время. Шанский мог весело и умно болтать на любую, самую каверзную тему, на всю катушку запуская язык без костей, а Валерка опять внушал нечто нутряное и смутное, что и для себя, похоже, не прояснил... сам себе охотно противоречил, переводные премудрости не помогали формулировать ясно.

Три ступеньки вверх, «Фарфор и стекло».

Не тут ли был когда-то шахматный магазин?

Или чуть подальше, там, где вверх четыре ступеньки?

Слушал вполуха, но то, что зацепляло, – присваивал; передалось суггестивное Валеркино напряжение, тот, похоже, зачитывал куски из своих недавно сделанных переводов, а Соснину привиделся текст, ячейки его нечаянной образности, разбросанные по затхлому времени, кое-как обживались, тут, там – подобию морщинистых, немигающе-многоглазых физиономий, старательно задрапированных штукатурными складками бюстов, пузатых тел. Попадались кичливо-породистые, а так... вполне добропорядочные пожилые кривляки, греющиеся на солнце, иные – с налётом сонного демонизма; благополучные, заросшие жирком приспособленцы, застылые в своём упрямстве задержать перемены. Или они и заподозрить не смогли бы, что беременны ими? Бездумно-гордые, самодовольно-усталые – устали от слепой веры в то, что их затверделые вялые ухмылки останутся во веки веков прекрасными? Туповатые, подслеповатые. И всё-таки самим видом своим они противились любой попытке взлёта, силились упрочить вкусовую неразбериху, царившую в головах и сердцах тех, кто проживал в них, проходил мимо; как напыжились... грудастые паралитики, в старомодных шляпах; пожалуй, затруднился бы определить пол – тётушки, дядюшки? Уличная прорезь во фронте домов уводила влево, к Манежной площади. Переход. Розоватый пилон цирка на миг запер далёкую боковую перспективу. Угловые ступеньки вверх, булочная. Валеркин монолог заглушался уличным шумом, туповатые лики, бюсты срастались в неупорядоченную череду простенков, стёкол... – фасады привычно сплывались внутри протяжённой и объёмной, испещрённой штукатурными деталями формы. Догоняя, устремляясь вперёд, накладывались, теснясь, эркера, лепные гирлянды, арочные проёмы, витые балконные решётки, пилястрочки, кариатидки, фронтончики, аттики, башенки, чешуйчатые шатры мансард. До чего, однако, рачительно время в периоды безвременья! Собраны и напоказ выставлены слепки вымученного, если не извращённого почтения к идеалам красоты минувших эпох, ко всем их готикам-ренессансам. А под ногами окурки, растрескавшийся асфальт. Ты, с детских лет утюживший Брод, был, оказывается, приглашён на бессрочный эклектический пир неизвестных теперь, как выяснилось, бескрылых, побаивавшихся смотреть вперёд талантов и бездарей – добровольных пленников моды и зависти, склок, коммерческих причуд, похвальбы богатых заказчиков. Зачахли страсти денежных мешков, оборвалось нахраписто-вздорное состязание дутых престижей. В наследство нам достался слитный каменный след минувшего – вдоль исторического тротуара развёртывался метафасад, давно по сути не зависимый от вкусов-стилей своего времени – в составных фрагментах своих он тщательно продумывался и прорисовывался, а в целом заранее не предусматривался, даже эскизно не намечался. И каков же зрительный отклик на пластический сплав нарочитости с непреднамеренностью? Глаз мог записаться, застревать, но... но ведь ты никогда и не разглядывал по отдельности талантливые ли, бездарные, спонтанно собранные в единый Невский фасад фасады, не оценивал пропорции, детализировку, лишь день за днём, вечер за вечером мельком касался рельефной поверхности увековеченных сиюминутных тщеславий; ничего специально не выделяя, свыкаясь со скопищем этих усталых, неровно срезанных небом разнообразно-шаблонных форм, путаницей этих поминутно неожиданных и издавна знакомых, дорогих кадров, прыгавших в ритме шагов, прочерченных прерывистыми, не совпадавшими по высоте карнизными тягами, ты, пожалуй, до сих пор и не задумывался над тем, что долгие годы выпало читать, вычитывая всякий раз что-то досель упущенное, пространственно-временной коллаж, где и впрямь всякий раз заново и произвольно ложь локальных фасадов склеивалась боковым зрением в большую правду сочленявшей диссонансы гармонии.

Вот так открытие! Не об этом ли вещал Шанский в последней лекции... только сейчас дошло?

И опять в глазах заплясали точки, в тёмном мельтешении, будто на табло с помехами, промелькнуло – текст как город...

И распались связи, демаскировались законы сборки – время-киноленту, вроде бы окаменевшую навсегда, запустил вспять шутник-подсказчик: дома отклеивались по плоскостям брандмауэров, раздвигались, кренились, нагло ломая протяжённый лик славнейшей главной перспективы, разлетались, крошились. Откололся и повалился пупырчатый, с гладким кантиком, аттик, за ним грохнулся фронтон, брызнув у ног кирпичным боем, штукатурным прахом.

Соснин увернулся от рваной глыбы с тонкой канелированной колонной меж отблеснувшими небом арочными окнами. Полетел на голову сандрик, криво окантованный ржавой жестью, едва отскочил... падали балконы, обломы карнизов, пилястр, капителей, как когда-то ночью падали с полок книги Валеркиной библиотеки.

Валерка прощался. – В прокуратуре лишнего не болтай, мычи, в крайнем случае, как дебил, учти, любое твое слово будет против тебя, любое, лучше моргай и слушай. И... – Удачи, привет Художнику.

Исчез за дверью Лавки Писателей.

мутный осадок

А из Лавки – Сашка Товбин... как возможно? Минут пятнадцать назад входил в Дом Книги. Соснин побрёл вдоль витринных окон аптеки, чувствовал, Сашка провожал взглядом. Не скрываясь, шпионил, что именно хотел и мог выведать, что могла ему рассказать удалявшаяся спина? Случайно пересеклись когда-то, с тех пор присматривался при встречах, что-то записывал.

возвращение к реальности

Копыта, гривы, крупы четвёрки клодтовских скакунов переплавились вдруг в запряжённых в колесницу Победы, вздыбленных над величавой Россиевской аркой коней – они, несшиеся к Зимнему дворцу, казалось, готовились перемахнуть пустынную площадь... да, так началась наша история.

И вот очередной поворот.

У аптеки – за угол.

По Фонтанке, наползая одна на другую, плыли крупные льдины.

пролетая почти что мимо ушей, но (вот такой монолог) с пищей для глаз и игрой на нервах

У бесцеремонного шептуна густо торчали из ноздрей волосы. Фамилия, как же его фамилия?

– Согласен, недурно нарисовалось, у дома-красавца, если позволите искренний комплимент, строгий, стройный вид, достойный знаменитой и симпатичной мне, хотя я не коренной петербуржец, традиции. Так вот, проектная практика будто бы за вас, – не умолкал Остап Степанович, ловко болтая мундштуком, успешно служившим ему продолжением языка, а Соснин, невнимательно слушая, дивился искусству следователя пропевать на едином дыхании длиннющие фразы, – но в любом явлении нас учили видеть две стороны, как две культуры, не правда ли? И вторая, не искусно разрисованная воображением, но материально-реальная, жизненная сторона истинной практики против вас, увы, против – дом-красавец упал, превратившись в отрезвляющие обломки...

К кому с машинным вдохновением обращался он? К давно не белёному потолку, тяжёлой мебели?

Пока Остап Степанович хвастался красноречием, крепыш со смоляной бородкой и волосатыми ноздрями продолжал что-то важное шептать ему в ухо и издевательски-игриво, как доброго знакомого, всё ещё покалывал Соснина выпуклыми тёмными глазками, вот ведь как бывает, Илья Сергеевич, – усмехался хитрющий взгляд, – коньячок ли с утра попиваете в интуристовской роскошной гостинице, в высоком кабинете прокуратуры неожиданно ответ держите за халатно ли, преступно содеянное, а всё едино – под надзором государева ока вы везде от рождения пребывали и до смерти пребывать будете, понимаете? Крепыш вращал для пущей выразительности зрачками и поводил из стороны в сторону, точно разминал суставы, тяжёлыми коричневыми плечами; когда донесения иссякли, он деловито, лист за листом, принялся складывать в папку прочитанные Стороженко бумаги, очевидно, все, как одна, секретные, ибо Остап Степанович, не прерывая вдохновенных наставлений, пробегал желтые листки с чернильными штампами торопливым въедливым взглядом и охранительно, как если бы Соснин, почуявший, что бумаги его касаются, мог что-нибудь подсмотреть, прикрывал читаемое ладонью.

– Бесспорно, в громком ночном падении виновен досадный, не исключая, уголовно наказуемый комплекс служебных упущений, и лица, вольно ли, невольно к установленным и доказанным в суде упущениям причастные, независимо от должностных эпюлетов ответят перед законом, тем более, что в год славного юбилея это обрушение, надеюсь, вы понимаете, ставит помимо проектно-производственных и правовых ещё и политические вопросы. Конечно, фундамент социализма прочен, надёжен, его никаким горе-художникам в смычке со строителями-бракоделами не поколебать, но резонанс неприятный...

Повторял Филозовские тезисы, по шпаргалке шпарил.

И до чего противный тембр голоса! Соснин заулыбался, сообразил, что цель внешне доброжелательного многословия следователя, сколько бы он от своей скрытной цели не отпирался – усыпить внимание, возможно, вывести из себя, заставить вспылить, сорваться; вспомнились Валеркины предостережения.

– Да, наделали шума, и в фигуральном, и в прямом смыслах такой грохот подняли, что приборы потом зашкаливало, – не прерывая чтения секретных материалов, Остап Степанович пододвинул к Соснину лежавший чуть в стороне листок, – полюбуйтесь-ка заключением акустической лаборатории, его и Вистунов подписал.

– Кто этот Вистунов?

– Как кто?! – разыграл удивление, – шутить изволите, Илья Сергеевич? Вистунов – главный свидетель обрушения, шофер такси, ради него всесоюзный розыск объявляли, тратили народные денежки, а вы – кто?

Крепыш с чёрной бородкой, не прекращавший смешно вращать зрачками, укоризненно качнул головой.

– Однако... Однако, если не отвлекаться от рассмотрения прискорбных фактов под выбранным по нашему с вами обоюдному согласию углом зрения, то получится попросту, что возводимый в авральном порядке дом зловредно лишили сопротивляемости, как организм иммунитета, разомкнутый контур бессилён помешать ведущей стене выйти из плоскости и...

Искусник! Разглагольствования не мешали ему дочитывать.

– Вы улынулись? Стена несущая, ведущими в машине шестерёнки бывают или колёса? Ха-ха-ха, впрямь смешно, пардон, грандпардон, хотя дом – это машина для жилья, не правда ли? Читал, знаю; снял, повертел в неугомонных пальцах очки, близоруко сощурился, готовясь пробежать ещё оставшиеся в папке бумаги. – Мы долгое эхо друг друга, – выдохнул внезапно Остап Степанович, – но, как бы то ни было, техника не моя стихия, я чистой воды гуманитарий. И коли мы весело отвлеклись, позволю себе прицельный, но шуточный, по ана-

логии с дружеским шаржем, скажем, дружеский силлогизм. Я хоть и не технарь, но слышал не раз, что у студентов, корпящих над точными дисциплинами, есть поговорка: сдал сопромат – можно жениться! А коли вы холост, если не ошибаюсь, то извернулись, ха-ха-ха, сопромат до сих пор не сдать, ай-я-яй, без знания сопромата ваш дом и не устоял, был и – нет, красота его не спасла.

Выстрел в молоко. Как раз после сопромата женился – скоротечный брак с Нелли продлился чуть дольше семестра, от январского экзамена по сопромату до июльского возвращения из Крыма, после чего... Ладно, проехали. А пока почему-то бередило застольно-уличное суесловие Бухтина; не мог и не сможет выкинуть услышанное из головы? Поразительно, Валерка умудрился вместе собрать и разом обрушить всё то, что вынашивалось им столько лет. Оставалось вновь собирать обломки, связывать, стягивать идейные нити в узел. Действительно ли необъятный контекст ужмётся к вечеру в текст доклада, достойного почтенных и научно-строгих ценителей? Кольнуло: стоило смеха ради в лоб спросить Валерку – что такое красота? Смех-смехом, завтра придётся сочинять справку.

Облако заволочло солнце, за окном потемнело.

– Улицы грустят о лете, – посочувствовал Остап Степанович и передёрнулся, ему передался озноб города.

избавление от навязчивого соглядатая

Коричневый плечистый крепыш со смоляной бородкой и волосатыми ноздрями наконец-то торжествующе захлопнул совершенно секретную папку, важно проскрипел к выходу, беззвучно закрыл за собою дверь.

новые повороты (зигзаги) доброжелательного монолога с обвинительным уклоном

– Несомненно, реализм побивает абстракционизм, решительно побивает, абстракционизм в нокдауне, не так ли? Или уже в нокауте? – загадочно ухмыльнулся, радуясь историческим победам высшей эстетической справедливости на ринге искусства, Остап Степанович, и тут же отмобилизовался, постучал карандашом по столу.

Чего ради приплёл абстракционизм?

– Почему окно горизонтальное? О, догадываюсь, догадываюсь – дабы ответить членениям фасадной слоистости? Так-так, отвечать, соответствовать, гармонизировать, а не забыт ли, позвольте полюбопытствовать, контраст? Разве не контраст дарит нам возбуждающе-приятную глазу форму? – портики на скромном и плоском фоне, стекло и – грубый бетон. Я, конечно, профан, вы, Илья Сергеевич, этой дилеммой в её тончайших, как паутина, взаимосвязях сполна владеете, да и задачки посложней щёлкаете быстрее орешков, но почему не торопитесь меня опровергнуть? Разве чисто теоретически и с первого впечатления, которое, увы, увы, бывает сколь острым, столь и обманчивым, узкое вертикальное окошко тут бы не пришлось ко двору? На мой непросвещённый, возможно, недоразвитый вкус получилось бы даже эстетичнее и, – открыл на закладке третий том материалов комиссии, – удалось бы заодно сохранить замкнутость несущего стенового контура! Правда, если допустить, что башенный богатырь-красавец устоял бы благодаря похвальной предусмотрительности, а чем чёрт не шутит, встарь ведь недаром верили, что бережённого сам бог бережёт, итак, если допустить, что в устоявшей башне уже бы справили весёлые, с пробками в потолок, новоселья, мы бы не имели удовольствия гуторить здесь по законодательно-строному долгу

службы, но разве сойтись в непринуждённой дискуссии или, скинув пиджаки, погонять шары на бильярде, которым – слухами земля полнится – славен ваш Творческий Союз, не было бы ещё приятнее? Не вставая с кресла, лишь подавшись грудью вперёд, согнувшись в пояснице и отведя слегка назад и в сторону правый локоть, Остап Степанович скорчил заговорщицкую гримаску, с обворожительной осведомлённостью завсегда изобразил с помощью выхваченной из кожаных ножен пилочки нацелившего кий игрока, губами же – в дуэте с каким-то глубоким внутренним инструментом – издал звонкий звук, с каким шар, угодивший в лузу, ударялся о другие, уже покоившиеся в сетчатом мешочке шары.

Паяц!

– Согласен, не имею идейного права не согласиться: практика есть критерий истины, я видел не только маленькое чёрно-белое, – хлопнул ладонью по стопке отчётных томов комиссии, – но и увеличенное цветное фото перспективы, теперь, по настоянию следствия, присо-вокуплённое к делу...

Как? Разве отчёт комиссии составлен и утверждён? Ведь ещё должно быть последнее заседание, совмещённое с Днём Здоровья... предварительные материалы? Или – сигнальный экземпляр? А-а-а, тома не переплетены, схвачены скоросшивателями... и не вклеено акустическое заключение с драгоценным автографом Вистунова.

В голове угнездилась раздражительная вибрация.

Мерно жужжали люминесцентные лампы. Плафон, расчерченный белыми металлическими рёбрами, дрожал, изливал мёртвый голубоватый свет.

Потирая руки, Остап Степанович распорядился в маленький, с пластмассовым намордничком микрофон заварить растворимый кофе и смущённо наморщил лоб, когда по громкой связи тоненький голосок пропищал, что кофе кончился.

От чая с печеньем Соснин вежливо отказался; проследил за золотисто-трепетной траекторией моли.

– Не подумайте только, что я пригласил вас потолочь воду в ступе, нет и нет, такое не в моих правилах. Перед новым кругом логических допущений мне хотелось бы, остерегаясь спешки, с максимальной научной строгостью копнуть поглубже, безбоязненно задеть мировоззренческие пласты именно для того, чтобы избежать ошибок поверхностного дилетантского взгляда. А ошибки, между прочим, умеют прикидываться правильными суждениями. Не берусь предрешать, но и в нашем с вами постыдно-пренеприятном случае даже порывистое сердце подсказывает уму тысячу раз перепроверить не сказался ли разрушительно, если позволите скаламбурить, упаднически... – запрокинул голову, затрясся в беззвучном смехе, заполнявшем пустоты лица подвижной вспученностью морщинок, – да, не сказался ли упаднически разрушительный идейный изъян?

допрос с пристрастием

– Расчёт и при разомкнутом контуре гарантирует прочностную устойчивость с большим запасом? Знаю, с таблицами ознакомился. Жаль, однако, что вы переводите свободную беседу на формальные рельсы. Что-что? Всё спроектировано по нормам? Видите ли, – Остап Степанович вновь – на сей раз не спеша – отправил пилочку на покой в её кожаную нору, откинулся в кресле с высокими подлокотниками, принялся рискованно покачиваться в неустойчивом равновесии так, что два ряда надраенных до блеска пуговиц пиджака учинили на потолке беготню зайчиков, – видите ли, – задумчиво повторил он, поочерёдно делая ударение на каждом слого и виртуозно выпуская из маленьких ноздрей вереницы голубых мохнатых колец, – наше, Илья Сергеевич, всесильное благодаря верности учение не догма, лишь руководство к действию. Мы же порой боимся биения творческой жилки. Всё по нормам! Это опасный замкнутый круг,

в нём и диалектику развития недолго похоронить! Упрямитесь, горизонтальное окно красивее? Ах, упрямитесь с оговоркою, здесь красивее? Локализуете, хотя на мой взгляд вовсе не устраняете в корне ошибочную посылку.

Здесь... – задумчиво, протяжно повторил он, – а если не здесь, если – рядышком? Разумеется, я не могу утверждать, что сдвинь вы окно на полметра, дом бы устоял невредимым, не могу. Но зато могу это предположить, в том-то и логический фокус, которому вам, увы, противопоставить, как я понимаю, нечего.

За окном опять потемнело.

– Ладно! Зайду с другой стороны. А если... если злосчастное окно всё же подвинуть с перестраховкой, так подвинуть, чтобы не разрывался контур? Хуже пропорции? Позвольте, позвольте, с каких позиций хуже? С чьих позиций? И как же, минуя логические доказательства, отринув элементарное здравомыслие, вам удалось найти оптимальные границы прочностной и функциональной свободы эстетического решения? Интуитивно? Ну, полно шутить, Илья Сергеевич, вы же архитектор, а не пчела...

По подоконному отливу забарабанил дождь.

– Одна дождинка ещё не дождь! – оптимистично откликнулся, не подняв головы, Остап Степанович и снова чело нахмурил, пропел протяжно, делаясь лишавшими покоя сомнениями, – может вы на свете лучше всех, только это сразу не поймёшь... Боюсь, ох боюсь, грешным делом, что с методологией принятия решения у вас органичные нелады, что искомую свободу творчества, роль которой не умаляю, которую сам был бы рад-радёшенек при должном её обосновании поприветствовать, вы не удосужились осознать как необходимость перво-наперво конструктивную, потом функционально-планировочную и лишь затем – эстетическую. Прочность, польза, красота – в такой очерёдности, если не запомнил, располагала многовековая практика приоритеты зодчества, не зря устояли, не уставая, заметьте, радовать глаз, ещё рабами Рима сработанные колонны. О, главное-то я успел прочесть и понять, – долбил Остап Степанович, вставая, огибая стол.

– Огромное небо, одно на двоих! – изумился. – И куда-то всё спешат такси, – приходя в себя, философски оценивал обстановку за окном Остап Степанович, затем кротко жалел липы, истерзанные холодным ветром, ливнем, а своё недовольство выказывал громко, твёрдо, – уникально аномальный год выпал! Зимой оттепели замучили, едва травка с листиками зазеленели, запоздалый ладожский лёд загубил погоду и настроение, мечтал порыбачить. Ни в какие ворота, ледоход под конец июня.

– Но следы неблагоприятных деяний не смыть дождям времени, не надейтесь... – издали вещал Стороженко.

– Вы, Илья Сергеевич, несерьёзно, путано аргументируете, словно прячете сокровенное, – пробил-таки Остап Степанович оболочку беспокойной, даже тревожной дремоты, под которой укрывался Соснин, – я не посягаю на профессиональные тайны, храните свои заготовки для творческого соревнования! Помилуйте, я не конкурент вам. Если мы и тужимся сейчас переспорить один другого, то затем только, чтобы помочь рождению истины. Но время дознания истекает! Учтите, истекает в год юбилея, когда нас торопит очиститься от замаравшего проектно-строительный комплекс ночного безобразия сама символика славной даты, когда все мы особенно нуждаемся в ясности... Я телефона боюсь, как бомбы, шеф с минуты на минуту взорвёт: неси-ка, что раскопал! А на мне ещё содоклад к принципиальной международной встрече, где надо каждое слово взвесить. Пропади они пропадом, – раздражённо похлопал по бумагам в поисках зажигалки, – потогонные международные обязательства... Помолчал, успокаиваясь.

– И не мне одному за рубежом достаётся, недавно из друга моего в Японии соки, как могли, выжимали: заседания с утра до ночи, не досуг восточной экзотикой наслаждаться, – с расслабляющим удовольствием скользнул взглядом по прислонённой к черниль-

нице открытке, взял её, помахал глянцевым соблазном со стереоскопически-выпуклым цветением сакуры на фоне оснеженной Фудзиямы.

Соснин еле удержал смех.

– Стороженко! – вскочив, чинно доложил в телефонную трубку следователь и, обмякая, счастливо закричал, – а-а-а, давно бы так, уверен был, что и это найдёте, картотека всё-всё хранит! – победно качнулся к Соснину, как если б тот уже раскололся, – что там, в аннотации? – расплывался, довольный, пушистенькие усы оглаживал. Вдруг уронил на бумаги трубку, привстал на цыпочки и резко хлопнул над головой ладонями, но промазал, спасшаяся моль издевательски затрепетала в рассеянном холодном свете под потолком; раздосадованный следователь приказал в микрофон хозяйственному отделу вытравить, наконец, насекомых, мешавших сосредоточиться...

– Я всего лишь гуманитарий, законник... – управился с зажигалкой, у которой иссякал баллон, вернулся к узлу противоречий, так его волновавших, – я невольно, по-хорошему завидую вашему, удостоверенному дипломом художественному таланту, и неужели моя бескорыстная зависть, дополненная укрепляющейся симпатией, помешает понять почему вы не вняли завету древней триады? Почему замкнулись в эфемерной, но, увы, не безвредной для духовного здоровья сфере оторванного от жизненных нужд искусства?

Моль кружилась под потолком.

– Обидно... амбициозно хватаетесь за пальму творческого первенства вместо тихого честного служения людям. Характеристику на вас, сугубо положительную, даже панегирическую, прислали, хоть чудотворную икону пиши с натуры, – доверительно понижал голос и сжимал губы Остап Степанович, – однако восхваления – штукавина обоюдоострая, это, знаете ли, палка о двух концах, если с высоты прошлых заслуг упасть, больно будет, как больно...

– Да, обидно, не нашли элементарно простого решения, пусть и сулившего вашему стройному детищу еле заметную неказистость. Победителей ведь не судят! Сдвинули бы окошко, глянь – и дом бы стоял целёхонький, и почти полтора ста тысяч кровных целковых не полетели бы псу бесхозяйственности под хвост, и вы бы не дрожали хуже осинового листа в ожидании приговора. Но не будем спешить, не будем, – разжал в снисходительной полуулыбке губы, на нижней губе отчётливо обозначилась ангиома, – вы пока, на данный момент, не обвиняемый, вы свидетель...

– А моральный ущерб? Слухи, панические небылицы, город гудит... как не повторить про неприятнейший резонанс...

И дрожат, жужжат лампы.

– В точных науках действие равно противодействию, так? Зато в житейском море посеешь ветерок, а пожнёшь... и как не разбушеваться социальной стихии, когда столько во все стороны разбежалось трещин, дома-угрозы – в великом городе! Да в канун...

Хлопнул над головой ладонями, мимо.

– Заладили – всё по нормам. Ха-ха-ха, старушонку чёрт убил, не я – помните? Повторяли недавно телепоказ по просьбе зрителей. Тонкое, если не гениальное наблюдение! А скажите-ка, кто дом обрушил? Вы и обрушили-с! Ха-ха-ха. Как мы, смертные, горазды обелять наказуемые проступки тягою к вечным ценностям! Вы вот, Илья Сергеевич, с оконцем не совладали, ну и признались бы чистосердечно, облегчив душу, ан нет: красота виновата, чувство пропорций и гармонии подвело, будто вас, специалиста высокой, согласно служебной характеристике, квалификации бес попутал, – заливался Остап Степанович, успевая продувать свистевшим вихрем мундштук и слепить Соснина очками, огорошено, будто бы долбанули в темя, упёршегося взором в одну точку, с мерным жужжанием, залп за залпом, посылавшей в его зрачки радужные круги.

– Скажете, эка беда, один, да не заселённый ещё, дом упал... помните? – хорошо, что только старушонку убили... ха-ха-ха, вам дай волю, такого наворотите...

– Ха-ха-ха, – долетел новый смешок Остапа Степановича.

Положив мундштук со свеженькой, пряно задымившейся сигаретой в углубление на ободке пепельницы, высеченной из лабрадора, он уже подписывал документы коричневому крепышу с бородкой и весело приговаривал. – Экий вы, Илья Сергеевич, к искусству чувствительный, уж нельзя и всемирно известное произведение помянуть, хотя сознаю, в вашем аховом положении, пусть вы пока не обвиняемый, а свидетель, его название звучит весьма неуютно... проводил взглядом проскрипевшего к двери... снял очки, устало потёр переносицу.

музыкально-пластический этюд

– Водички выпьете? – кивнул в сторону столика с немывтым графином, – или в такую холодрыгу лучше бы коньячком побаловаться, хотя бы с напёрсточек проглотить, да заесть икоркою, а? Выразительно потянул носом, принюхиваясь. – Небось не брезгуете с утра пораньше, пусть и в сомнительной компашке, принять на грудь, о, нам сверху видно всё, – прыснул, вооружая взор линзами. Ха-ха-ха, насчёт коньячка здесь, при исполнении, сами понимаете, шутка, на работе – ни-ни, но попроказничать где-нибудь в укромном уголке было б недурно, хотя бы и в крохотном баре, который отпирают по торжественным поводам на верхотуре Творческого Союза. Напряжёмся, в директивный срок сдадим уголовное дело в суд, чем будет не повод, а?

С удовольствием покачался в кресле.

– Или в гнёздышко с морёной панелью и алыми бра допускают лишь баловней таланта, избранников муз, мы, канцелярские крысы, шуршащие бумагами день-деньской, недостойны покейфовать вечером на высоких стульчиках?..

– Не удивляйтесь, всё о закрытых утехах знаем, и не только по оперативным данным или донесениям наружного наблюдения, берущего на мушку творческих выпивох, – затрясся в беззвучном смехе, – милейший Виталий Валентинович, когда с Конгресса Прогрессивных Сил вместе летели, столько порассказал о нравах богемы, потом у стюардессы бутылку «Столичной» взял, объяснил наглядно, как отец народов согласовывал кривобокий фасад гостиницы...

– Да, на высоких стульчиках, а рядом... – распаялся творческой атмосферой Остап Степанович, успевая не только перебрасывать из руки в руку шейкер и, встряхивая сосуд над ухом, прислушиваться к пьянящему бульканью процессов смешения, но и задумчиво склонять голову, скашивать глазки, как бы прикидывая со стороны хорошо ли у него получается... рядом млея в бело-золотом мерцании зал с фигурными зеркалами и прелестным балкончиком.

С этого-то мраморного балкончика под плафоном, обжитым пухлыми, кое-где задрапированными летучими красно-бирюзовыми тканями дамскими телесами, Остап Степанович правил балом.

Вскинул руки, облапил регистры поблескивавшего инструмента и протрубил подобие туша, глянул вниз, где шикарные пары удваивались в лаковой бездне инкрустированного паркета, похлопал тыльной стороной ладони по губам, воспроизводя звуковой вибрацией настройку оркестра, другой же рукой, будто он вовсе не человек-оркестр и даже не капельмейстер, а разгорячённый танцор, обнял за талию воображаемую партнёршу и загнусавил трампам-памами чарующий вальс.

Потом, отдышавшись, в интимных, переливавшихся цветистостью бутылок сумерках бара опрокинул рюмку, потешно передразнил вездесущими руками и туловищем конвульсии саксофониста и всего пара фраз, рождённых в его музыкальной утробе и резко вылетевших из туго надутых щёк, плеснула хрипловатым возбуждением джаза.

скомканный финал

– Ничто человеческое не чуждо, – скромно резюмировал импровизацию Остап Степанович; чтобы руки не изнывали без дела взялся точить красный карандаш такой же, как у Владилена Тимофеевича, точилочкой в виде маленького колпачка-конуса, вертел его быстро-быстро за крохотный хромированный рычажок, пододвигая локтем под медленно сползавшую спиральку тонюсенькой, тоньше папиросной бумажки, стружечки сплетённую из соломки корзиночку.

– Спасибо другу, полезный подарил сувенир, а то возись с бритвами, того и гляди порежешься, ха-ха-ха, кровь, улики, – подмигнул, посмотрел на часы, – нда-а, не думай о секундах свысока...

Быстро, ловко набросал протокол.

– Вот диапазон – красоту как разрушительную категорию обсудили, после вас в усталости бетона извольте быть специалистом. Жду после вас... – скопился в бумажку, – вот ведь Господь Бог наградил фамилией! Фай... Файервассер! Уф! Нормальному человеку не выговорить.

Налившись серьёзностью, отчуждённо навёл на Соснина очки, переполненные тухлятиной, сделал жирную пометку красным карандашом в перекидном календаре. – Жаль, ваши размагниченность, рассеянность чрезмерно нас задержали, – попрекнул, посмотрел опять на часы, – зря от чая отказались, крепкий чай вас бы разогрел, тонизировал, мы бы быстрее двинули пробуксовавшую на половинчатых выводах беседу к взаимному, полагаю, удовлетворению...

– Однако правовая процедура священна! Да, я вынужден, подчиняясь букве закона, пере-квалифицировать свидетеля в обвиняемого, увы, факты и обстоятельства объективно сильнее моей искренней к вам симпатии. Однако, повторяю, я лишь пере-квалифицировал правовой статус, участь вашу определит суд, только суд, да, надежда – наш компас земной... Протокол вот здесь... И – подписочку о невыезде... Извините за прямоту, бежать вам некуда, но такова формальность.

Сосредоточенно хмурясь, отметил пропуск.

Холодно глянул на Соснина, вяло протянул руку.

отмучившись

В заляпанном извёсткой, загромождённом козлами, на которых поругивались мощные бабы в необъятных комбинезонах, вестибюле прокуратуры вахтёр с птичьей головкой на торчавшей из ватника тощей жилистой шее посматривал в маленький телевизор, где целовались Брежнев и Сулов; вахтёру пришлось ещё и оторваться от зелёной эмалированной кружки с чаем, высунуть из окошка своей конуры сухую кисть за пропуском, машинально наколоть бумажку на заострённый штырёк... потом вопросительно повернул к застывшему Соснину испитое лицо с ввалившимися щеками и мёртвым стеклянным глазом... на клеёнке – чайник, газета «Правда».

Сухинов?

Да, на пенсии.

прочь, поскорее прочь

Свидетель, переквалифицированный в обвиняемого, с облегчением толкнул дверь, подумал – где-то здесь, поблизости, Третье Отделение располагалось... В перспективе Фонтанки виднелась фигурка деловито спешившего на допрос Файервассера, но, не желая с ним встречаться, Соснин свернул в противоположную сторону, к Пантелеймоновскому мосту, затем зашагал вдоль Летнего сада... вдоль Мойки.

Вдоль Мойки, по краю Марсова Поля.

Вдоль Мойки, вдоль Мойки.

Хотелось проветриться.

Холод бодрил.

ледоход в июне

Много позднее обычного зацвела черёмуха... – внезапную волну стужи будто бы оправдывала примета, оставалось потерпеть два-три дня, чтобы вступило окончательно в свои права лето, однако запушившие по-летнему тополя обманулись – студёный ветер вторую неделю бросал в дрожь молодую глянцевою листву. А тёмные, с небесно-голубыми глазницами окон дома, натерпевшиеся на долгом своём веку всяких причуд погоды, покорно плыли навстречу ледоходу, над сросшимися домами-дредноутами, словно слились воедино отражения рек, каналов, стыло ясное бездонное небо, по нему, как подтаявшие с краёв сиреневатые льдинки, плыли рыхлые облачка.

Ну и холод!

Свернул с Мойки.

Быстро огибал гофрированные лужи, очереди к штабелям неряшливых, пахучих ящиков, в которых серебрилась корюшка; торопился, подгоняемый ветром.

Нева; свет и блеск.

И напор ветра, свист!

Наводка? Как иначе смог бы Стороженко заметить окошко, которое в отчёте удоставалось краткого примечания? Шустрый! Копнул поглубже, задел мировоззренческие пласты и...

Если бы, шагая по громыхавшему трамваями мосту на Васильевский и набрасывая по первому впечатлению портрет Стороженко, Соснин мог услышать, что доносил Филозову, посмеиваясь в трубку, пока Файервассер мариновался в приёмной, Остап Степанович! – сонливый тихоня себе на уме, учти: юлил, изворачивался, небось, и ты наслушался таких отговорок? – красота, пропорции, потом демагогически на нормы ссылался. Представь, Владюша, мы вкальваем, а он с диссидентами, взятыми на учёт, едва ль не спозаранку благородный коньячок распивает... он сам себе на шею петлю накинул, затянуть осталось... и не сейчас, давно накинул, в картотеке Комитета сидит с пятьдесят шестого, рисовал идеологически вредные плакаты, абстракции. Пока я бегло с архивными документами ознакомился, завтра поподробнее вчитаюсь и звякну...

Льдины сталкивались, крошились.

Трамваи притормаживали на спуске; затихал перестук, колёса повизгивали.

Обвиняемый. В чём обвиняемый? Неужто все рехнулись, а он – нормальный? Ощутив пока ещё робкий щекочущий позыв смеха, повеселел. Отлегло от сердца, ну их... после напряжённого однообразия допроса, отдался восторгу ветреной свежести, речного простора. Какой воздух, сколько его там, в клубящейся высоте! Жестяной куполок над Академией Художеств, пьедестал погибшей в революционных передрягах Минервы. Румянцевский обелиск, проткнувший тёмную блещущую гущу листвы. Влево, вправо – приземистые дворцы, особ-

няки бесконечной невской набережной, распластавшейся под многоярусным давлением туч. С моста широко распахивалась подвижная, лепившаяся на глазах панорама неба.

профессионально-психологическая хитрость

А этот Фай... – повесил трубку и заглянул в бумажку, – этот Файервассер пока не перегорел, пусть посидит.

Остап Степанович ослабил узел галстука, подошёл к окну.

и дождя серебряные нити

Небо темнело, гасило голубизну окон.

Безобидные облачка быстро срастались в чёрные тучи с ярко распушенными солнцем краями, с почти равными просветами тучи спешили друг за дружкой, к заливу. И налетал слепой ливень, следом – весёлой полосой – свет, и синькою загорались лужи, воздух вспыхивал влажным зелёным блеском, пёстрым колыханьем зонтов, и Соснин шаггал, шаггал, отсчитывая линии, по Большому проспекту, но опять настигала чёрная набухшая полоса, опорожнялась: небо обрушивалось потопом. Оставалось прижиматься к фасаду под спасительным эркером, слушать ропот побитой листвы, машинально смотреть на то, как смываются с асфальта к решёткам ливнёвки белые, точно рыба чешуя, лепестки. А мимо шумно падала завеса воды, которую раскачивал, окатывая брызгами, ветер, и, радуясь необузданности световых и цветоносных контрастов, Соснин всё же поругивал преждевременную репетицию осени.

в прихожей

Промок, продрог – эркеры не спасали от дождя с ветром.

Напустив лужицы, сушились купола зонтов, под вешалкой – сапоги-чулки, как отстёгнутые протезы; наплыв гостей.

– Завидую тебе, Толенька, белой завистью, смерть как по морю скучаю, – долетали распевные стенания Милки.

– Да, солнце печёт, маки отпылала у Карадага, но вода в бухтах холодная.

– А нас дожди замучили, неделю хлещут и хлещут, холодина жуткая, видел? – ладожский лёд в июне.

Махнул расчёской, одёрнул мешковатый пиджак.

Вот и Толенька собственной персоной.

Загорелый, с искристым взором, плечиком грациозно упёрся в дверной косяк; чёрный облегающий свитер, узкие брючки в рубчик.

– Чего-нибудь покрепче?

укол

Протянул веточку черёмухи хозяйке дома, взял рюмку с водкой, обогнул могучий пилон в центре комнаты – сросшиеся спинами, заваленные до потолка старыми холстами шкафы, платяной и книжный.

Картина пронзила взглядом гипнотизёра.

Изображение, мгновенно отпечатавшись на сетчатке, разносилось кровью, биотоками, нервными импульсами; покорился внушению, как если бы знал уже что ещё увидит, развёртывая внезапное, словно обморок, переживание.

здороваясь, прислушиваясь, осматриваясь

– Валерки не будет, слышали? Променял нашу тёплую компашку на ледяное созвездие филологических знаменитостей, – сетовал Шанский; знал уже...

– И слава богам, не хватало вечер на ваш заунывный дуэт потратить, – порадовалась Людочка, а Таточка скорбно поджала губки, она-то ждала Валерку... вздыбились пушинки на вязаной кофточке.

– Почему на дуэт, не на трио? – с обидчивой наигранностью грохнул за шкафом Бызов, – меня, баса-полемиста, списали? Ну-у, без Валерки мы с Толькой как раз дуэтом и запоём, гарантирую. Гошка Забель кивает. – Где пропал? Художник встаёт. – Заждались. Шанский плечиком пожимает. – Едва налили, пришёл на запах. И московский теоретик улыбается из угла, худой рукой с зажжённой сигаретой помахивает, мол, не выбраться, и, взметнув огненные патлы, Милка шумно раздвигает стулья, протискивается обниматься – не виделись целую вечность; чуть раскосые сверкающие серо-голубые глаза, горящие веснушки, хотя и зашпаклёванные слегка крем-пудрой.

дуэт пробует голоса

– Планы выражения и содержания образуют нечто вроде чемодана с двойным дном, весомы в багаже искусства лишь ускользающие от досмотров, неподъёмные тайны, – заведённо втолковывал Шанский Бызову, крупному, плечистому, в круглых, с толстыми стёклами, очулярах, оседлавших мясистый нос: одинокий бугор на тяжёлом, гладком, как булыжник, лице.

– Туманно, друг Шанский, – Бызов мотнул круглой, стриженной ёжиком головой, достал кожаный кисет, взялся набивать солидную фёдоровскую трубку, – может быть, без тайн в багаже жилось бы нам лучше, веселее, а? А-а-а, Илюшка! И мрачно, тихо. – Про Льва Яковлевича слышал? И сгрёб Соснина в охапку, и ну кричать, по спине дубасить. – Скажи, если искусство-ед напустил туману, скажи, на кой эти безобразия, из которых, как из страшного сна, хочется поскорее унести ноги? Глазу что нужно? – раскидистое дерево на переднем плане, водная гладь, голубые горы вдали, а тут хоть вешайся, тьфу! – отвернулся, махнув ручищей, от большого холста, чуть наклонно укреплённого на мольберте.

картина

Стихали голоса. Унылое пространство двора-колодца слева затекало в арочную подворотню, в разломе справа высились глухие, подкрашенные закатом стены; на асфальтовом дне колодца, в фокусе композиции, шайка смуглых узколобых громил терзала бледного до синевы человека с безумным взглядом выпуклых светлых глаз.

С жертвы срывали голубоватый хитон.

Или – просторную ночную рубашку?

повисшая фраза

– В Писании на сей счёт нет подробностей, упоминается лишь, что одежды достались стражникам, – долетало из-за шкафов грассирование Шанского.

отвлекающее явление

– Привет!

– Прошу любить, жаловать...

– Привет, привет! – в дверном проёме церемонно, налево-направо, раскланивался Головчинер, – привет, моё почтение, привет! – высоченный, тощий и узкоплечий, с жёсткими, коротко-коротко подрезанными сидящими усами, будто бы наклеенными между тонкой, брезгливо изогнутой губой и крючковатым носом.

– Как раз к третьему тосту поспели!

– У него традиция 3, 7, 11 и так далее, тосты произносить, – тихонько напоминала Людочке Милка, – под стол не свалимся, так и пятнадцатый тост услышим, однажды я до девятнадцатого продержалась.

– Даниил Бенедиктович, Даниил Бенедиктович, – прямо глядя в глаза, повторял он, когда здоровался, хотя со всеми был хорошо знаком; и зачем-то теребил узкий лиловый галстук, и склонял при рукопожатии аккуратную удлинённую голову с прошитыми нитями седины тёмными волосами, едва слышно прищёлкивал каблуками, а, распрямившись, ласково трогал пальцем ямку на подбородке. Да, ещё на заре туманной, в дымах «Сайгона» и случайных кухонь перезнакомились, но при всякой новой встрече теребил галстук, склонял голову, прищёлкивал, представлялся с официальной отчётливостью. И как не вспомнить, поскольку давно не виделись, что физико-математический доктор, мировой спец по магнитным полям и блуждающим полюсам планеты не потерял пролетевшие годы даром, напротив, преумножил свою заслуженную естественно-научную славу заучиванием неисчислимых волшебных строк, в гостях он их страстно декламировал наизусть, прикрывая при этом, словно наслаждающийся любовник, выпуклыми веками чёрные, глубоко посаженные зрачковые бусины. Вспомним также, что был он не просто восторженным знатоком рифмованных или белых строк, он был ведущим подпольным стиховедом, аналитиком ударений, слогов, размеров; числом испытывал поэзию на высшую точность – в глубинах стиха, свято верил, прятался не демон, но формула. Его, боготворившего поэтов серебряного века, вообще-то отличал нюх на замечательные стихи, хотя он же посредством числовых экзекуций профессионально лишал их колдовского флёра, а затем превращал в декламационные приложения к нечётным тостам, назидательно контрастировавшие с обычно пустяковыми – о том, о сём – застольными репликами. И ещё. Головчинера, фанатичного ценителя поэтического гения Бродского, чьи дивертисменты и эклоги-элегии, едва нелегально перелетали океан, он безбоязненно и гордо цитировал даже в засорённых стукачами компаниях, остерегались, как носителя дурной болезни, редакции толстых журналов, других официальных изданий. По законам гнусного времени печатали плодовитого Даниила Бенедиктовича, да и то с гулькин нос, лишь в ротапринтных тартусских сборничках и самиздатовской, переплетаемой вручную машинописи. Он, однако, не унывал – за кордоном на головчинерские труды, оснащённые хитрыми ступенчатыми формулами и таблицами, рос спрос, на них всё чаще ссылались в диссертациях и докладах на конференциях экзальтированные аспирантки-славистки из американских университетов, ибо вслед за нашим стихо-

ведом уверовали, что математические отмычки позволят им проникнуть в тайны индивидуальных поэтик, заодно – в таинственную русскую душу.

пространство тревоги

И уже ни слова не слышал. Поволокла в глубину холста, потом отшвырнула назад какая-то сила; отпрянул к шкафу. Ещё шаг. Что ж, не плохо. Внимание не приковала единственная точка зрения, мог двигаться. Однако, где бы не стоял, картина навязывала свои условия восприятия: два пространства, реальное и иллюзорное, написанное, смыкались. Хотя Соснин находился на четвёртом этаже доходного дома, в увешанной холстами, заполненной жующими говорунами комнате, его сдавливал обшарпанный темноватый двор, стоял он не на красноватом паркете, а на асфальте.

Тревожный эффект присутствия оборачивался моральным испытанием – смотрел, не отводя глаза, на такое, не вмешиваясь, будто очутился в путаном театре, где убрана лицевая плоскость у декорации не для того, чтобы впустить зрителя внутрь действия, но – само действие выбросить наружу; вот-вот вбежит в комнату худенький наголо остриженный мальчик в линялой розовой майке.

Наклонившись, мальчик бежит по кругу, описывая творящую расправу шайку, втягивая дуговым манёвром в изображение. И не понять – красноватая ли паркетная ёлочка, растрескавшийся асфальт уйдут из-под подошв прежде, чем мальчик промчится мимо. Соснин переминается с ноги на ногу: отступить и – пусть пробегает спереди, или, отважившись, шагнуть к опасному центру круга, чтобы мальчик пронёсся сзади? Прочь, прочь жалкие трёхмерные сомнения, из холста тянется рука жертвы – можно ухватиться за неё, дёрнуть, что есть силы, вытащить из смертельной беды странного, не от мира сего, человека, не бросать же несчастного на произвол судьбы, ещё миг – и он шмякнется на асфальт, его затопчут. А если протянутая рука – не жест отчаяния, но символика, если этот жест лишь будит восприимчивость, удерживает в поле притяжения живописи?

Почуввав растерянность Соснина, ему панибратски подмигнул гориллоподобный детина, расстегнувший в гадкой ухмылке молнию рта.

из увиденного краем глаза, услышанного краем уха

– До чего гнусные! Щербатые пасти, дегенеративные лбы, шишкастые лысины. Зачем ты их такими нарисовал? – наседала Милка.

– Ха, других не встречал на большой дороге, не повезло.

– Но почему, почему... – заволновался Гошка, коренастый, подвижный, с тёмными, на выкате, глазами под выпуклым лбом и чуть приплюснутым, как у боксёра, носом; в поисках пачки сигарет нервно захлопал по накладным карманам короткой джинсовой курточки, выдубленное заполярными ветрами и ледяными брызгами лицо туриста-байдарочника, покорителя порожистых рек, побагровело от негодования, голос обиженно задрожал, ещё бы, Гошка был гуманистом до мозга костей – многолетний абитуриент-неудачник литературного института, он, в конце концов, вынужденно прибил к технической пристани, стал ведущим турбинщиком «Электросилы», однако ежемесячно продолжал заглатывать лошадиные, если не слоновьи дозы человеколюбия, ибо, осчастливленный блатом на Главпочтамте, в обход лимитов выписывал вдобавок к толстым журналам обеих столиц ещё и провинциальные, правда, «Звезда востока», «Памир», «Кодры» – тут и блат оказывался бессильным – выписывались в нагрузку... и без усталости макулатуру собирал и сдавал, выкупал за талоны дефицитные изда-

ния, потом обменивал, всех спекулянтов на лестнице Дома Книги знал... достойные журнальные публикации из журналов вырывал, собственноручно старательно переплетал, подбирал картинку для каждой твёрдой обложки, многие зачитывались его самодельными книгами... какой том Трифонова составил! – Но почему, – нашёл-таки сигареты Гошка, – античное искусство не ковырялось в гнойниках, не толкало заглянуть в пропасть, а вовлекало в хоровод вечных и простых истин, возьмите Гомера, его эпические поэмы завораживают гимном миру и человеку.

– Ха-ха, счастье Гомера в том, как известно, что он не видел ни мира, ни человека, он их воображал такими, какими хотел бы видеть, ха-ха-ха... языческое мировосприятие вообще радостнее христианского, которое измучено дуализмом брэнного тела и бессмертной души.

– Нет! – не унимался Гошка, – и христианская Флоренция озарила искусство дивной гармонией, гуманистическим светом.

– В дивной, светоносной Флоренции, мой Прометей, правили кинжал и яд, – отрезал Шанский.

– Я не о вероломстве правителей, я о народе, о флорентийцах.

– О, друг мой Георгий, не просветлённые ли флорентийцы, ведомые Сованаролой, кидали в костёр холсты Боттичелли?

перед картиной

Мальчик, клоня корпус, голову к сцепившимся в центре круга фигурам, бежал тем временем по своей дуге, ещё шаг, два и – шлёпнет по полу босая ступня, он врежется в гостей: звон битой посуды, расплескавшиеся напитки, высаженное стекло книжного шкафа. В суматохе аквариум толкнут, опрокинут, затрепещут в агонии рыбки меж осколков, водорослей; хлюп-хлюп – бьют, обессиливая, хвостики, тускнеют глаза, беспомощно вздрагивают подёрнутые перламутровым сиянием жабры.

Всего шаг, вот и полшага до отвратительного шлепка, Соснин уже видит грязный след ступни, женщины визжат, будто в комнату залетела крыса. Но как томительно медленно он бежит!.. Вперёд ли шагнуть, назад, чтобы с ним не столкнуться?

В нос шибануло потом.

Он – рядом.

Соснин подался вперёд, прижался к картине, дохнувшей скипидаром, олифой. Кряхтение. Треск рвущейся материи. Толчок в плечо. Дёрнулся вправо – оказалось, слева подали тарелку с бутербродами: кильки, бело-жёлтые срезы крутых яиц в оперении зелёного лука. А сзади кто-то шумно вздохнул, раздался лай. Кто-то, наверное, выгуливал собаку, она кинулась на дворовых погромщиков, прыгнула в холст...

Не оглядывался.

Продлевал силовые линии видимого действия в глухие картинные закутки, за границы холста, за точки схода, пронзал тончайшую многослойность лака, красок, которая преобразует иллюзией две реальности: ту, что перед ней, ту, что за нею.

за картиной

За нею?

Пробравшись к столу, потянувшись к бутылке, глянул украдкой за мольберт.

Шершавая зеленовато-серая клетчатка. Элементарная изнанка холста. Ничто. Плюс угол подоконника: палитра с затвердевшим хаосом красок, скрюченные, выдавленные тюбики, грязные кисти.

А в окне – брандмауэры, подрумяненные занимающимся закатом.

зеркала против рож

Ещё одна рюмка водки, горячая рассыпчатая картофелина.

– Мир раскалывается, ухает в тар-та-ры, конец, колокольный плач? Чёрта лысого! – пронзает облака солнышко, щебечут птицы в мёртвых лесах, зло додавливает добро, маниакально грезящее реваншем, – вроде бы мир статичен. Однако вероломно меняются его отражатели, в кривые зеркала смотримся, а верим по привычке будто бы кривы рожи. Не-е-ет, пора на зеркала пенять.

семиосис против мимесиса,

а Бызов (активно) против Шанского,

Головчинера и тени отца семиосиса Кассирера,

тогда как московский теоретик

по своему обыкновению невозмутим,

он придерживается аргументированного нейтралитета

– Позвольте, позвольте...

– Ой, насмешил, ой-ой-ой, животики надорвём! Наш профессор биологии рожи отдельно от зеркал держит, но они-то по отдельности не живут! Это мух можно из супа выудить и обманываться, откушивая затем, что их там не было, – Шанский откинулся на спинку стула, задёргался, симулируя смеховые конвульсии.

– И, позвольте заметить, Антон Леонтьевич, из метафорического зеркала не отражения мира смотрят, но – представления наши о нём, о мире.

Антошка расстегнул грязно-рыжий, выдавший виды пиджак из выворотки, в котором ему, наверное, стало тесно, важно пососал трубку и ну опять зеркала крушить. – Поток пустоватых знаков, символов хуже жёсткой радиации блокирует живые смыслы, вот, – подмигнув Художнику, брезгливо ткнул пальцем, – фигуративная реалистическая холстина, но ни черта не понять, точно от абстракции веет потусторонним холодом.

– Всё перепутал, не всякое отражение отливается в знак, не обязательно, что знак раздается или уплотняется в символ, – укорял Шанский.

– Вы не строги с дефинициями, Антон Леонтьевич, – завздыхал Головчинер, тронув ямку на подбородке, – хотя и нестрогостью своей невольно засвидетельствовали, что семиосис объективно теснит мимесис, да, знаковые потоки сгущаются, отражения, эти копиистские или окарикатуренные аналоги жизненных картин и движений, теряют художественную власть, знаменая ослабление аристотелевской эстетики и вскормленного ей реализма.

– Да, иссякает власть и страсть аристотелевского отражения, а собственно христианская истина никакого своего, животворно-долговечного доктринального метода не смогла предложить искусству, – кивал московский теоретик, – за иконописью, великой ренессансной станковой живописью замаячила реалистическая мертвечина; церковь, высшая духовная инстанция, поощряла лишь благостные иллюстрации библейских сюжетов, нравоучения и проповеди добра. Спокон века, конечно, случались изолированные бунты гениев, которых тяготила каноническая рутина. Но вот и все искусства взбунтовались на свой страх и риск, не исключая, самостийные «измы» авангарда, размножившиеся делением, манифестировали богоборческий бунт...

– С больной головы – на здоровую! За авангардистскую безответственность на христианство-то зачем возлагать вину?

– Гошенька, не прячь пытлившую головушку под тёплое крылышко! Иудеи в вере своей не нуждались в зримых образах, абстрактных умозрений хватало, а рождённые среди статуй и фресок средиземноморские язычники, становясь христианами, желали жить среди привычных, наследующих Риму и эллинизму изображений, чтобы перед ними молиться святому духу. Апостол Павел поколебался, дал пастве изображения, как хлеб насущный, ха-ха-ха, главный строитель молодой церкви запустил процесс её разрушения... ха-ха, – отваги Тольке было не занимать, – не пышная ли изобразительность погубила языческую античность? И не она ли, ныне сверхпышная, подспудно разрушает христианство? Аскетично-созерцательные религии давно доказали свою жизнестойкость, тогда как изобразительность, традиционно дорогая нам, легко переводимая в поток означающих, всё агрессивней. Разумеется, в миру, вне церкви, обманчивого оплота устойчивости, напористость означающих, усугубляемая их визуализацией, ускоряемая множительно-копировальной техникой, делалась и делалась в наши дни вовсе неустойчивой, многозначность мельканий уже сулит не многозначительность, но – деструкцию, гнетущую хаотичность.

– Что происходит, что происходит? – дурашливо заморгала Милка, – скажи правду, Толенька, нам каюк?

– Нам-то каюк, конечно, моя дорогая, хотя ничего особенного не происходит, – налил себе водки Шанский, – цивилизация, как объяснили ещё в начале века, нахраписто напирает на культуру, перво-наперво на цельность культуры: дробит, изгоняет дух подлинности.

– Обманная стихия захлестывает! Барахтаемся, пускаем пузыри в амальгамном омуте – студёном, бесплотном.

– И чем зеркальной отражает кристалл искусства лик земной, тем явственней нас поражает в нём жизнь иная, свет иной, – приятно пощекотав память Соснина, еле слышно прошептал с прикрытыми глазками стиховед, но стряхнул поэтическое наваждение, поднялся на защиту научной точности. – Опять вы, Антон Леонтьевич, про амальгаму, – досадовал Головчинер, – да, семейства информационных потоков размножаются с головокружительной скоростью, методически обособляются от действительности, служить которой, собственно, были призваны. И у искусства, освободившегося от бога, соблазны постыдно множатся. Однако никакие умножения вторичных сущностей не заменяют, не изводят, тем паче не уничтожают саму действительность. Если угодно, параллельно, хотя и пересекаясь в множестве точек и плоскостей, развиваются два взаимно зависимых мира.

– На манер мира и антимира?

– Слава богу, нет, Эмилия Святославовна, – успокаивал Головчинер, – иначе бы, как выразился Антон Леонтьевич, рожам и зеркалам даже соприкосновение невинными взглядами грозило бы аннигиляцией.

– Именно! В никуда убываем, аннигилируем, – ухватился Бызов.

– Не возводи на себя напраслину, ты горячий, толстый, – захохотал Шанский.

– Всё тоньше, – с ехидцей облизал пересохшую губу Головчинер, – в мире зеркал – позвольте поэксплуатировать, Антон Леонтьевич, вашу обобщающую метафору, по сути, метафору коллективного сознания, фиксирующую и фокусирующую всё многообразие человеческих представлений, – итак, в мире зеркал, в ускоряющейся перекидке drobных многокурсных отражений, возможно, зарождаются невидимые энтропийные вихри. Они выдувают тепло из мира людей, замещают его бестелесным знаковым холодом, вмняя реальным вещам-предметам – если модного оккультного словца не чураться – свойства их астральных двойняшек.

– Вот-вот, вокруг подмена, измена... означаемые, то бишь всё то, что составляло и наполняло мир, где мы жили, то, к чему мы относились как к данной в ощущения реальности, зеркала сознания замещают означающими, косвенность, прежде всего визуальная косвенность, наступая-побеждая, тихой сапой берёт своё, – развивал предположение Головчинера вооружённый вилкой и ножом Шанский. – И как не вспомнить Илюшкин зеркальный театр! Надеюсь, Ил простит мне грубую лезть, тот давний проект – кто не видел, поверьте на слово – поражал чувством будущего, хотя тогда его, конечно, трудно было принять; в смутной тревоге толпились перед подрамниками, поёживались, но не понимали ещё, что надвигалось знаковое похолодание, о котором лишь теперь мы удосужились внятно заговорить, что мельтешение отражений предупреждало о неумолимости меняющейся, избавляющейся от натуральности жизни. Бызов, себе на уме, был, казалось, поглощён сосанием трубки, высасывал новые аргументы? Даниил Бенедиктович на слово не привык верить, подбросил какую-никакую мыслишку в общий котёл, теперь, не пряча скепсиса, опустил нос в тарелку; Художник напряжённо слушал, кивал, потом задумчиво перевёл взгляд с Шанского на Соснина... – Илюшка, пригласил бы меня в свой зеркальный театр, – прижалась душистой щекой Милка; сильная стройная её шея вырастала из расстёгнутого широкого белоснежного воротника. – Ты скоро в нём очутишься, в том театре, и билет или контрамарка тебе не понадобятся, занавес, Толька пообещал, вот-вот взмоет, зеркала обступят и проглотят тебя, – отвечал тихонько Соснин. – Почему, за какие прегрешения я лишена чувства будущего? – всё тесней прижималась Милка, – дурёха, верила, что жизнь впереди, а впереди – туман, туман, так боюсь неизвестности... мне страшно, будто бы мы все уже умерли, и эти лампы над столом, эти картины, дождь за окном – какие-то странные, не настоящие. Соснин ощутил её дрожь. А Толька по своему обыкновению не умел, разогнавшись, остановиться, даже командно голос повысил, чтобы вернуть внимание Милки и Соснина. – И потому ещё от холода ёжусь, – объяснял, – что реальность, замещаясь знаками реальности, истончается, прорывается, как постаревшая ткань – самая заскорузлая реальность уже есть видимость, засквозившая потусторонней тайной; сквозняки сливаются, усиливаются. Не исключено, в самом деле, – поклон Головчинеру? – что пронизывающие дуновения – носители и вестники энтропии, хотя истинная цель их нам, простым смертным, зацикленным на производстве средств выражения, неведома. И, – укол Головчинеру? – не надо уповать на вторичность и безобидную параллельность хладных отражательных сущностей. Сквозняки выдувают естественное тепло, мы покорно погружаемся в суетливый анабиоз... авось, спустя века, разморозят.

– Энтропийные вихри веют над нами, – натужно напела Милка.

– Хуже, Милочка, внутри нас веют, внутри! Ты думаешь, что будешь жить, как жила, вокруг лишь всё холодно заблещет и замелькает? Нет, всё дорогое тебе, привычки, взгляды безжалостно раздробятся, само ощущение твоей жизни, как чего-то цельного, первородного,

зависимого от совести, ума, сердца покорится мелькающим, судорожным и парализующим отражениям; поступки, желания утратят осмысленную последовательность, перемешаются в конвульсивном калейдоскопе, где верх неотличим от низа, любое действие равно бездействию.

Художник внимательно слушал Шанского.

И чем же, всматриваясь в калейдоскоп, озаботится идеальный Валеркин роман? Дробностью, осколочностью нового мироощущения? – Мне Бухтин сегодня втолковывал, что зеркала будто бы отражать устали, будто ослепли, лишь потом когда-нибудь залпом выплеснут отражения, – сказал Соснин.

– Где видел Валерку? – у Таточки взлетели ресницы, блеснули глаза.

– Завтракали с ним в «Европейской».

– Армянский коньяк, астраханская икра, «Судак Орли», омлет... – шпарил Шанский, как если бы зачитывал выписанный Риммочкой счёт; успел всё пронюхать.

– Красиво жить не запретишь! – тряхнула причёской Людочка.

– Ослепшие зеркала? Ёмкий образ, – отозвался из угла московский теоретик. – Тут прозвучали прелюбопытные предположения относительно исторической – разрушительной – роли изображений. Возможно, вполне возможно, что статуи и фрески, украшавшие форумы и алтари, по совместительству служили тайными разрушителями-могильщиками античности, а наше время, породив тотальную разрушительную визуализацию, скрытно готовит похороны христианства. Всё возможно, храмовая фреска как стенобитное орудие, почему нет? Однако вопреки возрастающей напористости и пестроте, агрессивности визуальных образов, сущности сейчас, из-за инерционного хода механизма культуры, как ни удивительно, вовсе не отражаются-размножаются, мы пробавляемся информационными помехами, ими же довольствуемся и зеркала-поглотители... – Головчинер, Бызов, Шанский, Соснин, Художник повернулись к московскому теоретику, он говорил спокойно, но нельзя было не ощутить давления его мысли, – да, зеркала подлинности ослепли и наново лишь тогда прозреют, когда им будет что отражать, чтобы, преобразовав всё, что было без разбору поглощено, затем преобразовывать сущностными, значимыми отражениями действительность, пусть и в том безрадостном направлении, о котором нам так поэтично поведал Толя; процесс закольцован, то, что станет достойно отражения, пока вызревает и вне нас, и в нас самих, то бишь в глубинах зеркала. В известном смысле, ведь и мы – зеркала, и мы на время ослепли. Это как детское чтение запоем, впрок – пока без видимой отдачи... или, если угодно – зеркала сознания до поры-времени неразборчиво поглощают знаки, словно космические чёрные дыры энергию, поглощают, чтобы позднее наделить их новыми смыслами.

– Куда более чем вы, прошу прощения, сведущий в астрофизике, не могу разделить уверенности в точности аналогии... при чём тут чёрные дыры?

– Ослепшие? Тогда они ничего не видят и не смогут ничего выплеснуть.

– Устами красавицы, конечно, глаголет истина, – на Милку ласково глянул Шанский, – однако мы доверились метафоре, потрясающей метафоре.

– Метафоре – чего?

– Сознания-накопителя, ждущего, зажмурившись или временно ослепнув, своего рокового часа.

– И что, прозрев, зеркала увидят?

– То, что свершится в нас и вокруг нас, – мы пока этого не способны вообразить.

– Мне страшно.

– Самое страшное впереди, – улыбнулся Шанский, – слышала, что зеркала – это ещё и двери, через которые входит смерть?

– Мне страшно, я каждый день смотрюсь в зеркало.

– Разбей и забудь печали, – посоветовал Бызов.

- Плохая примета, – вздохнула Людочка.
- Мне страшно, – снова сказала Милка.
- Помилуйте, что же тут, Эмилия Святославовна, страшного? – не понимал Головчинер, – сидим за столом, едим-пьём, картины, правда, вокруг нас необычные, так ведь Аристотель вовсе не предлагал художникам удваивать мир, перед нами искусство, но при всей его внешней агрессивности...
- А если искусство заместит реальность...
- Массовое искусство заместит непременно... пока – рвёт на части; обстреливает нас с экранов снарядами, разрывными пулями...
- Но мы-то живы-здоровы...
- Пойми, взрывается и разрывается само восприятие реальности...
- С вами, сверхсведущие во всех науках и искусствах господ хорошие, не соскучишься, одни зеркала, выходит, извергают второсортные, хотя агрессивно-подрывные отражения-помехи, другие, первосортные, ослепли, а прозреют ли... – выдернул изо рта трубку Бызов.
- И при этом зеркала – двери для смерти, так?
- Так, – кивнул Шанский.
- Да, зеркала условно двух типов, это как экстровертность и интровертность, – объяснял теоретик, – разве картина при её утрированно-динамичной композиции, – протянул руку с окурком к холсту на мольберте, – не интровертна? Чем не ослепшее зеркало? Пока картина обращена не к нам, а в свою магическую тёмную глубину, когда ещё выплеснутся актуальные, творимые там, в глубине, содержания. – Илюшка, я... я тоже ослепшее зеркало? – зашептала Милка, – смотрю по сторонам и ничего не вижу, ничего не понимаю, ничего... не понимаю, что с нами будет? Я сумасшедшая? – Ты-то нормальная, – шептал Соснин, словно утешал испуганного ребёнка, – хотя слушаешь монологические диалоги безумцев, не рассчитанные на понимание.
- Интровертность и экстровертность взаимно обратимы? Свойства зеркал откликаются на изменчивые запросы и свойства времени?
- Я же сказал, процесс закольцован, – теоретик невозмутимо доставал из пачки новую сигарету.
- Вспомните, у Магритта некто смотрит в зеркало, а видит вместо лица затылок. Тоже образ слепого зеркала?
- В известном смысле, – закурив, кивнул теоретик, – ибо зеркало уводит вглубь, не возвращает взгляд, в известном смысле, зеркало сейчас – глаз, смотрящий в себя.
- Зоркость этих времён, – предостерег Головчинер, – это зоркость к вещам тупика.
- Что должно случиться, чтобы зеркала прозрели, вернули взгляды?
- Сдвиг, резкий разрушительно-преобразующий сдвиг.
- Чего сдвиг?
- Всего... сдвиг в основах миропорядка.
- Откуда энергия для сдвига возьмётся?
- Сами зеркала-накопители, переполняясь и прозревая, выплеснут! И иллюзорность обернётся коварной незнакомой реальностью – из-за амальгамы выплеснется бесшабашно-жестокый знаковый мир, накроет нас с головами. Мы и в этой картине увидим то, что сейчас от наших глаз скрыто... Художник улыбался.
- Сами зеркала... Собака не знает, что процесс закольцован, поэтому не умеет себя уку-сить за хвост?
- Снова глаголешь истину, – протянув руку через стол, потрепал Милку по щеке Шанский.
- А пока мы... – начал было Гоша, но смолк.
- Пока мы на транзитном участке... одни заскучали, других мутит.

– Мрак, ох и мрак крошечный на транзитном участке между рождением и смертью. Бызов не верил в сдвиг и прозрение интровертного зеркала, не желал мириться с вторжением дробной нечисти из экстровеитного зазеркалья, а Шанский дурачился. – Бедный мимесис, ласковый и тёплый, нежно-пушистый, порождённый высшим единством и чувством цельности, как спасти тебя от бездушных воителей семиосиса? Бызов, не замечая, что повторяет предсказания Шанского, всё громче кричал, руками махал. – Мельчает, дробясь на частности, мысль, нет великих философов, великих умов, способных открыть и обосновать всеобщий, призванный успокоить растерянный мир закон, однако худосочная база разномыслия ради разномыслия упрямо подводится под напористое знаковое безумие, и растёт на ней кипа якобы высоколобых, но лишь усиливающих идейный ералаш книг, – Бызов, как если бы он уже всецело поверил Шанскому, восставал против леденящего хаотичного нашествия означающих, которое, опасно меняя культурный климат, обескровливало и самую жизнь.

– Что станет с искусством в обескровленной жизни, где ему в ней найдётся место? – Гошка то ли издевался, то ли всерьёз заражался возбуждением-волнением Бызова.

– Как где? В заторе между означаемыми и означающими!

– Затор этот трудно себе представить, он подвижный и многомерный, – улыбался московский теоретик, – мы ведь безбожно схематизировали картину мира, якобы состоящую из двух принципиальных элементов – материального мира, мира вещей и людей, который мы называем реальностью, и мира зеркал, отражающих всё материальное, всё вещественно-телесное, с разного рода содержательными искажениями.

– Попросту говоря, материального мира и – мира наук, искусств? Так?

– Попросту и, стало быть, грубо говоря, действительно так. Но динамичная неопределённость такого разделения в том, что существует ещё и особый, третий, мир эфемерностей, непрерывно и неуловимо влияющий на отражательные свойства и запросы второго, и, следовательно, на наше восприятие первого, то бишь на восприятие самой реальности: это мир всего неосуществлённого – не доказанных теорем, не написанных романов, картин, симфоний. Там, в том, заоблачно-ноосферном, опознанном наукой, но пока структурно не представленном мире собраны желания и возможности... это мир потенциальных идей и форм, к нему тянутся мысли и творческие фантазии.

– Так сколько вы миров насчитали? – глянул Головчинер, тронул пальцем ямку на подбородке.

Теоретик кратко повторил свои рассуждения.

– Всё равно сложно, чересчур сложно.

– Я, Милочка, как мог, упрощал. На самом деле мир эфемерностей и его влияние на нас гораздо сложнее, загадочнее.

– Струеньё невещественного света, – громко зашептал, кривя губу, Головчинер; похоже, исчерпал околонуточные вопросы, соображения и доводы, репетировал седьмой, может быть, одиннадцатый тост.

– Ничего не поняла, ничего, – призналась Таточка.

За луну или за солнце? – проснулся внутренний голос, – Соснин ускользнул в дворовое пространство картины, – за горбатого японца?

– Что же прикажете делать, опустившись из эфемерностей на грешную землю? Что практически нам нужно теперь, чтобы защититься... – терял терпение Гоша.

– Если бы знать, – вскинул рючичи к потолку Бызов.

– Я знаю, – сказал Шанский с лукавой миной, – нужны новые формы, а собрание эфемерностей, коли его худо-бедно удалось обнаружить, коли мы подключились к его богатствам, в поисках их, новых форм, поможет! И продолжил серьёзно. – Что, собственно, ошарашивающе-неожиданного мы только что услышали? То, что сам поиск ускорился? Ну да, ну да. Человек – феноменальное животное, оно порождает символы, чтобы строить из них культуру, затем,

со сменой эпохи, само же их, те символы, пожирает, порождает новые, – напоминал зоо-фило-софские азы Шанский, – семиосис непобедим, ибо с ускорением времени человек-разумный одержим уже непрерывным одолением нехватки значений, даже биологическая революция, которую наш злобный профессор готовит в вонючих вольерах Старого Петергофа, не отменит феноменальную видовую ориентацию.

– Аминь, – развёл ручищами Бызов, – никакая революция не спасёт, у плодовитого алчного животного несварение.

с признаками второго дыхания

– Мир раскалывается, дробится...

– Даже образа распадаются на иконки...

– Клише тиражируются с клише, лес, речку уже ценят за сходство с открытками, кинокадрами...

– Грядёт век репродукций, которые затмят оригиналы.

– Опять взрывы информации? – вякнула Людочка.

– Дезинформации! – бухнул Бызов, – бомбы сами закладываем. И сами же цепенеем, как кролик перед удавом, пока культура растлевается фикциями, искусство, кликушествуя, агонизирует.

– У страха глаза велики, тем паче, у страха стандартизированного – на фоне знакового мельтешения будто бы грядёт и самовластие роботов, монстров из пробирок, колб, другой лабораторной посуды. Что ж, проворнее, чем когда-то джинн из бутылки, из сказок нового времени вылезает жестокий герой-гомункулос. Но ужаса не внушает, скорее успокаивает, ибо у страхов массовой культуры функция транквилизатора, поймите, именно зритель-кролик заглатывает удава, проглотив, млеет – жизнь не так плоха... для здорового обывателя ценности современной жизни формируются колеблющимися отражениями клише, наспех вычитанных в метро, увиденных на телеэкране. Те же натуры, что поболезненнее, потоньше, жаждут припасть к дистиллированным духовным источникам, хотя чувят, конечно, что рыпаться бесполезно, в вымечтано-придуманную эпоху не прыгнуть, залогом вынужденного прозябания таких редких натур в текущей кипучей буче, – каламбурил Шанский, – остаётся залог страдательный.

– А я о чём? – утирал пот Бызов, – отражения мелькают-пугают, суть затуманивается, искажается.

– В отличие от тебя, я не обличаю. Лучше разгадывать культурные импульсы, несущие, возможно, позитивный заряд, чем облыжно костить...

– Шиш разгадаешь! Дьявольщина раскрывается постфактум... правда, анализируя инструменты, методики, воображаешь и саму операцию, так-так, сначала анестезия, сначала умертвить мышьяком, потом выдернуть нерв из зуба... позитивный заряд! – разве не ясно, что телевидение изобрели именно тогда, когда человечеству прописали на небесах делать лоботомию?

– Человечество и культуру с искусством незачем огульно охаивать! – придавил слюнявый окурок Гошка, кольнул Бызова анекдотцем о подозрительном Дон-Жуане, которому у любой дамы в длинной юбке мерещились кривые или волосатые ноги.

– Почему или? – Шанский замычал с полным ртом, пожал плечами, – почему не и кривые, и волосатые?

Милка прыснула. Протестуя, вскочила, под рукоплескания бархатный подол поддела, гордо по бедро заголилась.

Однако Бызов держал навязчиво-серьёзную ноту, продолжал пугать вредоносным торжеством подобий, ежесекундно подменяющих-умертвляющих первородность, вгоняющих в плоские схемы самого Бога, – рокотал, жарко-неутомимый, исторгал раскаты грома, – когда бесплотная рать знаков, символов исподтишка расшатывает, кренит, крушит жизненные опоры, – заклинал Бызов, – является мессия, падает Рим, а отсчёт времени начинают с чистых, без пометок, календарей.

– Вот и формула ненавистного тебе сдвига? – дожевал Шанский, – мы-то надеялись, что ты во благо естествознания штаны просиживаешь в лаборатории, пытаешь мышей и кроликов... когда философствовать успеваешь?

– Исключительно за шлифовкой линз, – ослабился Бызов, снял очки,дохнул на стёкла, принялся протирать бежевым, с волнистыми краями, замшевым лоскутком; лишившись стеклянного забрала крупное лицо его оказалось неожиданно беззащитным... – Если сонмом ложных отражений-представлений мы готовы вытеснить сущее, то – чем чёрт не шутит – подлинный мир нам не очень-то нужен? – Бызов мощным торсом молотобойца пододвинулся, привалился к Соснину, который, загипнотизированный мерцавшим колоритом картины, вяло ковырял вилкой в тарелке: сумрачный двор вроде бы заливала мертвенным пепельно-голубым струеньем луна, но гряде стен, подпиравшую бледное прозрачное небо, красило закатное солнце.

обольстительное давление

Есть ли подлинный мир? – очнулся Соснин.

– Сигнал научно-техническому вторжению иллюзии дало изобретение фотографии, затем волшебную силу обрёл луч, пропитанный слезами, кровью, флюидами счастья. И хотя рассеивающая оптика заливает динамичным изображением большие экраны, растворяя луч в цветной светоносной плоскости, на каждом кинозрителе сфокусировано давление призрачного потока... документальные фильмы я уже смотрю как художественные, – увлечённо сообщал Шанский.

– Струенье невещественного света, – повторил задумчиво Головчинер.

– Эстрадники всё чаще притворяются, что поют, говорят, только рты разрезают под фонограмму, – пожаловалась Милка.

– Славно! – подпрыгнул Шанский, – в зад укололи или какая-то душевная пружина разжалась? – певичка неприлично тычет в рот микрофон, симулируя вокальную самоотдачу и беззащитные реакции слушателей. И развязные губасто-щекастые трубачи, конвульсивный пианист, бравый усач-ударник усердствуют, что есть мочи, а всё – туфта, немой этюд, навязанный фонограммой. Но куда двусмысленнее роль дирижёра – он уже не задаёт темп, тональность, его темпераментом, мимикой, порханием рук управляют звуки, давно записанные на плёнку. А полный зал хлопает, ревёт от восторга. О, это ключевая культурологическая метафора времени! – отражения манипулируют предметами, копии – оригиналами, эхо – звуками. О-о-о, новые технологии ускоряют экспансию «обратной реальности» – иллюзорность давит, повелевает, жизнь, потупившись, отступает и уступает. Человек слаб, польстился на аудио-визуальные обманы, кажется, что и гибель-то свою он уже встретит рассеянно, пропустив мимо засорённых-заласканных глаз-ушей в чередѣ подделок. А конец-то ждѣт подлинный!

– Ну-у, теперь и искусство-ед испугался, – полез за кисетом Бызов.

время против подлинности

– Подлинно лишь то, что случилось со мною сейчас и здесь, то, что одновременно, спонтанно испытали ум и органы чувств. Миг – и подлинность начинает улечиваться... ну а через годы, тем паче, через века...

– Не гоже валить на время, разве не подлинностью дышат, спустя почти два тысячелетия, строки Святого Писания? – врезался Гошка.

– О, всякий жиденький роман и тот силится внушить, что тянет на шифrogramму, – не согласился Шанский, – что же до «Пятикнижия», то бишь Торы, пересказанной с упрощениями Святым Писанием, то её читают по горизонтали, слева направо и справа налево, по вертикали, чуть ли не по диагонали. Равнины насчитывают много уровней понимания – сюжет, аллегории и толкования, мистические смыслы букв, цифр, их совпадений и переключек, наконец, встречи с тайною один на один, с тайною для себя.

– Цифры проясняют мистический смысл одних букв, зато другие буквы при этом тайной окутываются, нам в контакте с каббалистами удалось... – Головчинер изготовился снимать покровы.

– Я не о бездонности иудаизма, я о Новом Завете, – прервал продвинутого математика, не собираясь сдаваться, Гошка.

– О-о, Пётр всё видел, но из-за косноязычия не умел рассказать, Павел не видел, но обладал образным мышлением и даром речи, – сладко потянулся Шанский, – потом – условно, с иврита, ибо языков и диалектов тьма – долго и многовариантно переводили на греческий, теряя смыслы, с греческого – через старославянский – на русский.

– Но камни-то настоящие, камни весомей слов! – горячился Гошка.

– О-о-о, когда Елена, императрица-мать, впавшая в истовое христианство, отправилась за тридевять земель искать крест с кровавыми следами распятия, повелела метить храмами опорные точки легенды, трактованной Христовый подвиг, три века минуло с момента голгофской муки и воскресения. Слова посеяли заблуждения, которые цвели дурманяще, пышно, да и топография Святой Земли изменялась, хотя при взгляде из современности древние камни легализуют и усиливают легенду обратным статусом. И не только камни, согбенные, иссечённые глубокими морщинами, будто чудом выжившие окаменелости, оливы Гефсиманского сада свидетельствуют – убедительней некуда! – о подлинности некогда укрытого их сенью предательства. Шанский выразительно пожевал язык. – Такова судьба культуроёмкого, дающего мощный энергетический импульс события, которое изначально намечает лишь один из вариантов развития, выбранный случаем из пучка возможностей. Зато потом игра случая облачается лукавым временем в тогу исторической неизбежности: последующие события – большие, малые – пусть и служат злобе своего дня, но, рождаясь в якобы обусловленном этой неизбежностью мире, как кажется, упрямо её доказывают. Да ещё память – индивидуальная, коллективная. Своевольничая в толще времени, память искренними свидетельствами оправдывает любую ложь.

– А искусство? – Гошка, раздражаясь, вздохнул шевелюру.

– Понять – значит создать. Реальность, подлинность всякий раз создаются заново в душевном усилии... реально, подлинно самоё усилие, но не его содержание, непрерывно изменяющееся временем. Искусство же возникло как самозванное великолепное надувательство, плафон Сикстинской капеллы не позволяет усомниться в том, что Адама сотворил Микеланджело.

дугая антитеза

– Итак, есть ли подлинный подлунный мир? – переспросил Соснин, – не надоело в открытую дверь ломиться? Подлинность, реальность, действительность, – что это? Не более,

чем утратившие смысловые ядра слова-паразиты. Подлинность – отменена. Кем, как – не знаю. Знаю только, что в моём детстве подлинность была, ибо я её ощущал, а сейчас её – по крайней мере для меня – нет. Подлинное с иллюзорным сделались нераздельны, как и зеркала с рожами. Допустим, в зачаточном сознании на голой земле встрепенулось её робкое, голой земли, отражение. Затем что-то на земле выросло, строилось, отражения менявшегося мира множились, обособливались, накладывались, зеркала вразнобой пускались отражать, что попало, включая себя самих, то бишь, череду отражений; складывалось коллективное, если хотите, общественное сознание, субстанция, слов нет, эфемерная, её не потрогать, однако субстанция сия – неусыпный генератор косвенности, подлинны лишь сиюминутные индивидуальные ощущения – тепло, холодно, больно, но ощущения притупляются, забываются. Ясно, сознание заигралось, уверовало в собственное отражающее и преобразующее всеислие, а данный в ощущения, как думалось, непреложный мир, деформированный и разорванный нашими представлениями о нём, выродился в конгломерат игровых продуктов сознания, стоит ли скорбеть о мнимой утрате?

– Наконец-то! Я ждал этого вопроса и, признаюсь покорно, с ругательной настырностью его провоцировал, – Бызов победоносно пронзил думы застолья сиянием линз, – как особь с толикой интеллигентности я тоже привычно барахтаюсь в иллюзорностях с избранными доблестными согражданами плечом к плечу: извелась подлинность в игре ума, ну и шут с ней. Мне ведь натуральность, как идеал, как утрачиваемая ценность, понадобилась исключительно для антитезы, самое наличие коей истончает мысль, плетущую софистические кружева под видом поиска истины. Можно ли искать истину, отменив её в начале поиска?

Шанский захохотал, закачался на стуле; надул щёки, сдавив ладонями, шумно выпустил воздух.

– Чего же ты хочешь? – глянул на Бызова Художник, нарезавший сыр.

– Ясности хочу, окончательной ясности! Пора признать – мы заложники самодовольной и самодостаточной знаково-отражательной парадигмы! Друзья мои, разве все мы не сошлись в главном? Покуда семиосис отвоёвывает у мимесиса высокие сферы искусства, знаки, размножаясь, вторгаясь, деформируют самые прочные наши представления о жизни и саму жизнь, мутируют в нарастающе-агрессивные знаки знаков, заменяющие смыслы их поверхностным проблеском. Поверьте, не мне ли сказать об этом? – для самой жизни вовсе не безобидны замещения её отражениями – жизнь иссыкает. И не в том наша беда, что стареем. Я биолог и чую, поверьте, чую, как из клеток жизненные соки изошрённо выдавливаются вроде бы эфемерным, но мертвящим прессом цивилизации. И нарастает давление по милости безответственно-торопливых мазил, болтунов, прочих подручных дьявола, – погрозил кулачищем Шанскому, – неужто кто-то ещё не ощущает давлений невнятицы, угнетённости ею, не побаивается деградации своего сознания под напором словесно-визуальной избыточности? Разве мир-театр не вырождается в тотальный театр марионеток?

– Твои окончательные инвективы эмоциональны, им-то и не хватает ясности! – Гошка опять хотел защитить искусство, но поперхнулся, закашлялся.

– Хватит мозги пудрить, – избыточность, когда ничего нет?! У нашего биолога галлюцинации, – хихикнула Таточка из облака дыма, – в телевизоре серятина и та с помехами, запугали умопомрачительным блеском, мельканиями, где они?

– Замелькает ещё, – улыбнулся теоретик, – пока мы обсуждаем мрачные предчувствия, и не забывайте, Таточка, глаза действительно велики у страхов.

– Постиндустриальное общество является большой системой, – взял солидный тон Шанский.

– Согласно теории информации большие системы жадно пожирают визуальные и шумовые помехи, – подхватил Соснин.

– До полного несварения! – пресёк наукообразие Бызов и сделал ручищей с растопыренной пятернёю «стоп», – задыхаемся в отрывке искусства, вязнем в словах... долой... – Бызов менял угол атаки.

долой логоцентризм?

(слова, слова, слова)

– Громко сказано! Однако это линиялый лозунг, вербальная утопия даже в стране читателей проигрывает утопии визуальной, – улыбнулся московский теоретик.

– А мы многословно обличаем логоцентризм, – вяло кивнул Соснин.

– Расплевались с сестрой таланта, – засмеялся Шанский.

– Говорящие – не знают, знающие – молчат! – поделился римской мудростью Головчинер.

– Пустословие гробит дело, телекартинки с голубыми огоньками так, развлекаловка, – скривился Гошка.

– Всё смешалось, – Бызов укоризненно глянул на Соснина, как если бы тот был виновником опасных пертурбаций, – подавленные мозговые полушария, боюсь, обменялись частично функциями, различия между ними стираются, и словесные, и пространственные, визуальные, образы одинаково становятся агрессивными и... пустыми.

– Вещее слово – священная корова отечественной традиции, когда делание дела затруднено, пуще того, запрещено, слово воспаряет! Хотя слово, назначенное Лукичом агитатором-организатором, впало в слабоумие, как генсек, – паясничая, Шанский отвесил челюсть, зашамкал, – инерционно слову верит-служит лишь наше, последнее до-телевизионное поколение; мы не пялились на светящийся экран из кроваток, кормились стишками, сказками, потом вперёд ногами в нахрапистую визуальную эру поехали, вроде как поезд дёрнулся, а нас назад повело, элементарная инерция – головы отстали от ног. Теперь-то приноравливаемся, несёмся, несёмся сквозь мелькания невесть куда.

– Вот и мутит, тошнит, я пусть и русский, быструю езду ненавижу, тем более, что известно куда несёмся, – Бызов расстёгивал воротник рубашки.

Московский теоретик лишь головой покачивал.

вопрос, за который ухватился Бызов, чтобы указать человечеству его место

Соснин согревался, алкоголь разливался по телу... после разыгранного Остапом Степановичем спектакля, успокаивали знакомые голоса. Как в сущности похожи были все их встречи, все заумные разговоры, споры! Со школы Бызов почти не менял застольного обличительного репертуара, гнул своё. И Валерка жил своей темой, сквозной... прозревал роман, ндаа, «Роман без конца», чем не объединительный заголовок для россыпи сочинённых давно статей? Как он пил, макал в соус ломтики запечённого судака, как счастливо шурился на солнце. И гуманист-Гошка намертво сросся со своей темой, а Толька свободно играл множеством разных тем, для пущего эффекта сшибал их, как спорщиков, лбами, но это-то игровое многотемье и служило главной для него темой. Медленно ворочались мысли, сколько раз наново начнут проворачиваться, реставрируя сказанное сейчас ли, раньше... есть ли у Художника главная тема, можно ли её сформулировать? – прислушиваясь, Соснин поглядывал на картину; свеже-

написанная картина ничем, кроме техники письма, не походила на предыдущие, да, картина – обескураживающе-новая, а разговоры и препирательства – всё те же, всё о том же, о том же.

– Зачем же покорно несёмся к гибели, зачем живём? Чтобы вовремя вырыть себе могилу? – ощерилась взлохмаченная, как терьер, Людочка.

– Зачем? – Бызов театрально вытянул руку с трубкой, струившейся пахучим дымком, – как выстроена биосистема «человек» я ещё пытаюсь понять, но от вопроса «зачем» – увольте! У эволюции вряд ли есть цели, постижимые разумом, есть лишь иерархия средств. И человек не цель эволюции, не вершина её, но функция; на мой взгляд, главное творение Бога – ДНК, ну а любой человек, пусть и человек с большой буквы, всего-то комплексный биоинструмент, подневольный оператор принимающих и передающих импульсов. Мозг? – о, над ограниченностью функций мозга Бызов влалась ещё в статусе естествоиспытателя-вундеркинда, теперь, профессору биологии, сам Бог велел! – мозг, источник нашей видовой гордости, лишь кое-как, с неизбежными искажениями и потерями, вызванными помехами путаных повседневных импульсов, обрабатывает, перерабатывает и ретранслирует чистые содержания ноосферы, те, которые условными высшими силами зачем-то проецируются на индивидуальные тела. Мы – толстые и тонкие, высокие и низкие – ходячие плотские футляры процессоров, адаптирующих вечные небесные содержания к злобе дня, хотя нам не дано уразуметь кем-чем диктуется выбор и содержания, и тел. По телевизору показывают кино, но фильм-то не телевизором снят, телевизор только показывает, понимаете? Ха-ха-ха, обиделись за свои мозги? Зачем всё-таки проецируются вопреки помехам? Зачем высшим силам кошмары и деградации в человеческих сообществах, работающих на них? Опять! На вопрос «зачем» не отвечаю, я пас. Что же до агрессии коллективных фобий, мотивов замороженных смертью толп, то это головная боль других, куда более зыбких, чем биология, психо-социологических дисциплин... – Бызов был великолепен! Головчине молчал, заслушался, хотя и скроил гримасу, Шанский, похоже, откладывал возражения, жевал язык, московский теоретик задумчиво покачивал головой. – Добавлю, – предупреждал прокурорским тоном Бызов, – человек получил от эволюции с перебором. Божественную ли промашку, умысел надо благодарить – понятия не имею. Однако сверхразвитая психика, высшая нервная деятельность, собственно, и создали упрямое редкостное животное, обрекли его породить и пожирать символы, что грозит утратой биологического равновесия и, боюсь, самоуничтожением.

Что будет? Пофантазируем.

Возможно, человек, по инерционному недомыслию всё ещё называемый человеком-разумным, утратит способности критически мыслить и благополучно выродится в безличное существо, упиваясь цветными снами. Так-то, братья и сёстры! Если исподволь подавлять природную агрессивность, выравнивать перепады раздражающих душу настроений-устремлений, как генетическим, так и информационным, социально-средовым воздействием, прекрасный мир имеет шанс наступить и без стерильных массовых инкубаторов. Но не исключён взрыв биологического фундаментализма – природа возьмёт своё, механизм иллюзорной реальности будет сломан: неолуддиты порубят топорами кабельные сети, спутниковые антенны, компьютеры, новые трубадуры, кутаясь в звериные шкуры, прорычат-восславят приход долгожданной пещерной эры.

фабула важнее морали? (напоминание)

– Так, свобода воли изначально отменена? И понапрасну покорял-менял историю обыденный эпизод с мученической казнью бродячего проповедника? – заклокотал Гошка, – сколько здоровой символики извлекло время из простенького сюжета, противоречивыми толкованиями преображённого в Книгу Жизни! – клопоча, Гошка привычно похлопывал по наби-

тым всякой всячиной накладным карманам джинсовой курточки, – что же, оборвётся восхождение, всё рухнет под напором словоблудия, страшных или сладких электронных картинок при попустительстве каких-то обезличенных высших сил? Рухнет вкупе с христианской моралью? Чепуха!

– Э-э-э, моралью только басня теперь сильна, – басил Бызов.

– Клио – аморальная дамочка, для неё нет ничего святого, – добавлял Шанский.

– Поэзия, вообще, выше нравственности, – подсказывал Головчинер.

– Из... семени выросло могучее дерево, – не унимался Гошка, – разветвилось, дало такой урожай плодов, что...

– Ствол едва держит тяжесть, – закончил Бызов под общий хохот.

– И что усвоило благодарное человечество в назидательном эпизоде? Любовь к ближнему? Жертвенность? Разве что привычку умыть руки! – зачастил Шанский, – поначалу мораль затмевалась фабулой Писания, потом окутал её фимиам камильниц.

Бызов, насупись, выбивал пепел из трубки.

по кругу, по кругу

– Виновата, оказывается, не всё отнявшая революция, а эволюция, которая дала с перебором.

– Ладно, хватит пугать, ваше здоровье!

– Нам с перебором дали... в чём ещё напартачила эволюция?

– Напартачила ли, не знаю, – не отвлекался от возни с трубкой Бызов, – но загадок хватает. Например, не стареют щуки. По меркам человеческой жизни, щуки – бессмертны.

– Почему я не щука? – громко прошептала Милка.

– Чтобы ты не старела, как щука, – дунул в трубку Бызов, – надо было бы бог весть когда отключать какой-то из механизмов эволюции, какой – непонятно.

– Бессмертных щук ловят на блесну, фаршируют, – утешила Милку Людочка, приподняв жирно, чёрным, подведённые поверх зрачков желтоватые веки.

– Слава перегрузкам сознания, премногим обязанным щедротам и жестокостям эволюции, слава опрокидывающему устои жизни напору знаков и отражений! – изгалялся Шанский, вздымая рюмку, – худа без добра не бывает, катастрофы становятся шадяще-оптимистическими, раньше города уничтожались войнами, теперь – размахом жилищного строительства! А есть ли, скажите, более эффективные средства загубить землю, чем миллиардные вложения в сельское хозяйство?

Но Бызов пропускал ёрничанье Шанского мимо ушей. – При непосильных перегрузках сознания идеалы цивилизации сметает варварство – обрушиваются философские школы, опорные мифологемы, дома... лишь после прорастания руин свежими мифами новорожденные дикари, окормляясь ими, начинают возводить другой мир. Бызов грохотал, а Гошка морщился. – Слышали, слышали уже про упавший Рим.

– Разве не всегда так бывало? Перекармливать подданных иллюзиями и время от времени пускать им большую кровь – безотказная стратегия любого правителя.

– Всегда, всегда так бывало! Споём гимн воспроизводству жизни, гип-гип... хотя мы вот-вот будем погребены под развалинами, – закусывал Шанский, – спасенья нет, есть лишь спасительная логика циклического развития.

– Да, цикличность не отменить, хотя нас-то, с нашей врожденно-исторической болезнью, навряд ли она излечит, у нас, как кажется, всё завелось навечно... Крушение привычного уклада, кровопускание, голод; высвободились силы, распиравшие хама, ждавшие сигнала грабить-убивать в тёмных глубинах этноса и всё-всё – сначала, будто прошлого не было. Только

дети, внуки, просвещённые средним образованием, натыкались на старые книги, кому-то хотелось думать, кому-то есть повкуснее.

– У тебя желания совпали, – ввернул Шанский.

– Совпали, не отпираюсь, – мирно урчал Бызов, обмакивал в грибной соус мясо, – и опять по кругу. Новоявленные спасители оплачут судьбу культуры, сплетут безутешные прогностические сюжеты. И – до нового катаклизма. А мясо классно зажарено, с кровью.

– Неужто пронесло? – Шанский потешно перекрестился на угол, где, как икона, темнела композиция с лежавшей обнажённой, к которой алчно тянулись коричневые студенистые мрази.

– Так я не пойму никак, – врезалась Милка, – нам как?

– Как откладывается, вкусно пока поужинаем.

Смех, шум, бульканье минеральной воды.

– Кто разницу между филе и дефиле знает? – затравил Шанский свежий перл армянского радио.

ИЛИ-ИЛИ

– Круг исторического наваждения разорвётся, – обнадёживал московский теоретик; он подкреплял свои прогнозы прозорливым анализом русской государственности, почерпнутым в трудах модного некогда философского кружка Майкла Эпштейна, они публиковались в Петербурге в начале века, накануне первой мировой войны, но несправедливо были забыты, никто из присутствовавших о них даже не слышал, никто, кроме теоретика. Теоретик вслед за рассудительными предтечами, которых вольно цитировал, обещал обрушение социалистического бастиона общинности из-за усталости византийской базы, пышной, злато-пурпурной по форме, садистической и лживой по содержанию. Базы изначально, впрочем, не монолитной; чужая неминуемая гибель в аморфных своих пределах, – мерно излагал старые, но не устаревшие анализы-диагнозы теоретик, – Византия загодя завещала северным язычникам традицию имперского православия. Похоже, Россия замышлялась Провидением как Византия, сдвинутая на север и в другую историческую эпоху. Однако основания славного наследия разрывались внутренними противоречиями, которые генетически обусловила варяжская имплантация в восточно-славянский мир; в пространной, обширной замкнутости людей-идей до сих пор враждуют-уживаются вольнолюбие Новгорода и деспотизм Москвы, рождённой от соития в диком поле Византии с Ордой. Разумеется, византийское наследие примесью причудливо исказилось, случились Петровские реформы. Византия – условный образ... хотя немеркнущий! Все эти удушливые воскурения в позолоту, вся эта замедленная величавая дребедень.

Далее теоретику стало неловко вязнуть в давно изложенных истинах, далее он лишь напоминал о творящей и тормозящей русскую жизнь двойственности, о внутренне-неизбывной её идейной шизофреничности, противоречивой её контрастности, как если бы прогуливался по пантеону исторически спаренных персон отечественной культуры. Рядышком, едва ль не под ручку, застыли высокомерно повернувшийся к европейским идеалам Чаадаев с порочным, покорённым восточной красочностью Леонтьевым, неподалёку от идейных антиподов, у трона, в невиданно-уродливого либерал-консерватора срослись, будто неоперабельные сиамцы, Сперанский и Победоносцев; и сколько их, этих пар... спор западников и славянофилов прилежно озвучивали хрестоматийные Штольц и Обломов, поднимались новейшие герои протеста – Сахаров и Солженицын.

– Почему Буковского-хулигана обменяли на Корвалана? Вот была б парочка! – скорчила лукавую рожицу Милка.

– В огороде бузина... Испортила песню, – пробурчал, проглотив водку, Бызов.

– А если Обломова поскрести так тоже западничество вылезет из него, а из Штольца того же... – робко начала Таточка.

– Идея! – оценил ловивший на лету Шанский, – каждый состоит из двух враждебных половинок, одна какая-то доминирует, но если б можно было изолировать половинки, то внутри западников всё равно б зародились славянофилы, а внутри славянофилов... и всё-всё бы восстановилось, это чёрное колдовство, не генетика. Или, – качнулся к Бызову, – или сию национальную аномалию, о которую издавна спотыкаются культурологи и политики, по силам устранить генной инженерии?

– Или-или, разделительные союзы, намертво стянутые дефисом, нерасторжимая взаимная дополнительность, – не менял отрешённо-плавной тональности теоретик, – поколение за поколением, выношенные и возвращённые в домашнем расколе, органично воспроизводили духовную раздвоенность, болезненно-кисловое двуголосье; измученные комплексами неполноценности и исключительности, они заученно звали постигать, перенимать, догонять и тут же с чувством глубокой гордости и не менее глубокого удовлетворения поучали Европу: скучную своим благополучием, порочную и закономерно загнивающую вне уникальной православной соборности. Однако...

Византия обречена

– Парная возня с борьбой нанайских мальчиков схожа, правда? – Милка тронула веснушчатой рукой костлявое плечо теоретика.

– Пожалуй, хотя в отличие от нанайской борьбы она не так безобидна, – теоретик, улыбаясь, ласково клонил к Милкиной руке режущий профиль, сталью посверкивал из щёлок век, – раздвоенность искренне считалась плодотворной, питавшей духовное и бытийное своеобразие, торившее особый и светлый путь. Да уж! Просвещённые умы издавна необщим аршином собственную статью измеряли, над лагерными нарами высоколобых зеков витали романтические фантазии евразийства. Но итогом было торжество смердяковской державности.

– Разве мы не в евразийский материк вмёрзли?

– Против географии не попрётся, – стряхивал пепел теоретик, – однако земли вплоть до Тихого океана сплошняком колонизировала европейская, с христианской сердцевиной культура, раздвоенная, заметьте, в любой точке огромного пространства русского языка и потому...

– Да, география выпала никудышная, приходилось на юг и восток смещаться, – сожалеет Гошка.

– Почему? – поднял голову Художник.

– Восточных славян вытеснили с плодородных земель.

– Почему именно их вытеснили, согнали? И почему они смирились?

Гошка кинулся подыскивать оправдания, закипятился, об отеческих гробах вспомнил; Шанский предостерег, что экзальтированная любовь к отеческим гробам грозит отравлением трупным ядом.

– Воскресения в позолоту, пышность и величавость не из витаний святого духа возникли, откуда всё повелось? – согласие не вытанцовывалось, Головчинер призывал смотреть в корень.

– Стиль – не обязательно только человек, возможно, заодно – это и государство, которое человек с яркой судьбой олицетворяет в глазах потомков; таким стилевым олицетворением Византии, несомненно, стал Иоанн Златоуст. Учился у лучшего ритора Антиохии, испытывался отшельничеством в пустыне, пламенным воззванием отвёл императорский гнев от черни, взбунтовавшейся, порушившей императорские статуи и оцепеневшей в ожидании расправы. Когда жестокие интриги вокруг опустевшего церковного трона надоумили импера-

тора посадить на него чужака из восточной провинции, Златоуст возглавил Константинопольскую кафедру...

– Да-да, и Митька Савич, византолог от бога, полагал Златоуста стиливым столпом православия, которое зарождалось в лоне пока что единой церкви.

– У западного христианства, у зарождавшегося католичества, был свой столп, духовный законодатель стилия? – недоверчиво заморгал Гошка.

– Был, – кивнул Шанский, – Блаженный Августин.

И вспомнил Митькин опус о Златоусте, с удовольствием процитировал. – Под куполом Святой Софии сновали ласточки, а паства, затаив дыхание, внимала Патриарху, наставлявшему: всё суета сует и есть суета... и развеется всё, как дым. Шанский пропел концовку проповеди зычно и раскатисто, как дьякон, сумев сохранить при этом Митькину интонацию; Милка поаплодировала.

Тем временем из давних очевидностей теоретик выводил более чем актуальные следствия.

Рутинные, пусть и озарённые горящими очами свары изношенных идей, изводящая изнутри раздвоенность, оказывается, вот-вот должны были срезонировать со столь противной Бызову всемирной информационной экспансией, круговой порукой зеркал и рож, испугавшей его чуть ли не знаковым террором. – Ну да, страхи сопутствуют переменам! Традиционную сбалансированную бинарность нашего национального сознания, – обещал теоретик, – снимут именно универсальные информационные технологии, бинарность непременно сойдёт на нет... разве не любопытно, что брошен вызов примерному равновесию интровертности и экстравертности, центробежных и центростремительных сил, определяющих взаимодействие каждого индивидуального сознания с внешней действительностью? Хорошо ли, плохо для внутреннего моего мира, что грядут перекосы? Не знаю. Но вернёмся от частных к обобщениям. Идёт, разъедавая железный занавес, идёт всё быстрее благотворная вестернизация, с нею – разгерметизация, которая и порвёт маниакальную закольцованность, излечит от тягуче-долгой национальной шизофрении. Сначала, правда, лопнет идеологический обруч, который стягивает империю.

гибель впереди (с византийским синдромом устойчивости впридачу)

Да, московский теоретик скептически озирает перспективы биологического фундаментализма, отнюдь не ёжился от энтропийного похолодания; верил, что зеркала взорвутся от накопительства, прозреют и скажут правду о нас, а мы очутимся в новом мире, мире новых представлений, которые из них, из зеркал, исторгнутся. Но сначала теоретик возвещал гибель Византии, причём – в согласии с Шанским – гибель без библейских ужасов, когда, крошась изнутри, наша Византия обрушится в одночасье, хотя снаружи ещё какое-то время сможет казаться прочной.

– Гибель впереди! – мечтательно прикрыл чёрные глазки Головчинер.

– Это как оркестранты между собою спорили, спорили, с дирижёром собачились, а потом железный шар снаружи – бух, бух?

– Не совсем так – снаружи бух-бух не потребуется!

– Да, – повторил теоретик, – громоздкую, грозную и вроде бы сверхпрочную государственную систему развалят внутренние усилия.

– Темницы рухнут и... И руины советской власти станут нашей античностью? Смех и грех!

– Ничего смешного и греховного! Если посмотреть на руины любой цивилизации как на артефакт...

Шанский замотал головой – сомневался в вероятности символической благотворной гибели, которая подвела бы черту под тягостной деградацией реального социализма.

– Когда началась деградация?

– Орден меченосцев устал убивать, озаботился материальными привилегиями.

– Трагедийные порывы исчерпаны, перебрали трагедий на пару веков вперёд, вступаем в фарсовый период истории.

– Ещё не вступили? Как они, Брежнев с Сусловым, сегодня взасос... а потом по бумажке... и бурные аплодисменты перешли в овацию.

– Страстный поцелуй дряхлеющих членов. И никакой цензуры, порнография транслируется на всю страну.

– Генеральная репетиция фарса, успешная.

– Скучный фарс, доведённый до автоматизма, – год за годом репетируют, неужто у истории фантазия исчерпалась?

– Привыкли к маразматическому церемониалу и трескотне.

– Что б они сдохли! Выпьём!

– Не сдохнут, скоро пышно юбилей справят.

– Дворцовую бы скорей домостили, не пройти... всё перегорожено...

– Ну-у-у, допустим, перецелуются члены Политбюро, наслушаются своих речей, власть посмотрят друг на друга, допустим, панцирь ли, обруч лопнут в конце концов, каркас и внутренние скрепы обрушатся, но мы-то, православные скифы, куда после однопартийной империи денемся? Азиатам демократия не по нутру и не по нраву.

– Индия, Япония... А Гонконг?

– Сравнил! У нас не один народ, а два, воспитанных латентной гражданской войной: сами на себя стучат, сами себя сажают, конвоируют, убивают... только в страданиях оба народа объединяются – страдают вместе себе на радость, возгоняют духовность.

– Прославление маленького человека обернулось бедой, из прославления униженных-оскорблённых вырос культ черни.

Гошка пытался возразить.

– Латентная гражданская война, – опередил Бызов, – благотворной гибелью не грозит, напротив, поддерживает гнусный статус-кво собственной органичностью. Какие там информационные технологии! Необходимо страшное позорное национальное поражение, чтобы спесь сбить, раскурочить идолов... разве не вдохновляют рецепты, прописанные Германии, той же Японии...

– Столько несчастий выпало... Антошка, как можешь?

– Историю сантиментами не разжалобишь.

– Люди, люди, у которых есть сердце, творят историю.

– Знаешь, что страшней бессердечия? Размягчение мозгов!

– Но как, как вне человеколюбия...

– Ха-ха-ха, забыл, кто свертрепетно людей любит? Людоеды!

– Опять дожидаться светлого будущего, а пока... Чему верить?

– Поверим, что несчастья на века вперёд исчерпались, переигровка исторических трагедий лишь обернётся фарсом; поверим и, даст бог, проверим.

– Как язык поворачивается? А гуманная этика... – Гошка пыхтел, не находил слов, – ты... ты сам-то веришь в то, что сказал?

– Отбрось, мой Прометей, сомнения! Искушали политику просветлённой этикой, навязывали политикам моральные, в духе Достоевского, максимы, от идеалистического максима-

лизма и сорвались в кровавую пропасть. Достойная политика – это прагматика в рамках юридических норм!

– Юридические нормы! Германия, Япония... да там юридические нормы оккупационная администрация диктовала! А денацификация, а...

– Всё не для нас, не для нас, вот уж действительно хромые истины, – Головчинер подлил себе водки, зачем-то понюхал рюмку, – во-первых, для воздействия информационных технологий нужны независимые каналы связи... откуда они возьмутся? Во-вторых, мы подавлены прошлым, повсюду община, повсюду колхоз. Как, не нейтрализовав социальные консерванты, разлепить покорную массу на деятельных индивидов? Как изволите преобразовывать общинное мышление, с его фальшью, слепой доверчивостью, воспеванием силы и мнимой справедливости, склонностью к внешнему подражательству? Модернизация потребует изменения основ.

– Основы немецкой или японской культуры от разрыва с тоталитаризмом не изменились!

– Между прочим, хребет общины, так мешавшей Столыпину, сломал Сталин индустриализацией, урбанизацией, всеобщим средним образованием... и это при том, что ошметки общины согнал в колхозы.

– Кто, кто сломал?!

– Сталин Иосиф Виссарионович! Не слышали? Славный генералиссимус, усатый, в кителе.

– Любил детей, – пискнули Милка с Таточкой.

– Мудро командовал на скотном дворе.

– Уже прочёл?

– Люся Левина снабдила копией, еле различал буквы.

– Метафора скотного двора не точна, она иерархична, тогда как особенность родимого социума в тотальной однородности, остающейся таковой при всех обкомах и потешных культурах генеральных секретарей... этакое однородное поголовье, хотя и расколотое необратимо надвое.

– Бинарный свиарник, – Головчинер то ли съязвил, то ли процитировал чью-то авторитетную острогу.

Гошку Забеля, беднягу, душило негодование.

– Тебе, благородная душа, больно за нас, грязных, бесправных свинок? – Милка ласково прижалась к Гошкиному плечу.

– Обижаете, обижаете, Даниил Бенедиктович! А бараны? А крупный рогатый скот, чьё поголовье неуклонно...

– Так сами же про тотальную однородность...

– В том-то и фокус! Однородность социальная, не видовая...

– Что в лоб, что по лбу!

– Раскол налицо, но как докажете, что победит западничество?

– Это историческая аксиома!

– Мне ведома лишь аксиома географическая – Волга впадает в Каспийское море.

– Напомню ещё одну аксиому – Нева течёт с востока на запад.

– Но позвольте, локальная устремлённость Петербурга изначально была не способна вытащить на европейский путь всю страну.

– Из болота вытащить бегемота? – прыснула Милка.

– Не спасительна ли упомянутая вскользь Даниилом Бенедиктовичем склонность к внешнему подражательству? – улыбался московский теоретик, – новая, пусть и заёмная форма все скучные мерзости преобразует! Сперва ужаснётся – старое вино да в новые... а брожение вкус и букет изменит. Форма активна, содержания только ей подвластны.

– Нет исключительно-русской – и при том неизлечимой – особенности, есть разрыв во времени. То, что творилось во Франции, Германии в эпохи крестьянских войн и религиозных

кровопусканий, у нас случилось на триста лет позже, мы, как возвестил Гумилёв-сын, молодая нация.

– Молодым везде дорога!

– Создание империи исключало появление на наших просторах национального государства, в двадцатом веке у империй, даже молодых, одна дорога – к распаду, гибели.

– Существует четыре исторических фазы по тридцать шесть лет, в которых Россия, трансформируясь, изживает свою имперскую суть. Сейчас мы находимся во второй трети предпоследнего цикла, он продлится с 1953 по 1989 год, – пересказывал самиздатовское исследование с астрологическим душком Шанский, – в первые двенадцать лет каждого цикла происходят возмущения, изменения, потом – затвердение изменений... Головчинер, скосясь на Шанского, напряжённо слушал, попивал маленькими глотками водку.

Быстро произвёл вычисления. – Дамы и господа, финиш – в 2025.

– Как скоро!

– Жаль только в пору эту прекрасную...

– Грех жаловаться, повезло до третьего цикла деградации дожить.

– Ладно, шут с ней, с империей! Вернёмся к нашим баранам вкуче со свинками, прочими рогатыми особями – как избавиться от раздвоенности все «я» Руси, как вытеснить из подсознаний византийско-ордынские наваждения?

– Уложим на бескрайнюю лесисто-степную кушетку многонациональное население ядерной сверхдержавы, – обминал длинными пальцами сигарету теоретик, – уложим и в томительном сеансе...

– Кто за психоаналитика будет?

– Свобода! И пусть дураки, расшибая лбы, кинутся молиться новым богам, пусть из обломков имперско-советских мифов поспешно, будто времянки, сладятся глупые молодые мифы. Свобода охладит неофитский пыл. Её ветры разгонят застойную державную вонь. В рациональном холоде изживутся фантомные боли утраченного величия, депрессии, тоски по социальному рою... смолкнут жлобские жалобы на бездуховность.

– Не верю! – грохнул кулачищем по столу Бызов, задрожала посуда, – явится Великий Инквизитор, подданные за милую душу променяют свободу на пайку хлеба!

– Разве на все голодные рты хватает баланды с пайкой? Не колосятся без свободы хлеба, с рецептами поголовного счастья от инквизитора на вечные времена оплошал гениальный классик, только свобода кормит.

Гошка вскочил, заходил взад-вперёд, упираясь то в шкаф, то в сочный натюрморт на стене – помидоры, яблоки, присобранные салатные листья.

– Не верю! – ревел, страшно округлял за очками глазищи Бызов.

– Быть или не быть византизму – не дежурный гамлетовский вопрос, переадресованный футурологам, и уж точно не вопрос веры, – вещал теоретик, – пока мы отгорожены железным занавесом, но мир, глобализуясь, не бросит евразийский материк на произвол доморощенного незаконного инобытия, оздоровительные информационные потоки не удастся пресечь.

– Да, Россия – родина не только слонов, но и формы как таковой, достойнейшая наследница Византии: родина нового формализма в широчайшем смысле этого слова. Однако эта родословная не обещает удачи, брожение не поможет. Да, форма у нас – превыше всего! И именно поэтому то, что на рациональном Западе именуется информацией, то бишь содержанием, у нас полагается чем-то несущественным, если не вредным, на том стоим.

– И границы на замке, занавес прочен!

– А социальные мифы важнее хлеба: тех, кто попытается лишить народ обманной одурманивающей жратвы, назначат врагами и уничтожат.

– Какие границы с занавесом, кто уничтожит? Коммунисты лишились инстинкта самосохранения, фанатично все суки, на которых уселись, рубят.

- Когда ещё дорубят?
 - Скоро дорубят, приспели сроки, – теоретик имел допуск к потаённым сетевым графикам в небесном секретариате.
 - Неужто людоеды клыки сточили?
 - И клыки, и резцы.
 - Ещё прикусят, так прикусят...
 - Чем? Вставная челюсть и та вываливается.
 - Доживёт неовизантийская империя до 1984 года? – Гошке эта дата не давала покоя, на каждой попойке спрашивал.
 - Не обязательно все циклы имперской деградации последовательно проходить, я не посвящён в конкретные сроки, но, повторюсь, конец близок.
 - Выпьем! За три года до полной победы коммунизма, за семь лет до кончины коммунистической империи...
 - Сколько пророчеств не оправдалось. Благотворная, без массовых жертв, погибель не светит нашему тысячелетнему рейху, – сокрушался Гошка.
 - Типично византийский синдром устойчивости, – отрешённо улыбался теоретик, – турки бросали штурмовые лестницы с кораблей на стены Константинополя, а придворные, прирученные ритуалом, неспешно облачали императора в многослойную пурпурную паллу, натягивали алые сафьяновые сапожки...
 - Но как, как всё это стрясётся?! – недоверчиво напирал возбуждённый Гошка; глаза горели.
 - Не знаю, – позёвывал, прикрывая узкой ладонью рот, теоретик, – это сюжет, творимый историей, всякий творческий акт непредсказуем.
- Тут медленно привстал Головчинер с полной рюмкой в руке. Назревал седьмой тост, но сначала Головчинер любил задать поэтическую загадку; распрямился во весь свой немалый рост и с поднятой над головой рюмкой, прикрыв глаза бледными веками, покачиваясь, завёл:

Чрезмерно молодого ждала кара
Чрезмерно старый побежал в буфет
Чрезмерно голый стал багровым от загара.

Неожиданно подхватил Шанский:

Сенека облачился в галифе.
Во рту Лукреция гаванская сигара,
Он приглашён на аутодафе.

ЗВОНОК

- Так это же он, он, вы с ним на время сговорились, Даниил Бенедиктович? Секунда в секунду!
- Салют, салют!
- Всё ещё виртуозные верлибры слагает?
- У него и дивная коллекция брандмауэров собрана!
- Как-как?
- Бродит с фотоаппаратом по Васильевскому, Петроградской... не коллекция даже, скорее – энциклопедия.

- Верлибры набивают оскомину.
- Доказал, что и рифмовать умеет.
- Попробовал и сразу – абсурдистский венок сонетов!

запоздалый гость

– Штрафную, штрафную Геночке! – Шанский наливал в бокал водку.
– Геннадий Иванович, к нам! – звала Милка, а Головчинер, – привет, привет, – и, клоня голову, пожимая прохладную руку гостя, нахваливал, пока тот усаживался, отважно напечатанные в «Просторе» верлибры.

– И картошечкой закуси, ещё горячая, присыпать укропчиком? – хлопотала Милка, пока рыжебородый Геннадий Иванович Алексеев глубоко посаженными цепкими бледно-голубыми глазами обводил лица, картины, готовясь произнести извечный, шутливо-серьёзный тост за бессмертное святое искусство; Головчинер, хотя и задетый, раздосадованный тем, что Шанский так легко разгадал загадку, что поэтический сюрприз оказался скомкан, понадеялся отыграть одиннадцатым тостом и великодушно присоединился.

Дружно завопив, выпили, зажевали.

смена блюд

– Язычников ждало за гробом подземное царство мёртвых, царство теней...

К чему он? – вздрогнул Соснин.

Гошка, прислушиваясь, помогал собирать тарелки.

– У христиан, одержимых муками вины и раскаяния, верой в бессмертие вознесённой души, мир мёртвых обосновался в царстве небесном, разделившись на рай и ад, дабы за земные деяния воздавалось на небесах, – Шанский, как если бы осчастливил эпохальным открытием, многозначительно помолчал.

Открытие, однако, последовало.

– Но поверх религии, отделявшей праведников от грешников обустройством для них идеального и ужасного пристанищ на небесах, к поискамрая и ада подключилась скользкая новейшая психология, служанка интеллекта, гораздого жить вне морали, упиваясь абстрактно-игровыми картинками инобытия. Удивительно ли, что рай и ад индивида-интеллектуала расположились на временной оси? – рай очутился в прошлом, которое всё болезненнее переживалось как рай потерянный, тогда как...

– Оглядываясь, видим лишь руины, – зашептал, оппонирова, Головчинер.

– Забыл о проклятом прошлом и светлом будущем?

– Тогда как, – зачастил Шанский, не услышавший возражений, – ад отодвинулся в будущее: мрачное, огненно-леденящее, превращённое воспалённым воображением в гнусный инкубатор мутаций. Эту психическую метаморфозу, разнёсшую ад и рай на условной временной оси индивида, отразили духовные поиски утраченного, ностальгия по утекшему. Слезоточивая болезнь обостряется, со всех сторон слышим мы хвалы прошлому, взлётам искусств и морали, как водится, особенно очевидным на фоне упадка, который все мы всегда переживаем в данный момент. Маяк светит сзади! Но как хитрит с нами избирательность памяти! Разве не было, к примеру, дивного взлёта филологической школы, чьи мэтры гостевали в башне гения-формалиста, вознёсшейся над Пятью углами? Был взлёт, был! Вот бы вернуться туда, вернуть напряжение и высоту духа... ха-ха-ха, – искрили насмешливые глаза, – а чёрные воронки, которые сновали в те высоко-духовные вечера по Загородному проспекту и улице

Рубинштейна, не хотите вернуть? Так-то, хотим-не-хотим, прошлое, высветляясь памятью, освещает наш путь, в поводыри художнику нанимается Мнемозина. Очищенные от скверны подсказки её возбуждают фантазию, а фантазия в своих метаниях между раем и адом, между прошлым и будущим, упирается в смиренную метафизическую тоску, которая пронзает всё время сожалением о будущем как о прошлом.

– Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь, – не преминул глухо продекламировать Головчинер и тронуть пальцем ямку на подбородке.

про память-провидицу

– Молекула ДНК бессмертна. Храня генетическую память, она передаёт-завещает её из поколения в поколение, поднимаясь над физической гибелью каждого отдельного индивида; особая композиция из клеточных квантов памяти, наверное, и есть душа, обитающая в вечности-бесконечности, – Бызов начиркал на бумажной салфетке какую-то загогулину, которая символизировала многомерный закут, откуда памятливые души взирали отнюдь не только на брошенные ими тела.

Шанский блеснул чьим-то авторитетным суждением. – Собрание субъекта в целостную личность, – сказал, – протекает в воспоминаниях, незнание – это всего лишь следствие забывания того, что когда-то, возможно, в другой жизни, знал; в словаре какой-то древней философии якобы память вообще эквивалентна бытию.

Бызов повозился с погасшей трубкой, признался, что давно изранился обоюдоострой идейкой, которой по тайным каналам уже озадачил коллег из Стенфордского университета, где лабораторная база позволяла проверить идейку экспериментально, – Бызов покаялся в искусе открыть и описать механику «ложной памяти», внезапно наделяемой прозорливостью, даром видеть обрывки будущего и ежесекундно – без стыков – встраивать их, озадачивающие обрывки-фрагменты неизвестности, в сложившуюся картину мира, тем самым непрестанно её, эту картину, преображая.

– Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню, – прогнусавил Гошка, а Шанский подсоллил бызовскую рану, мол, наука лишь просыпается, зонды искусства издревле шлют художникам шифрованные сигналы из-за познавательных горизонтов.

Бызов, однако, не понимая, даже не пытаясь понять зачем, надумал экспериментировать с возбуждённой клеткой в научно-прагматических целях. Контакты со зрячей душой-памятью обещали выуживать из будущего визуальные образы, чтобы, вооружая уникальными впечатлениями искусственный интеллект, подвергать невиданные досель образы компьютерному анализу, накапливать факты для прогнозирования.

про всемогущий, помогающий прозревать сон

Далее Бызов, посасывая трубку, пояснял суетливому Шанскому и всем, кто пожелал слушать, что искусственный интеллект, то бишь чувствительный и умный компьютер, запущенный в непролазные чащи будущего, овладевает вещью механикой сна. Мимолётные впечатления сон, оказывается, обращает в зрячие, целящие в неизвестную неизбежность воспоминания именно тогда, когда спящий сновидений не видит. Сон и сам по себе – созидатель, процесс сна изымает из приглянувшейся днём – а то и днями, годами раньше – реальности те ли, иные сценки, сортирует их, komponует с другими впечатлениями в отрывочное ли, по-своему целостное, хотя и не последовательное воспоминание, которое – порой с загадочными устрашающими добавками – внезапно всплывает из видеотеки подсознания во время бодрствования.

А Шанский тут же подменил тему. – В укор тугодумам от науки, искусство догадось давным-давно, что сновидения, пусть и относимые к сверхреальности, не менее реальны, чем обыденная картина мира – всякое сновидение раздвигает её раму не только присоединением к освоенному, знакомому чего-то непостижимого, но и вживлением в расширяющуюся картинную вселенную интерпретационного инструмента...

Геночка задумчиво мял вилкой картофелину.

разоблачение тайного агента

– Искусство спокон века служит агентом будущего, засланным в настоящее. Не обращали внимания? Зачастую прикидываясь чуть ли не охранителем заведённого порядка вещей, искусство гораздо с отвращением моделировать опасные социальные и культурные последствия так называемого прогресса, развёртывать вроде бы привлекательные тенденции развития в ужасающие картины.

И опять как по писаному! Заслушиваясь Шанским, Соснин не переставал поражаться его речевому дару.

– Только и слышно: художник протестует, предупреждает, зовёт к бдительности. Субъективно это возможно и так. Хотя скрытая цель протеста иная. Развернув в зримую реальность воображаемые угрозы, художник исподволь к ним готовит, внушает – такое вполне вероятно... человек свыкается-обезоруживается, его уже этим не удивить. Вот, – Шанский уселся поудобнее, осмотрелся, – славно выпиваем за компанию с живописными символами футурошока. А едва разомкнул уста Головчинер, Шанский уже вторил ему замогильным голосом. – На непроглядный ужас жизни открой глаза, открой глаза...

Стопы старых холстов еле умещались на шкафах; высунулся портрет молодца в красной рубахе, с торчавшими из зрачков шляпками гвоздей. У матраса к стене прислонилась «Дверь»: сколько лет наплывал на зрителя пухлой грудью, распирая раму кверху, большеголовый улыбочивый монстр, чьи сиреневатые ноги, ступни... кончики пальцев нащупывали точку опоры за горизонтом.

– Символы чересчур тёмные, темнит твой агент!

– А символы не бывают светлыми.

картины

Соснин заскользил по холстам, оцепившим комнату.

К портрету жены Художника – скуластое смугловатое лицо под тёмно-зелёным плюшевым беретом заливал тёплый спокойный свет – примыкал брызжущий яркостью натюрморт: горшок с горящей геранью, яблоки, помидоры, приспособленные, точь-в-точь такие, как на белом блюде в центре стола, за которым сидели гости, листья салата; и кисточки красной смородины – полупрозрачная мякоть ягод, косточки на просвет. Слева – окно, распахнутое в листовенное кипение, справа, в приоткрытой двери, темнела анфилада комнат с золотистыми отблесками рубленых стен.

– В искусстве неистовые побеждают разумных. Р-р-раз! И – мир изменился.

Головчинер поджал губы, обиженно перевёл глазки с Шанского на огромный, чуть наклонённый холст, молчал.

В углу, за натюрмортом, другая анфилада клубилась коричневатым сумраком, заставлявшим вспомнить о любви Художника к умбристо-зеленоватой, с примесью терракоты, гамме Джорджоне, – анфиладу заселяли вязкие, как повидло, тела. Слипшиесея в мерзкий полип,

они похотливо тянулись к лежавшей на переднем плане обнажённой рыжеволосой... тёмные, плешивые, морщинисто-узколобые, с каннибальской плотоядностью тянулись к ней и пустыми маслянистыми зрачками, и заскорузлыми, с грязными ногтями, кривыми пальцами; тянулись растерзать, разорвать на куски. Сглатывая слюну, застыли на мгновение в предвкушении кровавой трапезы, а рыжеволосая Венера не ведала об опасности, глядела с блаженной улыбкой мимо, и в оконце над головой её плавала багряно-желтоватая пестрота, и атласное небо сквозило в иероглифы могучих чёрных ветвей, которые взметнулись над цветистостью осенних осин.

картина сбоку

Повернулся к чуть наклонённому холсту на мольберте: поле холста сжималось, фигуры срастались... потусторонне-страшные, равнодушно-обыденные, застылые... и – распротёртый над асфальтом, пронзающий взором.

Когда столкнётся с мессией в больничном саду, отпрянет – пронзающее безумие, будто у картины заимствованное. Присматривался потом, привыкал к безумному горению взора. Один из многих, простое, случайное лицо из толпы. Как ему достался взор жертвы?

напоминания уводили в будущее

– Помните гениальную догадку о Боге, напяливавшем маску дьявола? – прорезался голос Шанского, – и ещё гениальное, помните? – из одного глаза глядят небо и любовь, из другого – ад ледяного отрицания и уничтожающего равнодушия. Но у двух глаз... один только взор, взор искусства.

Соснин встретился опять со взглядом распротёртого, бледного, высвобождавшегося из складок материи...

– А другое, Анатолий Львович, помните? – откликнулся радостно Головчинер, – агония Христа будет длиться вечно, в это время нельзя спать.

Но почему мирный, возомнивший себя мессией псих, обитатель больничного сада, криво ухмылялся, раскрывая день за днём объятия, вроде бы не касавшиеся людей нормальных, притягивал внимание и – отталкивал? Соснин косил глаза в его сторону, что-то записывал и – косил: сквозь полусон, сквозь исчирканную ресницами щёлку; мессия никого, ничего не замечал – заведённый, обнимал воздух...

Двое больных, прячась в кустах сирени, бросали и бросали в самозванца-Спасителя скатанными из хлебного мякиша шариками.

приступ, занудные вопросы и бесхитростные размышления взгляда (опять картины)

И тут пробил Соснина озноб, зуб на зуб не попадал, ладони вспотели, и – бух-бух-бух – заколотилось сердце. Но это не был приступ простуды – вирус живописи разносила кровь? И комната медленно плыла, хотя выпил немного. Люстра вздрагивала. Как при землетрясении.

«Зевающие», «Кричащие»...

Все, все картины – интровертные?!

Всматривались в себя, опрокидывали изображения в тёмную глубину... сконцентрированностью на своём внутреннем мире и выделялись эти холсты на шумных, с фотовспыш-

ками, выставках нонконформистов, те акриловой яркостью и размашистостью спешили убажить зрителя, а...

Сконцентрированность, сосредоточенность, напряжённость. А в начале-начал – спокойная и простая операция; естественно, как повелось со времён дотошно-наивного Карпаччо или, допустим, мастеровитого Снайдерса, привычное бытовое окружение дробилось и выборочно затем вживлялось в холст замышлявшим, искавшим взором – дробилось и, само того не замечая, оставалось нетронутым, словно сраставшимся мгновенно наново, словно отбиривший взор на него и не покушался. Художник без всяких судорог, ничего не боясь разрушить, чудесно изымал из своей комнаты приглянувшиеся предметы, чтобы поселить их, деформированными ли, точно воспроизведёнными, в иной, слепленной из мазков реальности. Придвинутая к окну спинка ложа, на которую закинула руку рыжеволосая, вот она, в комнате, торчит из-за платяного шкафа. И белое блюдо, натюрмортное, то же, что на столе, и тарелка с волнистыми краями, полная вишен, – вот она, и посуда та же, что на столе, за стеклом буфета... и выставлены на буфете серебряные подстаканники, скоро подадут чай. Но когда-нибудь картины покинут комнату, рассыпавшись по коллекциям, сама эта комната исчезнет, дом перестроят или снесут, осколки комнатного быта, разлучённые, преображённые кистью, продолжат где-то долгую холстяную жизнь.

Жена Художника расставляла по столу подстаканники.

Холсты впитывали, вбирали... Взгляд побродил у шкафного пилона, соскользнул в пустой обойный простенок, провалился в забранное латунной рамкой зеркало, встроенное по оси симметрии горизонтального холста между давними знакомцами – попарно сгруппированными, лысыми, мертвенно-бледными. Фронтально рассеявшиеся за длинным столом, они сжимали в скрюченных цепких пальцах маленькие, в одинаковых ободках, зеркальца с тщательно выписанными отражениями: белизна льняной скатерти, серебряные подстаканники. Но заметался взгляд в зеркальной пропасти не затем, чтобы наново окунуться в старые треволения, а затем, чтобы подивиться нездоровому лихорадочному блеску глаз. Зеркало не ослепло? В глубине картинного зеркала Соснин, однако, увидел лишь себя самого.

– Искусство не прогрессирует, меняется... со временем для меня его утраты становятся ценнее, чем приобретения.

– Загрунтовал, развёл краски. С чего начинаешь? – Головчинер, клоня голову к плечу, вышагивал взад-вперёд между углом шкафа и мольбертом с холстом.

– С чего? – сухо хохотнул Художник, – сначала я забываю о том, что мир уже создан; незаметно для Головчинера положил под язык горошинку нитроглицерина.

– Эта картина, последняя, нравится больше прежних?

– Пока не остыл! Формой, композицией почти удовлетворён, а самой цветовой поверхностью – нет, тонкослойной живописи мешал крупнозернистый холст.

– Формой, композицией? – домогаясь окончательной ясности, задумчиво промокал губы бумажной салфеткой, – хотелось бы поточнее. Даниил Бенедиктович видел нечто вполне реальное – руки, ноги, облупившиеся стены двора-колодца, но мозг почему-то должен был овладеть ещё чем-то нереальным и притягательным, менявшим реальность, чем-то, где число не помощник. Картина донимала фантастической точностью – наказание для ума, не иначе, она, эта точность, улавливалась, но стиховед не находил её формулы. – Удовлетворён формой и композицией? Как понять? – в тягучей задумчивости повторял, комкая салфетку.

– Почти удовлетворён картинным пространством – соотношениями и движениями фигур, промежутками между ними, воронкообразной глубиной... и контрастом композиционной экспрессии с изобразительной неподвижностью.

– Какое живописное направление ближе? – понадеявшись на подсказку какой-нибудь аналогии, посмотрел почему-то на натюрморт, прикрыл глаза, зашептал. – Зелень лавра, входящая

щая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце... – понадеялся, что ритмика поэтического слова поможет?

Художник растерянно пожимал плечами.

– Ткань, впитавшая полуденное солнце... – дошептал, повернулся к холсту, недоверчиво потрогал драпировку, из складок которой высвободился распостёртый над асфальтом, бледный... Соснину привиделся чёрнобородый Савл-Павел под ногами стражников, копытами лошадей. Головчинер кольнул Художника маленькими зрачками, с нервозностью спросил громко, строго. – В собственном соку варишься, нет дорогих предтеч?

– Из колористов – ранние венецианцы, пожалуй.

Вернувшись через силу на обойный простенок, взгляд беспомощно заплескался в стекле книжного шкафа с окаменелыми отражениями обтянутых тесными штанами задниц громил, их могучих, вспухших мышцами спин, плеч, торчавших из холста рельефных ног жертвы. Картинные фрагменты плавали по тёмной обложке анатомического атласа, огненной суперобложке Дали, серийным корешкам Джорджоне, Босха, Вермеера, не унявшей дрожь люстре, карикатурно жующим лицам; да ещё влезало в стекло шкафа косо срезанное наклонной картиной окно с потемнелыми, подсвеченными закатом кирпичными стенами, которые заросли по границе с небом вентиляционными трубами; их скопище походило на семейство опят.

– Изображение в раме обретает глубину, длительность отнюдь не благодаря иллюзиям перспективы, в картину, в это живописное окно, взгляд вживляет время.

– А композиция, – Шанский напомнил афоризм Бочарникова, – задаёт смысловое движение от показа к рассказу.

зевающие

Безжизненные лица.

Сиреневато-бледные, холодные.

Профили на продолговатом горизонтальном холсте зевают в бритые затылки один другому. Растянутые зевками губы, кляксовидные темноты открытых ртов.

– И вдруг выскакивает безударная гласная! – объяснял Гошке подоплёку поэтического волшебства Головчинер.

кричащие

Небольшой квадратный рисунок.

Насупленные, расширенно-утяжелённые к низу брыльями, словно колокола, физиономии – продырявленные ноздрями, глазками, взрезанные разинутыми ртами, которые исторгают, не обещая облегчения, нескончаемый крик.

из-за шкафа

– Цветовое пятно, контур, узор, сочленение абстрактных ли, реалистических форм лишь организуют видимое в композицию, она-то и включает воображение.

вплотную к картине

Наслоения красок.

Будто под инфракрасным микроскопом мазок просвечивал сквозь мазок, цвет сквозь цвет. И формы дворовых флигелей, тел заменялись формами цветов. – В цветовом, сколь угодно малом фрагменте, в каждой условной клеточке записанного холста зашифрован... – уверял Шанский Бызова, – Кювье восстанавливал по косточке скелет динозавра, правда? Так и по мазку, по этой клеточке живописи, опытный глаз распознаёт шедевр.

картина-шарада

Что это?

Запутанный многофигурный сюжет, остановленный в кульминации, провоцирующий мысленные возвраты действия назад и перебрасывания его вперёд для связного прочтения всего происшествия? Нет, жанровой картины не получалось. И попытки пересказа, которые соблазнялись гибкостью слова, быстро выдыхались; да, с давних пор удостоверился, что видимое не переводилось в вербальное, как особый, состоящий из одних идиом, язык.

И всё же.

Итак, последовательность логично сменяемых фаз события не наблюдалась, не выявлялась, изображение – без явного сюрреального сдвига. Всё – просто, буднично, хотя гиперболизировано. И не понять, что было – или могло быть – до изображённой сцены, что будет после: пространство сжато, время длится внутри изображения.

Где же, если не видно явного сдвига, прятался тайный?

Спор дополнительных цветов не выпячен, колористика спокойная, краски проступают, набирая яркость, сквозь монохромную пелену и – будто уходят в тень. Почти гризайль. Нет даже столкновений тёплых и холодных оттенков. И нет быстрых измельчённых мазков, заставляющих вибрировать картинное поле. Прочь мимолётные волнения-впечатления! – мазков не видно. А видимое – взвинченный динамизм композиции, напряжённость каждой фигуры – отвлекающий финт.

свой свет

Сгустки таинственно светящейся сумеречности стекали по стенам, буграм мышц, морщинам одежды, кожи.

Лунное свечение? Или – солнечное, словно изливаемое в момент затмения?

И вдруг слепил встречный луч – взор человека, распростёртого над асфальтом.

Взор прожигал, хотя выпуклые, бело-голубые глаза оставались холодными.

В подробно выписанном событии спрессовались не разные его фазы, но разные к нему отношения: от фигуры к фигуре блуждало множество взглядов, ищущих точку зрения, хотя бы – взгляды Художника, пишущего картину, посматривающего на холст извне – он наклонял голову, прищурился – или лоящего реакции зрителей из глубины картины: вон там, справа, вдаль, его маленькая, с втянутой в плечи головкой, фигурка у дощатого забора; словно назначил встречу кому-то, ждал на ветру.

Но был и подвижный обобщающий взгляд, следивший за всем сразу с высокой, лишь ему доступной позиции, взгляд, пронзавший первопричинную темень, скреплявший видимое и скрытое; странные сгустки света били из тьмы, растекались, как лучи фонариков, по лаковой плёнке, защищавшей изображение.

Частное дворовое происшествие, смешавшее обыденность и загадочность, преображалось этим неверным светом в постоянный, тянущийся из прошлого в будущее конфликт,

и когда пробежал по коже морозец, когда кольнули детали-подсказки, детали-предчувствия, пьянящим покоем вечности повеяло от серой сырости стен, разъярённых, злобных, туповатых громил, коричнево-пыльных, будто выдернутые из земли корнеплоды; от распростёртого, но сосредоточенного, со страстным сожалением пронзающего взором даль, бледного человека.

Невещественное струение?

Шанский заговорил о вермееровской сакрализации окна, из которого льётся свет вовсе не солнечный, неведомый.

Не о нём ли, неведомом волнующем свете, когда-то толковал и Бочарников, беспомощно взывая к вниманию? Или всё же – излучение тьмы? Из двора-колодца, откуда-то с асфальтового дна его, неслись детские крики: за луну или за солнце? Жёлтую стену заливало жаркое солнце. За советскую страну? За горбатого японца?

По лицу распростёртого, по ступеням, расчертившим двор, гладкошёрстной собачьей спине скользил лунный свет?

КОБАЛЬТ В КРОВИ И НЕИЗВЕСТНОСТЬ

– Бледный? Голубая кровь? Бросьте выдумывать! – весело отбивался Художник, – холст-то крупнозернистый, я грунтовал, грунтовал, зашлифовывал наждачной шкуркой, а на палитре кобальт оставался, засох бы, пропал, вот и пустил, не думая, на грунтовку, синева засветилась.

– А почему себя таким малюсеньким и поодаль, там, под козырьком деревянного забора, нарисовал, из скромности? – не отставала Милка: высоченная, она, ссутулясь, трясла за плечи усмехавшегося Художника, окончание картины освободило его на время, он смеялся, шутил; настырная Милка трясла и трясла за плечи, телепалась длинная бордовая бархатная юбка с мокрым краем подола.

– Места на большую фигуру не оставалось.

– Вовсе б не рисовал!

– Композиция бы хуже была.

– Почему сюда, на нас, смотришь?

– Интересно, наверное.

– Наверное?! Нет, скажи, чего ради ты из-под покосившегося забора смотришь?

– Пока не знаю.

– Пока? Когда узнаешь?

– В своё время.

– И скромность у тебя ложная! Признайся, бледнолице-кобальтового страдальца с себя писал?

– Раза два в зеркало глянул.

– Художники собою отравлены, до чего себя любят! – встряхивала рыжими патлами Милка; веснушки старательно припудрены, яркий рот...

– Брось, я только мармелад люблю.

СОЛО С ДОМЫСЛАМИ

– В элитарной субкультуре и впрямь раздут культ художника, этакого небожителя, сосланного на землю, – подоспел Шанский, – но это, Милочка, как убеждает многострадальная отечественная история, не самый опасный культ. Я бы сказал – совсем безопасный, нас, смертных, даже облагораживающий, возвышающий. Разве есть более достойные, чем Бог и его тайный соперник, художник, фигуры для поклонения? А художник ведь из нашей, человеческой

породы. Но! Фантастически восприимчивый, художник флиртует с нечистой силой, дышит космическим холодом, жертвует бытовыми радостями, кровоточит иронией и так далее – всё по канве манновской, интеллектуально-непревзойдённой схемы. И можно ли вообразить художника-человека, который не был бы лишним в социуме? Кому встречался теплокровный гибрид демона с рохлей, такой, чтобы правая рука оцетинилась кистями, а левая качала люльку? Одно из двух, – затрясся Шанский в беззвучном смехе, – Художник, осторожно держа обеими руками блюдо, торжественно вносил в комнату пирог с капустой.

– Нет, скажи чего ради раздувают и раздувают культ? – Милка простодушно свернула крашенные губы трубочкой и, звякнув браслетами, обвила худыми руками шею Шанского, – всё знаешь, понимаешь, ну-ка, выкладывай. И – со страшной гримасой. – Ну-у, попался в объятия фурии, говори, а то задую.

– Извечное человеческое любопытство к устройству мира и смыслу жизни меняет формы удовлетворения в разные исторические периоды, – притворно захрипел, будто раскалываясь под пыткой, Шанский. – Когда-то человека вела по жизненному пути и всё объясняла ему религия, вера в божеский промысел. Потом веру заколебала наука, грозившаяся раскрыть все мировые тайны. Ну а по мере увядания надежд на проникающе-спасительную мощь научного знания, смысл жизни, творя параллельную реальность, пытается добывать искусство. Удивительно ли, что в сознании экзальтированно-благодарных его потребителей художник замещает самого Бога?

– Слишком просто, – Милка разочарованно высвободила шею Шанского, шагнула к столу с роскошным глянцевым пирогом.

убегающий

(с галеры – в галерею)

– Да-да, в новейшей культурной мифологии он – мученик, каторжанин, прикованный к галере творчества, на него сыплются удары, он гоним, да-да, согласно популярному мифу общество теснит, мучит художника, хотя он, обречённый жить под гнётом таланта, сам взваливает на себя духовную ношу, симулируя чей-то гнев, чьи-то удары, – по инерции молот Шанский, – нет-нет, соцреалисты, лижущие властные задницы, не в счёт. И трепливая фронда с фигами в дырявых карманах, которая пьяно плачется, что не выставляют и не печатают, выпрашивает признание, как милостыню на паперти, тоже дерьмо порядочное. Зато свободный художник – баловень, победитель, счастливый беглец из материального плена, хотя в обыденности он частенько выглядит ущемлённым. Каждому, однако, своё, ха-ха-ха, кому – жизненные блага, а кому – посмертная слава.

– Не догадывался, что счастлив, – бормотал Художник, раскладывая по тарелкам, никого не обделяя, ломти пирога.

– Если художник к творческой галере прикован, то, как же и куда убегает? – капризно спросила Милка.

– Убегает аллегорически... куда? В галерею будущего! – нашёлся Шанский, сверкнув глазами.

Его поощрили смех, сухой аплодисмент Головчинера.

– Художник творит вкупе с произведением и свою судьбу: рвёт пути, устремляется бог весть куда и, рискованно приближая кульминацию, сливается-таки с судьбоносным своим назначением в смертной точке. В отважном бегстве навстречу неминуемому концу Шан-

ский усматривал нравственное испытание творчеством, если угодно – трагическую иронию; как несение креста, на котором непременно распнут.

Стало тихо.

Художник заинтересованно посмотрел на Шанского.

– И вот он, вопрос вопросов – если земной путь итожит могила, а душа бессмертна, то ради чего переливается жизнь в художественные формы, которые остаются здесь? Резонно ли их вымучивать-отделять, репетируя болезненное прощание с этим миром, если там ждёт другая жизнь? О, художник, как философ, бесстрашно упражняется в смерти, – токовал Шанский, Гошка слушал, разинув рот, – художник пленён не только собственным подсознанием, но и своей эпохой; он раб её пустяков, о да, о да, однако он ещё и маниакальный путешественник по времени, повелитель всей его протяжённости, отнюдь не линейной; о да, художник в путешествиях своих уходит за край, ему никак не избавиться от соблазна увидеть себя в посмертном свете, там он заведомо значительнее, ибо творчество больше и долговечнее человека. Вот почему произвольно бросая вспять ли, вперёд события и мысли о них, художник ломает хроноструктуру произведения, компенсируется за реальное всевластие времени воображённым разрушением традиционного, необратимого порядка вещей. Он ищет драмы, конца всего... его счастливая стихия – возбуждающий канун катастрофы, хотя он, разгневанно-благодарный, остаётся пытливым летописцем выпавших дней, лет, какими бы они ни были.

– И нынешних дней и лет? – удивилась Людочка.

– Ну да! – не оставляя сомнений Шанский, – всякое произведение обращено к потомкам, опусы советского искусства – и официозного, и нонконформистского – суть репортажи из тупиковой цивилизации.

Головчинер поглаживал пальцем ямку на подбородке.

– Гордыня? Да, искусство посягает на глубины жизни, тщится ухватить, удержать что-то невидимое в ней, что-то, что после неё... картина пробивает в материи брешь, окно в потусторонний мир, и он, холодный мир, сквозит, смотрит в новоявленное окно на нас; Художник напряжённо прислушивался.

И Соснин, зачарованный, не смел шелохнуться – заразные Толькины соображения смешивались с дневными внушениями Валерки. Но сегодня Толька был поконкретнее, набросал красивую, хоть по пунктам воплощай, схему. Каково! Художник погружается в свою затейливо выстроенную интровертную композицию, углубляет изображение и углубляется в себя, пока ненароком не проткнёт кистью мистическую преграду; очутившись по ту сторону, оглядывается.

– О да, о да, собиратель подробностей и взломщик хроноструктуры выпадает из бесконечно-вечного пространства-времени за грань непостижимости и – воодушевлённый, возбуждённый – убегает, убегает невесть куда... и оттуда... о да, именно художник смотрит и на изображённое им на холсте, и на нас, зрителей, из того окна! Вот хотя бы, – повинувшись жесту Шанского, все повернулись к картине, – двор, фигуры вылеплены удивлением.

– Ага, ага, – закивала, вскинула руку с браслетами Милка, – исчадия высунулись из ада в жизнь.

смертельный номер

– Манихейство на новый лад, зло с лентой, заносащее, нехотя, кулаки. А можно ли выстроить вселенную красоты без злобы, вероломства, тупости и отчаяния?

– Если красота приятно-успокоительная, то декоративная вещь получается, можно в спальне повесить, – отмахнулся Художник.

– Но Матиссу-то удалось, в зажигательном «Танце...»

- Нет, «Танец» – не оргия радости, пляшут не люди, языки адского пламени.
- Легчайших эльфов пляска, – глухо прошептал Головчинер.

Шанский добавил, что из идеальной вселенной красоты пришлось бы изгонять человека, вечного носителя безнадёжной схватки добра и зла, меняющего роли, маски, органичного в любом, самом жестоком веке.

– Постой, постой, навывдумывал нам про маски дьявола, но произведение-то искусства сродни божественному творению, – раскричался Гошка, – эстетизация зла развенчивает человека, клеветает на него.

– Добро и зло уживаются в одном человеке, в одной душе? – Людочка, нахохлившись, жаловалась на супругов-блокадников, соседей по коммуналке, – тихие, гостеприимные оба, старательно в передничках стряпали, лепили пельмени, потом чисто переодевались, выпив, за столом с гостями про синий платочек пели, и вдруг... как куль, кто-то за стенкой валился на пол, и с трёхэтажной руганью душили, били. Неделю потом кровь отмывали, хорошо хоть топор не попался под руку, на куски могли разрубить.

– О, топор не только заострённое орудие быта, но и спасительное орудие русской истории, орудие социального отмщения, о-о-о, гуманистический миф развенчивался естественным ходом событий, – посмеивался Шанский, узревший в картине зловеще-безостановочный, меланхолический танец ударов; если бы добро победило зло, круговерть бы жизни остановилась. И не спроста Художник, танцор от бога, виртуозно вживил танцевальную ритмику в композицию, Шанский и название для неё припас: «Жизнь как пляска смерти».

между тем (острословие против остроумия?)

– Уколы алоэ такие болезненные, – жаловалась Людочке Таточка, а Шанский подбадривал. – Тяжело в лечении – легко в гробу.

воскресение?

Мускулистые громилы рвут не одежды, простыню.

Торопливая бригада, вывозящая трупы, запеленала покойника, а он...

Он внезапно ожил – забыл что-то важное на земле и теперь, обременённый потусторонним видением, неумением применить-передать его, с болью смотрит на знакомый, но уже другой мир.

А что? Слуги смерти спешили. Расстелили на полу простыню, схватили за холодные руки-ноги, уложили, накрыли ещё одной простыней, завернули, завязав узлами углы. Потоптались через сумеречный двор к тупорылой грязно-жёлтенькой труповозке, а он...

Их ужас взорвался злобой.

Затем – растерянностью.

Дух вернулся, воспарило над растрескавшимся асфальтом тело?

двуликий спаситель

Взлетели брови, от произвольной гримасы скулы заострились, кожа на щеках натянулась, лицевые плоскости, бледные, лоснящиеся от бесцветного крема, и линии их пересечений резко обозначились; да ещё твёрдый воротничок-стойка, этакий высокий ошейник, подпирал подбородок – эффектно ожил портрет кубиста... Людочке, которой довелось быть подругой

многих художников, осточертела заносчивость самозванных спасителей, их – по её выстраданному разумению – заряжали эгоизм, безразличие к близким, чёрствость. Вокруг мельтешили жалкие, очумевшие от забот людишки, а они – гении, ранимые, гонимые, убегающие во благо других прочь от них...

– Увы, дорогая, в художнике человеческое вторично, это признавали даже гуманисты из гуманистов, художник – бессердечный спаситель.

– Но что для него первично?

– Повторюсь, божественное энд дьявольское. И не зря, не зря, обожевляя художника, в нём бояться опознать дьявола. Шанский спелся бы с Петром Викентьевичем Тирцем, царство ему небесное, полагавшим художника порождением запредельного соития бога и дьявола... да, бойко развивал тирцевские разглагольствования, как если бы вычитал их из дядиного письма... или вычитал в том же, что и Тирц, ноосферном источнике? Впрочем, давняя оригинальность тирцевских суждений померкла, почему бы теперь наново не блеснуть. Не пора ли, кстати, поведать Тольке об отце Инны Петровны? Что-то удерживало Соснина, пока ничем не хотел делиться, как если бы ещё что-то, возможно, главное, предстояло ему узнать; промолчал.

А Милка – ушки на макушке – по наводке Шанского с недоверием изучала Художника, мол, ни крылышек за спиной, ни копыт, которые бы вместо ботинок поблескивали из-под штанов.

Головчинер скептически перевёл взгляд с Художника на картину; флигель справа жался к краю холста, словно норовил спрятаться за рамой, уступить видимое изобразительное пространство, не дожидаясь пока его, пространство это, отнимет и заполнит раздвигающийся руинный провал. Всё обычно, две точки схода – на линии горизонта, но перспектива разваливалась, изображение словно охватывало некую сферу, чтобы вместить побольше пространства, позволить зрителю заглянуть за край.

Гошка дулся на адвоката дьявола.

Однако Шанский невозмутимо растолковывал Милке, что неземное, перво-наперво дьявольское, демаскирует физиология в процессе творения. Кого не отталкивали случайно подсмотренные корчи, злобные гримасы живописца, смешивающего краски? А как мерзко перекашивается, заглывая воздух ли, благодать, пасть вокалиста, из коей чарующие звуки вылетают на волю... творческое усилие плоти ужасно, как родовые судороги. Что? – переспросил Шанский, – да-да, хотя это из другой оперы, свои физические изъяны художник горазд компенсировать в произведении – Бетховен не слышал музыки и переусердствовал с громкостью.

– Божественное, дьявольское... слишком расплывчатые понятия, вычислением не проверить, – морщился Головчинер, – от подобной расплывчатости божественное в вашем изложении и перетекает в дьявольское, знаете ли, философы декартовской школы обоснованно обвиняли нестрогую мысль в том, что её носителем манипулирует дьявол; Головчинер нудно увещевал...

– Что для вас Бог, Даниил Бенедиктович?

– Мой Бог – число! – горделиво вскинулся Головчинер.

– Скучно, наверное, жить, обходясь без магии.

– Если б вы знали, какой магией обладают числа! Знаете ли, к примеру, что единица есть число истины?! Единицу естественно представить множителем любого числа, единица незримо присутствует в любом числе... и истина повсюду, во всём, хотя невидима. Числовая магия конструктивна, помогает приподымать покровы.

Соснин смотрел на Художника.

Смыкались зальсины, выпуклый лоб выросал, нависал над тёмными и горячими, колкими глазами; линия щёк смягчалась, нос заострялся.

Когда Художник лежал в гробу, нос и вовсе торчал клинком.

разные взгляды

– Художник обычно самоустраняется, лишь изредка, вроде бы невзначай, говорящим взглядом персонажа картины подаёт немаловажную реплику. Вспомните хотя бы как младенец в «Мадонне Литта» косит на зрителя глазом. А тут прямые наглые взгляды, смотрите, смотрите, ещё один, высунувшись, поднимает взор!

– Ах ты наш пьяненький чародей слова, объясни тогда... – выхлестнув из-за шкафа, шею Шанского снова обвила длинная рука, окольцованная тонкими серебряными браслетами.

– Что с того, что искусствовед, не всё могу объяснить... Важно принципиальное различие. Усатые головы знатных фламандцев, покоящиеся на белых круглых гофрированных воротниках, спокойно смотрят в вечность сквозь зрителя. Его реакции их не волнуют. Блестящие, конечно, художники, но менее блестящие, чем... – блял с минуту-другую Шанский, потом скакнул, убаюкая дам, к анекдотам. – Ха-ха-ха, – захлёбывался, облокотясь на аквариум, – ну-ка, угадайте, почему шампанское дорожает, а ноги у девушек всё длиннее?

В густо-зелёной мути взблескивали золотой канителью спинки. Присосалась к стеклу толстыми бледно-жёлтыми губами печальная рыбка; устало шевеля кисейным плавником, визирала на чужой мир.

откровения долгого портретирования

Прыгала, металась кисточка! Плясали точки-мазки... запечатлённое возбуждение, видимый темперамент.

Вспомнился «Автопортрет с патефоном».

Куда подевалась скоропись?

Застылая обстоятельность. Оцепенели тела, предметы, лепившие их мазки. В пространстве, где закупорено время, движение неуместно.

– Бывает, час за часом, день за днём пишешь портрет и всё сиюминутное покидает натуру, выпячивается её постоянство и пишешь уже не характерные черты, которые, утрируясь, остаются в шарже, но отчуждённую от движений-треволнений, затверделую, как барельеф, эмблему характера. Если вдруг модель смахнёт прядь со лба, почешет нос – потеешь от ужаса, неужели ожила? При длительном портретировании, – втолковывал Людочке Художник, – модель утомляется, теряет бдительность, и с лица, словно брошенного в пустоте наедине с собой, невольно сползает надеваемая для других маска: мышцы, не выдержав привычного, но такого не нужного в этой пустоте напряжения, обмякают, внутреннее, сокровенное, то, что обычно прячется от других, всплывает. Потом и модель, привыкшая к своей подвижной маске в зеркале, удивляется-обижается – не похоже, я лучше. Однако облик долго позировавшей модели выбалтывает всю правду о ней, бывает, отшатываешься, будто заглянул в бездну.

– Да-да, – подхватил Шанский, – чем не натурщики, терпеливо позирующие в изнурительно-сложных позах? От тщательного, подробного выписывания фигуры окаменели, изображено, стало быть, не событие, его скульптурное представление. Что? Разве академистам не свойственна театрализованная монументальность? И, – подумал Соснин, – не в сторону ли академистов качнулся Художник, утяжеляя густыми складками голубоватую драпировку?

замри-умри-воскресни

– Помилуйте, Анатолий Львович, – оппонировал Головчинер, пытаясь ущипнуть остриженный почти до основания ус, – вы не хуже меня знаете, что мистика заведомо бессодержательна. Потустороннее окно, что это? Как высказанное вами выше или столь старательно выписанное краской здесь, – опять скептически осмотрел картину, – объективным числом измерить? Я ведь вижу только то, что изображено: двор, театрализованные громилы, которые терзают бледного человека, откровенно взятого напрокат у другого времени. Всё! А гиперболизация, аффектация меня не волнуют – так не бывает.

И всё-таки картина-шарада, – думал Соснин, – фигуры сцеплены в узор, в нём, в узоре, скрыт смысл.

– Несерьёзно, – изогнул бескровную губу Головчинер, – застигнутые врасплох? Остановленные в странных позах, будто в детской игре, а ты разгадывай, что всё это означает? Реалистичные фигуры на первый взгляд, но какие-то вывернутые, словно над анатомией поиздевались: если вытянуть, согнутые руки, ноги получатся непропорционально длинными. Нет, не волнует.

– Но фигуры – суть фигуры иносказания, разыгравшие позами, жестами другую историю, – раздражался Шанский.

А Соснин успокаивался.

так было, так будет

– Ударные слоги располагались по три, понимаете?

– Почему по три?

– Как же, – искренне удивлялся Головчинер, – число три – это начало ритма.

Ничего ужасного и впрямь не творилось.

И ничего принципиально иного не случилось до, не случится после.

Останавливая мгновение, живопись постигала скоротечность разных эпох, искала не исторически точную перспективу, но вневременные начала жизни, их постоянство.

Действие?

Срываются одежды, заносятся кулаки. Но громилы, похоже, разыгрывают, а не вершат расправу.

Точнее: они позируют. И провоцируют созерцать, размышляя взглядом, но не сострадать, сопереживать, кидаться на помощь. Как медленно, томительно медленно бежит соблазнённый азартом расправы мальчик в розовой майке.

Разыгрывали расправу изумительно подобранные по типажам, мастерски скомпанованные натурщики. Олицетворяли они не обобщённую совокупность ударов, толкающую оживать академически-застылую сцену, реконструировать цепь событий, поспешавших к трагедии, а знаки ударов – не нанесённых, но угрожающих; свёрнутых в головоломный, замешанный на взаимной дополнительной добра и зла конфликт, который не проецируется на экраны рассудка, лишь, упрощения ради, сводится к противостоянию индивида – толпе, художника – обществу.

Ох, негоже растягивать вялым слогом миг зрительно-чувственного, если не сказать – сверхчувственного впечатления, ослепительного, как зигзаг молнии.

Соснина, однако, кольнуло: вот бы развернуть в роман такую картину.

проза как кинонаплыв

За окном шумной завесой упал дождь.
Закатное солнце из-под тучи и – чёрный потоп, буйная тьма.
– Страшно! – покачивалась, обхватив плечи, Милка.
– Только есть одиночество в раме говорящего правду окна, – призвал на помощь беспощадного Ходасевича, блаженно прикрыв глаза, Головчинер.
– Страшно, страшно, – упрямо покачивалась Милка, – страшно.
И чего он, собственно, добивался? – Ха-ха-ха: старушонку чёрт убил – помните? Повторяли по просьбе зрителей, – певуче врубился следователь, – ха-ха, воды глотнёте или в такой холод лучше бы коньячку хотя бы с напёрсток, а?

для разрядки

– В математическом ряду простых чисел выскакивают исключения – 15, 27 и так далее, однако... – Головчинер узурпировал внеочередной гост, – извольте до дна, до дна...
– Теперь позвольте поэтическую викторину навязать почтенному обществу, – Даниил Бенедиктович, требуя внимания, звякнул ножом о тарелку, жёсткие седоватые усы будто подросли над язвительною губой. Послушайте-ка с вниманием:

Санкт-Петербург – узорный иней
Экслибрис беса, может быть...

Или другое:

И ныне: лепет любопытных,
Прах, нагота, крысиный шурк
В книгохранилищах гранитных
И ты уплыл, Санкт-Петербург.

Шанский с шутовской гримаской сожалел, что выпало коротать счастливый железный век в провинциальном книгохранилище, где отсыревшие дома-фолианты догрызают крысы, но Даниил Бенедиктович оставался серьёзным: оцените рифму – не ликург, не демиург, а крысиный шурк, хотя, конечно, уподобление города книгохранилищу для просвещённого уха звучит банально, а вот книге... – Да-да, – кивал с той же гримаской Шанский, – проще и весомее сравнение с книгой, помеченной... да-да, экслибрис беса – мы обитаем в престранной книге...

– Не отвлекайтесь, угадывайте, – давил Головчинер.

Шанский, разумеется, угадал, не обращая внимания на Гошку, недовольно забормотавшего о холодности, бесчеловечности, что в прозе, что в стихах, набоковской красоты, сказал, что угадайку не прочь продолжить:

Я помню чудное мгновение
Невы державное течение
Люблю тебя, Петра творение... – кто сочинил стихотворение?

– Ну, кто, Пушкин, – отмахнулась Людочка.

- Как бы не так, Некрасов! – затрясся радостно Шанский.
- Тебе б только издеваться, – надулась Людочка.

спасительный пятый пункт, истерический крик,

шёпот, плач Милкиной души и путаница воспоминаний,

недоумений, соображений, утверждений,

ими (криком, шёпотом, плачем) вызванных

– Седеешь, а дурачишься, как ребёнок, – вздохнула Таточка; когда-то у Шанского был с ней роман, само собой – платонический.

– О, евреи рождаются стариками, зато славяне умирают детьми, мудрость с ребячливостью беспардонно бродят в моём слабеющем организме, я ведь полукровка.

– Так вот кто среди нас раздвоен! – прорычал Бызов и налил водки.

– Да, – радостно приподнял рюмку Шанский, – по матери я еврей, необходимый и достаточный по расовым стандартам исторической родины, а по отцу... Хотя, – захохотал, – документально я теперь чистокровнейший семит-семиотик, сердечное мерси перебдевшей партии и взявшей под козырёк военно-воздушной контрразведке! В незабываемом сорок девятом, – в который раз вдохновенно пересказывал свою бородатую историю, – папашку-белоруса, аса блокадного неба, из-за подозрительного изгиба носа евреем переписали, но я продолжал числиться белорусом, когда мне торжественно, под духовую музыку в первый раз паспорт вручали, зато потом, при обмене паспорта, благо границы для евреев, прошипев «скатертью дорога», открыли, я сам на себя предусмотрительно стукнул, на неувязку с отцовским происхождением указал и меня в израилю колено без сомнительных остатков вогнали, выездным сделали на все четыре стороны, в ОВИРе не смогут пикнуть... вспоминалось прощание с отцом Шанского, умершим от цирроза. Хоронили на Сестрорецком кладбище, рядом, по обе стороны от ямы, лежали первая жена, мать Шанского, и вторая жена, Инна Петровна. В штабе ВВС округа, оказалось, не забыли о боевых заслугах асса-отставника, прислали музыкантский взвод, потом салютовали, вскинув винтовки в небо.

– У моего папашки раскурносый нос был, хотя замели в том же сорок девятом, – Бызов опорожнил рюмку.

– Неужто, Анатолий Львович, из замороженной империи недорослей в жаркую обетованную землю сионских мудрецов стариковский путь держите? – улыбаясь, Головчинер педантично нарезал на маленькие кусочки ломоть пирога, капуста выкрашивалась.

– Не-е-е-т, – пошёл было на попятный Шанский, – с сионскими мудрецами мне не по пути, не судите за богохульство, но в гробе господнем сионистские заманки видал, я существо примитивное, в Париж хочу. Потому и заезжих мадмуазелек прощупывал на предмет фиктивного штампа.

– И ты паришь, когда на проводе Париж, – среагировал Головчинер на изменение маршрута.

– Узок круг революционеров, а и те улизнуть спешат, остаётся рабская масса, которую не сдвинуть, кто эту неподъёмную...

– Мышки не хватает, чтобы вытащить репку!

– Репку или бегемота тащить? Определяйтесь.

Милка прижала ладонями к вискам рыжие патлы, молчала, как если бы загодя, ещё не проводив Шанского, по нему смертно затосковала, и вдруг вскочила, припадочно закричала, срывая голос. – Толенька, ты... ты уедешь? Это правда? И, упав на стул, зашептала. – Что будет, что будет...

– Как что? Платонический роман превратится в эпистолярный.

Милку била дрожь; беззвучно шевеля губами, качалась из стороны в сторону, потом подпёрла падающую голову, выставив на стол локоть, тупо посмотрела в пустой бокал.

– Красненького налить? – нежно наклонился Шанский, – выпей, говорят, стронций выводит.

– Такое красненькое, с химическими добавками, стронцию не грозит. Элябрик, помню, рассказывал, что через пробку шприцем консерванты в забродившее вино вводят.

– В его баре и редкие вина создают, в скисшее «Вазисубани» или «Цоликаури» впрыскивают с аптечной точностью дозу дешёвенького портвейна и, пожалуйста, наслаждайтесь благороднейшим «Твиши».

– А-а-а, вот откуда шикарное бунгало в Лидзаве!

– О, Элябрик под развесистой хурмой обожает, обрядившись в бирюзовое кимоно, позавтракать напоказ, да ещё всякий раз с новой старлеткой, он их поочерёдно умыкает после закрытия бара из Дома Творчества и на белом «Порше» с откидным верхом привозит на сладкую экзекуцию.

– Кто этот легендарный Элябрик? – перебил Гоша, – столько слышал...

– Лучше бы один раз увидел! Обаятельнейший прощельга с шейкером, в очках с тоненькой золотой оправой, кумир богемной шушеры, которая липнет к стойке фешенебельного пиццундского бара.

– Там и мрачный вислоусый кофевар был.

– Был, был, только не на Пицунде, в Гагринском парке, в фанерной будке при чебуречной. Высокий, худой: жердь в сванской шапочке на потном лысевшем черепе. Одуревший от чада электропечки, ночами заново прожаривал на сковородах дневные кофейные опивки, назавтра, с утра до ночи, опять, прикарманивая прибыль, варил из них кофе, когда варил, вперялся в висевшую на ржавом гвозде подкову наркотически-расширенными, мутно-коричневыми зрачками, у него словно выросло множество рук, важно-важно передвигал джезвы в калёном песке, помешивал за миг до вскипания то в одной, то в другой самшитовой палочкой. Кофевару тому за кровавое убийство пожизненный дали срок: на наложницу богатого старца, короля подпольного трикотажа, позарился и из ревности сакраментальным топором аксакала-соперника зарубил.

– Красиво! Кровь обагрила субтропики!

– Жаль, никто не удосужился роман написать.

– Тем паче и героиня на загляденье была, фактурная! Помните Зосю, узкоглазую, длинноволосую, с цыганскими ухватками, чью судьбу топором решали? Помните? Её, едва на мысу вошёл в моду бар «1300», на танцы под охраной стали привозить на историческом, купленном в кремлёвском гараже «ЗИСе», как она плясала, огонь! А в музыкальных паузах скидывала лаковые острые лодочки, по-плебейски ногою ногу почёсывала, в чулках прохаживалась вдоль балюстрады... потом спускалась с террасы, где для неё накрывали столик с видом на закат и подвижные силуэты пальм, в уборную, её сопровождали по винтовой лестнице два охранника-кутаисца в войлочных пиджаках, почтительно у двери уборной топтались, будто бы на страже сокровища.

– Как вспыльчивого кофевара-ревнивца звали?

– Имя позабыл, окликали – Бичико, мальчик.

– Что о нём слышно было после суда?

– Повесился в камере... топором отмахал, примчался к Зосе с предложениями руки и сердца, умолял бежать с ним на крайний Север, заманивал большущей спортивной сумкой, туго набитой накопленными на махинациях с кофе купюрами, но был со смехом отвергнут... тут и милиция подоспела.

– Все годы, пока Зося ублажала под бдительной охраной престарелого трикотажника, у неё, говорят, был молодой любовник.

– Бронзовый бог! Косая сажень, чеканный профиль, амулет из акульего зуба, болтающийся на курчавой груди. Зарубив старца, Бичико этому везучему богу-Арчилу на блюдечке не одну сексапильнейшую Зося поднёс, но и завещанный ей ненавистным богатеём белый дворец в глубине мандаринового сада.

– Ты-то как во все подробности въехал?

– Я Митьку Савича провожал из Гагры в Тбилиси. Начали с купат в «Аргизи», потом в жоэкуарской пацке до митькиного поезда выпивали с обделёнными наследственными богатствами сыном убитого, случайно к нам подсел, – отчитывался Соснин, – не унывал, налегал на чачу, вот и развязался язык – смаковал выразительные детали: окровавленное топорщице на персидском ковре, брызги крови на мраморной колонне и прочее, прочее, а в соседней избушке, за бамбуковой шторкой, в пьяном сумраке, под полкой, на которой празднично посверкивали медные этнографические кувшины, певучие гости гуляли на годовщине свадьбы, Арчил и Зося во главе стола восседали. Хороший выдался вечер. Веяло осенней свежестью, в ущелье стекал со снежных гор ветерок – стекал, срывал с пятнистых платанов, шумевших над декоративной ресторанной деревенькой, пожелтевшие листья, с шорохом сметал в бетонное русло пересохшей реки... каким громким пышным тостом провожал гостей за шторкой Арчил, поднимая рог...

– О-о-о, огненный романский сюжет зазря пропадает!

– Шекспировские страсти-мордасти меркнут!

– Да, трагедия стала гвоздём сезона!

– В субтропиках ежесезонно кипят убойные страсти, недаром в «Гагрипш» знойные блондинки с российских просторов для острых ощущений съезжаются. Из номеров после ужина несутся душераздирающие вопли любви, зачиная многоголосый многоактный концерт... но экстазы обманчивы, как всякий пролог; бывает, обидчивые гордые горцы под занавес ночи причинно ли, беспричинно слепнут в любовной ярости, пускают в ход короткие кривые ножи, такими баранов режут.

– Вот где настоящие мужчины! – в один голосок воскликнули Таточка с Людочкой и рассмеялись.

– Я однажды нарядилась в старорежимную бабушкину блузку с брюссельским кружевом, чтобы Митькин день рождения справлять, хотела за тобой зайти, помнишь? – заговорила негромко Милка, неуверенно повернулась к Людочке, – впереди меня шёл по коридору официант, сгивался под тяжестью громадного подноса с заказанной едой, выпивкой, он толкнул коленом дверь номера и как ошпаренный... томатный соус с подноса аккуратноенько мне на блузку... а отстирать тот соус...

– Сацибели! Горького перца больше, чем помидоров.

– Невинная загадка для дебилов! Что увидел официант в номере «Гагрипша», открыв дверь без стука?

– Подлить ещё красенького?

– Какой стронций? – у Милки внезапно задрожал голос, – я тоже в Париже не была, тоже хочу на мир посмотреть хоть в щёлочку. Так и умру, ничего не повидав? Ни Франции, ни Италии...

– Ни Англии, ни Германии, ни Испании... – продолжил ряд Бызов.

- И ни Гавайских островов, ни Канарских, – вздохнул Художник.
- Но я хочу, хочу...
- Валяй! – смеялся Бызов, – русские красавицы – наше тайное биологическое оружие.
- И – неистощимые энергетические резервуары для художественных вампиров! Пикассо, Матисс, Леже, благодаря экологически-чистой кровушке, выпитой из русских подружек, сколько прожили...
- Дали и сейчас живёт припеваючи.
- Милка полными слёз глазами смотрела на Шанского.
- Смирись и жди Пенелопой. У тебя не тот состав крови, чтобы по заграницам законно шастать, мне по расовым стандартам исторической родины и ОВИРа можно, тебе нельзя, – важно отвечал он.
- Ты... Толенька, ты вернёшься?
- Если бы знать...
- Ну-ну, не разводи нюни, чем я-то Толеньки хуже? Издавна и по гроб преданный тебе учёный-ариец, навеки невыездной, с тобой остаётся, – положил лапу на её дёргавшееся плечо Бызов.
- Толенька, ты нас бросишь в этом... этом, – срывался голос, потекла тушь с ресниц, – этом бинарном свиарнике?
- Повисла напряжённая тишина.
- С крупным рогатым поголовьем впридачу! – попытался растормошить Милку Бызов, но безуспешно.
- Как хорошо нам было вместе у моря, помните? Помните холерный год? – пустые, чистые пляжи... помните заплывы до гор?
- До гор? – удивился Гоша.
- Ну да, до гор, заплывали подальше в море, чтобы увидеть над рощей заснеженные вершины. А в позапрошлом сезоне, помните, в Мюссере за третьим ущельем пикник затеяли. Забыл, Толенька? Ты хворост для костра собирал, и Ильюшка... – Милка тронула Соснина помутневшим взором, потёрла мокрым платком глаза, – помнишь, обаятельный тбилисский князь сюрпризами баловал? – сперва мальчишка из Агарак молочного жареного поросёнка притащил, потом, когда солнце садилось, туман вспенивался над далёкой рощей... сил не оставалось обратно брести по скалам, вдруг глассер приплыл за нами... и мы летели над розовым морем...
- И снег зарозовел на горах, – вспомнила Таточка.
- Сезон был особенный, – согласилась Людочка, – ни одного дождя.
- В прошлом году выдался тоже сухой октябрь.
- Да, месяц свободы.
- А помните Вахтанга, ну-у, наш консул из Бельгии, помните, высоченный красавец, интеллигентный? Недавно на Невском встретила...
- Романтическое начало! Обещан венец и выезд в круглогодично свободный мир?
- Нет, меня и узнал не сразу, спешил. А тогда он с тобой заявился, Толенька, мы в «Руне» обедали, помнишь? Подсел и советует: ткемали к дичи, форель лучше с гранатовым... А твой институтский профессор, ну как его, спортивный, на водных лыжах носился, в теннис молодых побеждал? – повернулась к Соснину, – да, Виталий Валентинович, с Вахтангом лучшие рестораны Парижа и Брюсселя обсуждать принялись... такие гурманы... я тоже в Париж хочу...
- Заладила! Пушкин не был в Париже и ничего!
- Толенька, из нашего-то сюр-абсурда – в скучненькое благополучие? Не затоскуешь?
- Препаршивая потребительская цивилизация, спору нет, – сокрушался, громко вздыхая, Шанский, – но куда ни кинь, всюду клин.

– Во всём евреи виноваты! – загоготал Бызов, – не нынешние, как вы подумали, а древние иудеи, основоположники. Кто их просил соблазнять огромный дикий мир своими местечковыми абстракциями? – единобожием, деньгами, буквенным алфавитом...

– Толенька, ты там прославишься, нас позабудешь. Мы тут будем тихо стареть, болеть, отстаивать панихиды. Толенька, – подняла заплаканное лицо, – тебе не страшно будет умирать на чужбине?

– Ты сказала, что я прославлюсь! Смерть в лучах юпитеров не страшна.

– погоди, при чём здесь Вахтанг? – запуталась Таточка.

– При чём? Сама не знаю... Зато Дима, бывший капитан, ну тот, которого с океанского лайнера на прогулочный катер за пьянку списали, чтобы в Мюссеру на дачу Сталина возить экскурсантов, с цветами и шампанским вдруг ко мне завалился, – Милка приходила в себя, воспоминания о приморском рае высушивали глаза, – какой капитан? Забыли? На Лидзавском рыбзаводе доставал копчёную рыбу, барабульку, пай в наши пиры вносил. А Багра-т-хачапурщик жарил, жарил только для нас, плевал на очередь. На Димкином переполненном катере, помню, призывные склянки бьют, пора отваливать, а капитан с нами пьёт, хохочет...

– Прохвост-Багра-т-сковородки смазывает машинным маслом!

– И сыр ворует!

– Всё равно вкусно! Мы пируем, немцы-гедеэровцы маются тихонечко в очереди, думают – зажрались русские свиньи...

– Ну вот, в свинарник вернулись!

– Эмилия Святославовна, развеите недоумение, – звякнул ножом по тарелке Головчинер, – как удаётся вам из свинарника прямёхонько в райские кущи сигать, потом – обратно в свинарник? Чем так абхазские субтропики дороги? Отдыхал в Гагринском санатории на горке, над железнодорожным Павильоном, да, в бывшей резиденции Лаврентия Павловича, да, буйная растительность, тёплое море, но в двух шагах от набережной – отчаянная антисанитария.

– Пальмы, вай-вай, – качнул головой Художник.

– Не пальмами же едиными... допустим, допустим, вымечтали себе Аркадию, да ещё, низкий поклон, с точными географическими координатами, – выстраивал умозаключение Головчинер, – но экзотичную флору, море Анатолий Львович, если выпустят, в Париж с собою не увезёт. Что помешает в очередном отпуске вновь сполна насладиться? И почему тамошними трапезами бредите, хотя признаёте, что кофе с вином и те поддельные? На моей памяти очень средненькое санаторское питание, в обжорках, которые начитанные курортники величают духанами, немилосердная грязь.

– И сдачи не дожидаться, ни в ларьке, ни в ресторане.

– У меня после такого, с позволения сказать, духана язва разыгралась, – скорчил болевую гримасу Гоша, – харчи переперчили, скисшие помидоры духанщик в навечно испачканном фартуке зачем-то поливал уксусом.

– Чтобы запах гнили забить.

– Мы там вместе были, вместе, понимаете? – вскричала Милка, снова сжимая виски ладонями, – и больше никогда вместе не будем. Никогда! Она разревелась.

Соснин смотрел на неё, перебирая картинки, выложенные памятью; Гагринская набережная, шалая богиня в коротеньком, синем, в белую полосочку, платице, загорелая, огненновласая...

– В обозримом будущем вы, Милочка, надеюсь, другие берега предпочтёте, греческие или испанские, турецкие, – разминал новую сигарету московский теоретик, – там и пальмы не жиже, и средиземноморская кухня сродни грузинской, и с Анатолием можно благополучно встретиться.

– Я появлюсь в шортах, панаме, с правой газетой «Фигаро» в левой руке, я противно располнею, но по живым глазам ты сразу меня узнаешь, – подхватил Шанский.

– От чего располнеешь-то?

– Устрицы заглатывать буду каждый день.

– От устриц разве толстеют?

– Буду много заглатывать, чтобы за вас налопаться.

– Чем станешь запивать?

– «Шабли» хотя бы...

– Какая Греция, устрицы? Не издевайтесь, – у Милки опять брызнули слёзы.

Головчинер осторожно положил на тарелку нож, с искренним интересом засверлил глазками разрывающуюся; учёный постигал сложнейший феномен. – Что, что именно вызывает у вас, Эмилия Святославовна, столь сильные чувства?

– Если чувства слабые – это не чувства. Помните? – сквозь слёзы, – Дима возвращался из Мюссеры, катер вынырнул из сумерек, музыка – ближе, громче... огни на палубе... И нежно руки Соснина коснулись тёплой гладкой ладонью, и током дёрнуло, когда расплескались жёлтыми кляксами огни, забелел в чернильных сумерках катер; музыка, пение накачивали волнами, и нос катера шуршаще врезался в гальку, и капитан-Дима вопреки морскому кодексу чести, да и должностной инструкции тоже, первым спрыгивал, не дожидаясь трапа, на берег и бежал, бежал к светящемуся под бетонным навесом кафе, к выгородочке из плюща, где гудели развесёлые дикари, и Милка задыхалась от смеха, что-то азартно Диме кричала, и наливала коньяк, распаренный же Баграат, выглянув в оконце раздачи, соображал – пора, не пора... и с торжественностью живописца, прилюдно наносившего на холст последний мазок, поливал горячую румяную хачапурипу растопленным маслом, Митька Савич подхватывал тарелку, подносил тётке-судоводителю...

– Зачем Митька в Тбилиси ездил?

– Чтобы найденную тамошними библиофилами «Георгику» проштудировать. Статью о смерти в Питиунте, имперской провинции, Иоанна Златоуста кропал.

– Митька подноготную византийских свар знал, там такое вероломство царило, заслушаешься. Златоуста травили, изгоняли, он, больной, замёрзший, добирался в ссылку через заснеженное армянское нагорье, преследуемый разбойниками!

– Гонителей, Митька рассказывал, всех-всех Бог покарал: одного извела водянка, другой упал с взбрыкнувшей лошади и разбился.

– У третьего гнилая рана образовалась, поганца заживо съели черви.

– А как умирал Златоуст?

– Его мучительно-долго везли из Армении в телеге по тряской горной дороге. Спустились в жаркие миазмы колхидских болот, он был уже очень плох, когда въезжали в крепостные ворота Питиунта, ему поднесли глиняную миску с кислым молоком буйволицы, он, ослеплённый морем...

– Бедненький, жаль его! Какая, наверное, красотища тогда была там! Впервые, до корпусов, у одинокой заколоченной шашлычной вылезла из попутного драндулета, боялась, очушись от счастья – море штормило, меж стволов ярко-ярко синей краской хлестало, и высокие сосны гудели, раскачивались, под ногами – хвоя, мягкая, рыжая-рыжая, торчки белых камней, как древние черепа, и ни души... – возвращалась под власть напористого восторга, залеплявшего глаза, уши, – смотрела и не видела, слушала и не слышала, боялась, разорвёт изнутри.

– Мацони захотелось! С жёлтенькой жирной корочкой.

– Ага! Я обычно завтракала на рынке – банка мацони, помидор, горячий лаваш.

– Лаваш, жалко, не пропечённый. Или горелый.

– Митька почему-то свёл к карнавалу процедуру перезахоронения Златоуста: обрядовые перестроения процессии, ведомой тогдашним вертлявым тамбур-мажором, потешные позы,

экзальтированные жесты. Митька будто сам сопровождал тяжёлую известковую раку со святыми мощами опального, но посмертно прощённого, возлюбленного вновь Патриарха, своими глазами наблюдал факельное шествие сквозь растревоженную ветром ночную рощу, торжественное отплытие корабля, уставшего мотаться в прибое, и – ликование, вакханалию огней на лодках; встречали корабль на рейде Константинополя, бухта занялась пламенем.

– Живого травили, изгоняли, а канонизированный прах встречали, ликуя... любить умели только мёртвых?

– Ну-у, византийцам ни что общечеловеческое не было чуждо! Как и нам, грешным их духовным наследникам! – Бызов крикнул, поставил рюмку.

– Ха-ха-ха, нам-то славненько повезло, глухое место ссылки прошлой Византии стало модным курортом нынешней!

– Как-как реликтовое местечко римляне называли?

– Питиунт, сосна.

– А по-гречески сосна – питиус.

– Не под теми ли соснами приземлился Фрикс на своём баране?

– Тьфу, и тут баран! Баран с юным седоком летели в Колхиду, а Колхида южнее.

– Где была могила святого Златоуста?

– Не доходя Кипарисовой аллеи, если обогнуть мыс, идти по берегу, там, где и теперь кладбище... и одиноко торчит расщеплённый ствол четырёхсотлетней сосны, всё, что осталось от неё после удара молнии.

– Неподалёку, в роще, археологи выкапывали крупные амфоры с согбенными скелетами, покойника умудрялись запихнуть в горлышко.

– Верблюды же пролезал в игольное ушко.

– Слышали легенду? Якобы у древних захоронений куст азалии зацветает осенью, наперекор природным срокам... потом сама убедилась – октябрь, азалия ярко-розовая, пышный-пышный куст под сосной...

– Мы под тем кустом выпивали, на пляже жарко, а там, в тенёчке...

– Цветущую азалию зимой вспоминаю, так к морю хочется...

– На кончике мыса я ловила зелёный луч, – улыбнулась собственным воспоминаниям Таточка, – случалось, везло.

– И мне везло, – кивнула Людочка.

– Зелёный луч? – удивился Гоша.

– Ну да, солнце проваливается в море, последний луч, словно гаснет прожектор, на миг пронзает водную толщу зеленоватым отсветом, его считают приметой счастья...

– Примета оправдывалась?

– Разве мы не созданы для счастья, как птицы для полёта? – прижалась к Шанскому ехидна-Людочка, прикрыв жёлтые, в чёрных обводах веки.

– О, всем хорошим в себе я обязан книге, однако не способен забыть про рождённых ползать, которые...

Пока Шанский выстраивал многоэтажную острогу, Гоша распался, расписывал августовские закаты над Кольским полуостровом, буйную игру красок. – Небо, словно цвето-световая палитра... бах – и лиловый мазок нанесён невидимой кистью, и уже растекается в желтизне, и зеленеватая полоса загорается над изумрудной складчатой тундрой.

– Мне удалось в Старой Гагре поймать зелёный лучик, разочек, – сквозь слёзы шептала Милка, – провожала у морвокзала солнце, вдруг... и – ночь, душная тьма, крупные звёзды. Правда, Ильюшка?

– Бойким был пяточок перед морвокзальчиком пока пицундские корпуса не выросли по кромке рощи, украв гагринское веселье! – оживился Соснин, вспоминал, – смешиваясь с очередью к киоску, который торговал сладкой ватой, шаркала по асфальту разгорячён-

ная желанием толпа, в эпицентре жующего возбуждения громоздилось кресло, вытасненное из парикмахерской, многопудовый потный усач опрыскивал клиента из пульверизатора с грушей шипром, обмахивал полотенцем. . . а по горизонту огнистой гирляндочкой проползал «Адмирал Нахимов», двухтрубный тихоход круизной Крымско-Кавказской линии.

– Полотенце, как парус фелюги, хлопало.

– Музыка с прогулочного катера удалялась, стихала.

– Зато на ресторанной веранде гремела за голубым барьером, там танцевали.

– Ну и что? – не сдавался Головчинер, заостря логический аргумент, – где-то стихала, где-то гремела музыка? Джаз на той веранде и сегодня, завтра, послезавтра будет греметь. И радиоофицерские курортные катера будут отплывать по расписанию на прогулку в море.

– Для других всё будет, понимаете, Даниил Бенедиктович? Для других! – пыталась объяснить Людочка; вслед за Милкой почуяла, что с отъездом Шанского их монолитная компания даст трещину.

– Но это, Людмила Савельевна, извините, солипсизм на сентиментальный лад.

– Почему так грустно молчишь? – придвинулась к Геннадию Ивановичу Милка, – скажи хоть что-нибудь.

– Жизнь не удалась, – покорно молвил Геннадий Иванович.

– И уже не удастся в родных пенатах.

– Паясничаешь или всерьёз намылился? – испытующе глянула сквозь застилавшую глаза чёлку Людочка, повела худым плечиком; да-да, у Шанского с нею был когда-то роман, платонический.

– Я не Моцарт, могу выбирать отечество.

– Тебя-то, языкастого бездельника, чем отечество утеснило? – удивилась Таточка.

– Говорят, ты и лекциями срываешь аплодисменты в престижных залах, – тряхнула огненными патлами Милка.

– О, бездельникам вроде меня лафа – к станку или подымать отстающий колхоз не гнали, в гебуху пригласили на предъюбилейную профилактику, так я, невежливый, предпочёл в Коктебель укатить.

– Меня прошлым летом без всякого юбилея на профилактику вызвонили по служебному телефону, – признался Головчинер, – директор «Физтех» всполошился, что тень бросаю на прославленное детище папы-Иоффе, партком до ночи заседал. На удивление интеллигентно побеседовали со мной на Литейном, я им новинки Иосифа Александровича наизусть, а они в курсе, исполняли хором.

– Чего хотели?

– Им бы каналы тамиздата пресечь, да руки коротки.

– Коротки?! В Отделе Культуры на Литейном триста клерков в погонах.

– За каждым шагом, гады, следят, – поджала губы Таточка, – Валерка в «Европейской» угощал кофе, так гебешник, импозантный толстячок с бородкой, глаз не сводил.

– На тебя не одни гебешники, смею уверить, засматриваются, больно хороша!

– Сегодня тот импозантный, с бородкой, на боевом посту клюквенным пирожным лакомился, Валерка, по-моему, с соглядатаем-сладкоежкой свыкся, если не сроднился, – сказал Соснин.

– Добавились неразлучные в отечественном пантеоне – палач и жертва.

– Увядшая, усталая парочка, друг дружке до чёртиков надоели, а. . .

– Друг дружке Бродского наизусть почитывают, – хохотнул Шанский.

– Не всё так благостно, в психушки сажают.

– И что? Прикажете заранее примерять смирительную рубашку, паниковать? Я, знаете ли, развесёлый фаталист, чему быть, того. . .

– К твоей персоне с верхотуры Большого Дома приглядываются, – предупредил Соснин беспечного болтуна, – Влади жаловался, генерал-гебист после лекций... Таточка нахваливала пирожное: рассыпчатое, яичное тесто, слой взбитых сливок, клюквенное желе.

– За мною шум погони... – зашептал Головчинер.

– Вот я и убегаю благоразумно. И не только от преследований! Нашумевшие в узких кругах лекции я драконовской самоцензурой усёк, наступил на собственное горло, дав петуха в лебединой песне. Илюшка, свидетель моего триумфа, не позволит соврать, – кокетничал Шанский, – но и робкий публичный успех разбередил, признаюсь, не очень чистые чувства. Отгремели жиденькие аплодисменты, самолюбие засосало – стыдливым шедеврам Элика, котельного сменщика, вот-вот откроют двери мировые музеи, а их, этих шедевров, ярчайший популяризатор не достоин всемирной славы? О-о-о, вру, пораньше, за год, наверное, до того, как с продавленного диванчика под тёплыми поющими трубами меня выкинули на слякотный Невский, потянуло смыться из протухшего времени. А что? – мечтательно воздел руки к небу, – славно будет с Кокой Кузьминским в Европах-Америках похулиганить, с прекрасным Иосифом доругаться.

– И Довлатов засобирался, ещё один соискатель славы.

– А Рубин?

– Не рыпается! Кто ему там займы даст?

– О чём, Анатолий Львович, соизволите за океаном с гениальным Иосифом Александровичем доругиваться? – ревниво вскинулся Головчинер.

– У нас давние фонетические разногласия, он, компенсируясь за картавость, злоупотребляет звучащим «р», хотите свежий примерчик? – пошуршал листками папиросной бумаги, – «пленное красное дерево старой квартиры в Риме», пять «р» в одной строке, разве не перебор? Ну хотя бы «старой» чем-нибудь для смягчения, во избежание нарочитости заменил... ну, хотя бы написал «частной»...

– По какому источнику цитируете? – насторожился Головчинер; зачитанную строчку услышал впервые, испугался, что прозевал новинку, – и, пожалуйста, датировку.

– Блеск, Даниил Бенедиктович, поверьте! Эти элегии ещё не публиковались, – надувался Шанский, – возможно, у меня черновой, ибо без даты, вариант, но стишки выпорхнули из поэтического стола, Люся Левина одарила предпоследней копией.

И здесь наш пострел опередил, – не удержал усмешки Соснин; в его-то кармане наверняка была последняя копия.

Уязвлённого Головчинера распирало желание побыстрее прочесть незнакомый стих, однако он, отважный устроитель отечественных премьер зарубежных новинок Бродского, не желал одалживаться, молчал, упрямо наклонив голову.

– После «Земляничной поляны» выходили из «Авроры». Медленно, толпой, через тёмные мокрые дворы пробирались, он... на пятки мне наступал...

– Гениальный почерк во всём, даже в ухаживаниях! – оценил Шанский. Соснин сообразил, Милка рассказывала о знакомстве с Бродским; душа нараспашку, натерпелась от своих влюблённостей, замужеств.

– И сразу, в мокрой дворовой темноте втюрилась?

– Как не втюриться? Глаза такие живые...

– Поматросил и бросил? – пожалел девушку Бызов, – не обидно, что потом другим красавицам наступал на пятки?

– Потом в «Сайгоне» меня будто не узнавал, – Милка с весёлой безнадежностью звенящей браслетами рукой махнула, – я не обижалась, его, гениального, великого, манило бессмертие, поняла, что лучше посторониться.

– Что тебя, восторженную девушку, отрезвляло?

– Забыл? Моя бабушка была любовницей Блока. Он от неё к Дельмас ушёл.

– Ах да! И ты, растяпа, кружевную блузку, которую твоя бабушка носила, когда её Блок лобзал, умудрилась сацибели измазать!

– Помните, из «Гагрипша», после Митькиного дня рождения, в крохотном автобусе с ночной сменой рыбзавода возвращались по разбитой дороге? Вытряхнулись из душегубочки и не могли надыхаться! Пересекли залитую луной рощу, развели костёр на Лидзавском пляже, море – голубое-голубое от лунного света, как днём, и – звездопад... помните? «Адмирал Нахимов» на горизонте пыхтел из последних силёнок, далеко, но музыка долетала, пароход пушистым лучом провожал прожектор с погранзаставы, красные полоски загорались на трубах. А на веранде грузинской дачи с оранжевыми фонариками, той, что за рошей, у замка-особняка Гамсахурдии, запустили плёнку Вертинского.

– Моя бабушка с юных лет увлекалась Вертинским, ещё до революции бегала на его концерты, он на её руках умер, – заговорила Людочка.

– Как это? Ну и пряткие у вас были бабушки!

– Бабушка, безумная театралка, ту же Дельмас в «Кармен» слушала, программки сохраняла, не спалила в блокаду. Перед пенсией в «Астории» коридорной отсиживала суточное дежурство, накануне, когда Вертинский с гостями вернулся после концерта, взяла у него автограф, наутро он собрался позавтракать, но упал у двери номера.

– Кто был тем вечером в гостях у Вертинского? – вдруг строго спросил Соснин, на него удивлённо посмотрели.

– Понятия не имею, тебе-то какая разница?

– Мегерой стала эта Дельмас, мы с ней в одной коммуналке ютились, – сказала Таточка, – а Бродский только и умел поматросить, победы метил над стихами стыдливými буквами-намёками посвящений.

– Не связывались бы с гениями, нашли бы себе непьющих фрезеровщиков, шоферюг, чтобы на руках носили, всё чинили, гвозди вколачивали.

– Где таких найдёшь?! А гении вот они, рядом.

– Чёрствые, эгоистичные, – ища сочувствия, Таточка повернулась к Шанскому.

– Я разве битый час не выворачивал наизнанку их предательское демоническое нутро? – обнял за плечи Таточку, та обмякла, – ну, ненаглядная ты моя! Придумай-ка кару им, растлеваемым небом! Бызов захохотал, надоумил опытом рационально карающей пауцихи, которая выделяет возбуждающий паука фермент, после спаривания пожирает обессилевшего самца, чтобы обеспечить пищей будущего детёныша.

– Сколь же радостней прекрасное вне тела, – врезался Головчинер.

– Не всякого двуногого самца сожрать можно, крупные попадают, – заулыбалась Людочка, – забавно Серёжка Довлатов со мной знакомился, кино! По Щербакову переулку шла, он на Рубинштейна собачку выгуливал, огромный, в шлёпанцах, халате с кистями, будто с постели встал, тут ещё милиционер... И хоть не великий Серёжка, если забыть о росте, тоже не узнавал потом.

– Серёжка со своей норной собачонкой на улицу, как на охоту, выходил, по Щербакову переулку столько красоток шастало, помню, сам там жил! А узнавали ли потом вас, не узнавали, вляпались вы, золотые мои, в историю! – заискрил прищуренными глазками Шанский.

– В какую историю? – вскинула голову Милка.

– Историю литературы хотя бы.

– Не понимаю.

– Сейчас поймёте, – Шанский полез в карман за папиросными листками, пожевал язык, с чувством прочёл:

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.

Бюст, причинное место, бёдра, колечки ворса.

Обожжённая небом, мягкая в пальцах глина –
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.
Вы – источник бессмертья: знавшие вас нагими
Сами стали катуллом, статуями, траяном,
августом и другими. Временные богини!
Вам приятнее верить, нежели постоянным.

.....

У Милки вновь заблестели слёзы, Таточка и Людочка онемели, Головчинер, сгорая от зависти, ниже наклонил голову. Шанский с картинной замедленностью складывал листочки папиросной бумаги.

– Толенька, и после этого ты нас бросишь, уедешь? – очнулась Милка.

– Удар ниже пояса.

– Сердце колотится... Шанский положил ей руку на грудь, – сердцу не хочется покоя?

– Хватит дурака валять, – брызнули в который раз слёзы.

– Не плачь, в Петербурге мы сойдёмся снова.

– В Петербурге?!

– Всё может быть, – закуривал московский теоретик.

Головчинер моргал, не находя слов.

– Ладно, смахнули лирические слёзы, – скомандовал Бызов, – понадеялся выскользнуть, пока не закрутили гайки?

– Не закрутят, гаечный ключ потеряли.

– Что же тебя гонит, маразм утомил? Давай серьёзно...

– Ех пово. Пусть брежневизм поступательно и семимильно вползает в фарс – время ли остановилось, зеркала ослепли. Но наскучил, наскучил мне неизбывный, бесплодный внутренний спор славян, а увидеть крах последней Византии не хватает воображения.

Московский теоретик пожал плечами. – Поживём – увидим.

Головчинер намазал на ломтик пирога масло.

– Толенька, ты с полчаса тому в крушение Византии верил, поддакивал.

– В еврейской башке мысли оборачиваются чересчур быстро и безжалостно одна другую изничтожают, ещё через полчаса я, возможно, опять поверю и раздумаю ехать, так намыленным и останусь, устыдившись злорадно взирать на эпохальный крах из комфортного далёка по телевизору. Но пока, на сей момент, разуверился я проснуться в прекрасном завтра, когда трамваи за окном уже при капитализме катят. Ко всему, – вздохнул Шанский, – заточение в петербургских декорациях, копирующих европейские эмблемы и силуэты, невольно выливается в репетицию эмиграции.

И, стало быть, в репетицию ностальгии, – подумал Соснин.

текст, два контекста и тьма для чёрта (шумное молчание)

Импровизируя ли, утилизируя отходы своих лекций, Шанский зацепил язык Петербурга, его герметику, химеричность и – открытость. – Вот, – вяло повёл загорелой кистью, – двор, втискиваясь в раму, и сам сжимает, гнетёт, но справа стена проламывается, пространство выплескивается.

– Откуда? Куда? – сжимая зубами трубку, процедил Бызов.

– Из немоты постылой трёхмерности в... – Шанский хитровато глянул на посвящённых: воплощение научной корректности, давал сноску на давние – дай бог память! – штудии Бухтина. – Вот, контекст картины выплескивается в воображаемый текст.

– Красиво, – затянулся Бызов, – усечь бы к чему клонишь.

Шанский и рад-радёшенек. – Площади, улицы, реки, окаймлённые домами-фасадами, брошюруются коллективным восприятием в петербургский роман, в нём год за годом усложняются фабула, сюжетные ходы, даже композиция, о да, о да, обновляемый контекст непрерывно подзаряжается культурно-историческим опытом. Подмигнул Соснину. – При этом панорамность, протяжённость читаемого одномоментно текста, сотканного из разностильных фрагментов, обретает четвёртое измерение и вовлекает в драму – пространства, которые сформированы пластическими отражениями разных эпох, завораживают образом текучего, но зримого времени, по нему, собственно, и петляет глаз.

И это не всё, не всё.

Не переводя дух, Шанский углубился в лабиринт дворов, где гнездились-нагнетались сущностные темноты города, его невнятный, второй контекст. Снаружи – застылые уличные гимны, симфонии площадей. Внутри – удары лома, шарканье лопаты, фырчание мусоровоза, визг и плач, мат, транс и бред под патефоны, радиолы, магнитофоны на подоконниках, которые озвучивают модными мотивчиками заповедные ячейки городской вечности. Во дворах нет места и повода для пространственно-временной драмы, разыгрываемой исключительно в напряжённом знаковом поле; в очереди голых лапидарно-абстрактных дворовых форм знаков нет, время стоит. За стилями-фасадами, за знаковыми развёртками улиц свернулась ячеистая изнанка, необъяснимо волнующая, сводящая с ума – затхлость, вонь, тлен потаённых пустот, чёрные лестницы с разновысокими косыми ступенями, студенты с топорами, шпана, чертовщина. А индивидуальные смыслы дворовой изнанки улавливаются по наитию в пожизненно-долгом одолении лабиринта – плутая, горожанин торит свой мифологический путь.

– Геночка, забудь на минутку про мировую скорбь, – в слое крем-пудры на Милкиных щеках ещё угадывались извилистые следы слёз, – сегодня, сейчас почему тоскуешь?

– Сегодня в окнах между дождями брендмауэры фотографировал, – болезненно улыбался Геннадий Иванович, – они околдовывают серо-охристым лаконизмом, они, словно загрунтованные, но забытые ли, брошенные холстины; обещают шедевры, хотя не умеют привлечь внимание, – отпил вина, – от них отворачиваются. Вообще-то брендмауэры, как срезы по живому: не владея языком знаков, выразительно расчлняют время, отчлняют будущее от прошлого. Но и сшивают, так ведь? Печальные отпечатки и будущего, и прошлого, обманчиво-пустые внутренние грани города, очутившиеся снаружи.

– Голенькие, сиротливые, тебе их жаль?

– Пожалуй, их нагота стыдлива и беззащитна.

– И чревата семиотическим коллапсом! – пугнул Шанский, – по обыкновению мы разгадываем знаковые возмущения на голом фоне, вникаем в некий знаковый ритуал, выделяющийся на плоскости, как рельеф, и на тебе – оголённые плоскости брендмауэров очутились снаружи, выпирают из насыщенного знаками фона.

Эффектно помолчал, задался вопросом:

– Ослепшие зеркала, интровертная живопись... Петербургские формы и ландшафты разве не интровертны?

Задев локтем салатницу, снова повернулся к холсту. – Пространство выплескивается во время, второй, дворовый контекст – в собственно городской текст.

Шанский не успевал додумать мысль, слова торопили. – Два контекста, внешний, культурно-исторический, и внутренний, мифологический и экзистенциальный, сливаются таким образом в третий, метафизический.

– Сколько контекстов, три? – уточнял Головчинер.

– Красиво, но темно, без косых ступеней чёрт ногу сломит, – ворчал Бызов.

эврика!

Вот-вот, именно: текст как город.

Бухтин, главарь новых филологов, фонтанируя, искал наощупь, будто слепец, соединительную ткань, искал, да не находил. А вот она – Шанский вылепил из петербургского бреда пространственно-временную модель срастания мифологического, экзистенциального, метафизического.

– Сегодня днём с Валеркой попиrowал, – напомнил Соснин, – он, в даль свободного романа заглядывая, сболтнул, что... И Шкловский Виктор Борисович, как ни удивительно, одобрил идейку, правда, обозвал Валерку филологом-утопистом.

– Молний с бисером щедрый метатель, – улыбнулся Головчинер, – кого ещё из великих мира сего наш экстравагантный друг за отчётный период успел обаять и обратить в свою веру?

– Элизабет Тейлор! – выпалил Шанский и, взорвав недоверчивую тишину, под нарастающий хохот Валеркину историю пересказал.

И тут опередил! Когда, как успел, ведь был в Коктебеле? – вновь восхитился феноменальной осведомлённостью и быстротой Толькиных реакций Соснин.

А-а-а, ничего феноменального... Шанский поведал о встрече с Валеркой в Лавке Писателей, все новости разузнал... с Бызовым уже и Льва Яковлевича, наверное, помянули, Бызов ведь спросил сразу, едва нашёл паузу. – Слыхал, машина сбила на Загородном? Задушил бы ту суку, что за рулём сидела... а-а-а, до Лавки Писателей, надо думать, забежал в Дом Книги, получил у Люси Левиной предпоследний экземпляр «Римских элегий» на папиросной бумаге, повсюду пострел успел, – Соснин закончил собственное расследование, а Шанский свернул в сторону, понёсся вдоль монотонных ампириных фраз, мимо барочных восклицаний.

– Восклицательные знаки ночи! – благоговейно прошептал Головчинер.

между строк магического черновика

– Слипание каменных случайностей в чудесную цельность заставляет и холодных созерцателей захлёбываться восторгом...

– Призрачность твёрдокаменной красоты...

– Две стихии, камень и вода, пространство и время – сливаются, ибо река течёт через город...

– У меня холодильник сломался, воды натекло... – пожаловалась жене Художника Людочка, – едва починили, опять сломался.

– Новый не купить, запись на пять лет вперёд.

– Чистая шерсть? Крючком или на спицах вязала?

Заморочил головы Шанский; обратимость пространства и времени в петербургском тексте вкупе с выплесками контекстов возбуждали, воодушевляли, выстраивали не только взгляды художников, но – как оказывалось – долгосрочные художественные перспективы. Город-предвосхищение патронировал всем ведомым и неведомым пока что искусству измам. Слов нет, сплавляя гранитно-штукатурную твердь с водной рябью, ветром, узорами людских судеб, время-пространство возводило уникальную творческую лабораторию, в ней всякий образ двоялся, порождал протяжённые гулкие ритмы-рифмы, рассыпал осколками отражения, собирал их внезапно в многогранный кристалл, добровольные же узники петербургской магии улавливали-преломляли намёки будущего. Не страдая ложной скромностью, Шанский и своё служение в котельном подвале поднимал над тихим, с привкусом антисоветчинки, мученичеством,

сожалел о длинной цепи остроумных хеппенингов и живых пластических инсталляций, которыми прославилась в богемном подполье его котельная, но которые, увы, потерялись для культурной истории.

Да, околдованные петербургским текстом – в любом виде искусства, в любом жанре, при любой индивидуальной нацеленности – соблазняются продолжением; так тянет прочесть ещё не написанную страницу, что они на свой страх и риск её сочиняют.

Однако авторитет петербургского текста заведомо столь высок, что любой сочинитель мнит свою приписку к нему всего лишь черновиком. Израненные снисходительными усмешками вечности, упрямыцы сторонятся чужих взглядов, ютятся между строк своих сочинений в мучительно-неудобных позах, тайно верят, что черновик близок к совершенству, но – правят, правят, в соавторстве с городом, строчат и правят, не решаясь поставить точку. Заражённые болезненной бледностью неба, сросшиеся с чахоточной каменной плотью, они лишь внезапно отделяются от стен, пошатываясь, жмурясь от неожиданного солнца, бочком выходят из темени подворотен...

привидения на свету

– А усядутся в кружок, выпьют, – посмеивался Художник, – так, словно выпрыгнувшие из зеркал рожи цвета задымленного заката, спорят до хрипоты о том, сколько чертей уместится на кончике шпилья в обнимку с ангелом.

– Слыхали, слыхали про нашенский миф, про неотразимые миазмы вдохновения, источаемые заболоченным невским устьем, – набычился Бызов.

– Блистательным захолустьем! – миролюбиво хохотнул Шанский, вполне серьёзно заговорил о благотворном, оплодотворяющем залпе космического лазера, которому почему-то приглянулось гиблое место.

Московский теоретик затянулся сигаретой, мягко напомнил по аналогии о мистическом каталонском эффекте, о парниковом чуде Барселоны, внезапно одарившей искусства чудесным явлением Гауди, Бунюэля, Дали, Пикассо, Миро. В доказательство пустил по рукам открытку; на фрагментарный, с разновеликими лепестками стёкол, витраж фантастично свисали каменные лохмотья «Святого семейства».

– У нас всё не как у людей, иначе! На невских берегах минорные гении от сырости, как плесенные грибки, заводятся, – упорствовал Бызов.

– Минорные, но – неистовые!

Презрев биологическую версию Бызова, щедро отдав мажорность на откуп зычным певчим околкремлёвской соборности, которые и слабого издательского шанса не упустят прогорланить городу и миру очередную глупость, Шанский знай себе превозносил тихих, потравленных знаковой петербургской эссенцией одиноких чудиков, их вялую самоуглублённость, призрачность, словно у лиц, являющихся нам в сновидениях.

– Смогут потом когда-нибудь понять, кто мы были? Кто мы, если из будущего посмотреть или хотя бы со стороны? – встрепенулась Милка.

– Извольте слушать, Эмилия Святославовна, извольте:

Мы были музыкой во льду, –

с готовностью привстал Головчинер, попросив прощения за манерные прозаизмы гения:

Я говорю про ту среду,
С которой я имел ввиду

Сойти со сцены...
И сойду.

- Чересчур высоко для нас! Мы не честолюбивые, безответные.
- И льда уже нет, холодильник сломался!
- Тогда извольте послушать другого гения, – вытянулся во весь рост Головчинер; с давних пор любил эту строку повторять:

Полночный хор сомнамбул, пьяниц...

Милка громко заплодировала, её охотно поддержал Шанский.

Бызов растерянно отвёл в сторону руку с трубкой.

Даже Гоша подивился точности попадания.

– Сочинят стихотворение и ну шлифовать, а дошлифуют, так и слова не оставят из тех, что поначалу казались незаменимыми, – любезно улыбался Милке Головчинер, пробуя пальцем на остроту седоватый щетинный ус.

– И будто бы не стихи остаются, гул от них, в котором новые стихи должны народиться, будто бы звучит пока смутный, но заносчивый замысел.

– Ещё не музыка, уже не шум, – отчеканил формулу Головчинер.

– Вот-вот, шлифуют, пока игра словами не преобразуется в игру слов. Каждый сам по себе – неприкаянные пьющие одиночки, с творческими соперниками чуть ли не на ножах, однако, потакая волшебному объединительному позыву, вменённому славой, бедами Петербурга, сплываются в хор, простуженно поют безысходное величание городу; их мучит и окрыляет своевольное таинство его судьбы, этакого слепка дерзких мечтаний коллективного бессознательного, – с шипящим свистом сглатывал слюну, – это не корневое, не нутряное, утробное... худосочные дети отражений, лишённые вкуса к публичности, они погружены в туманы субъективности, в тихое своё помешательство, на людях тратятся в выпивке с битьём посуды; неприкаянные, а страсти до тла сжигают... запомнил, – Шанский остерегался пафоса, – что сжигают за собой: мосты, корабли?

– Ты хоть встречал вне текстовой темени эдаких безумцев, холодным огнём горящих, пил с ними? – басил Бызов, вешая на спинку стула пиджак.

– О, цистерны спирта, танкеры алжирского красного выпил с ними и сейчас пью, – нашёлся Шанский, повторил не желавшему слушать и слышать Бызову про задымленные пьяные рожи, – разве сии картины не заговорены мистическим окружением? – соскользнул взором со стены, качнулся к Соснину. – Водку, коньяк? Стареющий мальчик с искристыми глазами, безвольным красивым ртом.

– Удел таланта, – опрокинул рюмку Шанский, – беспощадный духовный изоляционизм, в нём талант растёт, развивается, и вряд ли на земле есть место, где идея индивидуального творческого роста торжествует столь очевидно... Петербург – это аналог пещер, в которых испытывали свой дух пустынники.

– Здесь мне сновиденье явилось, – молитвенно зашевелил губами Головчинер.

– Да, таланты возрастают в тишине, в одиночестве, даже затворничестве, а характеры рождаются в волнах житейского моря, в штормах его, и в этом смысле наша провинциально-тягостная застойность оказывается благотворной, талант на поверхностные бытийные треволения не отвлекается.

– Таланты, которые на вечность не ставят, из квёлой, застылой нашей Пальмиры в бурлящую Москву спешат смыться. Характеры для воплощения ищут?

– Ну-у, мало-по-малу характеры повсюду тускнеют, воплощение характеров искусство не занимает, если преодолена инерция реализма. И не всякие честолюбивые таланты в Москву

смываются, отчаявшиеся – эмигрируют, а те, кто чего-то уже достиг, напечатался, и потерять достигнутое боятся.

– Чего бояться-то? Обкомовских козней?

– Забвения, захоронения заживо! Хотят широкой известности, славы и не когда-то, а побыстрее, лучше – сразу.

– Здесь жить, словно спать в гробу, – подтвердил Головчинер.

– Валерка об успешных перебежчиках сегодня порассуждал, – Соснин отпил водки, – к примеру, Битов, напророчил Бухтин, в Москве станет другим писателем, скорей всего, очень хорошим, большим писателем, сравнимым по масштабу с тем писателем, каким был здесь, но творчество одного с переездом оборвётся, другого – начнётся... короче, литература получит двух больших писателей вместо одного, но зато, возможно, великого.

– Вечный спор синицы в руках и журавля в небе!

– Петербургского журавля Битов поймал уже, можно какими-нибудь будущими московскими синицами удовлетворяться, – информировал Шанский, – «Пушкинский дом», поверьте, примут как великий роман; Шанский, конечно, первым получил доступ к рукописи, оценил.

– Когда издадут? – заволновался Гоша, он ловил каждое печатное слово Битова; недавно хвастал, что выменял на десятикилограммовый макулатурный талон «Уроки Армении».

– Когда рак свистнет, тогда и Битова издадут, – сказал Бызов, – надейся и жди.

– Почему? Трифонова же напечатали, а после «Дома на набережной»...

– Повторяю для невнимательных: «Пушкинский дом» претендует на титул великого романа. Понимаете? – великого.

Головчинер равнодушно жевал, – прозой не интересовался, не видел в прозаических текстах ничего достойного вычислений.

– Что ещё у нас есть великого?

– Поэзия Бродского; Головчинер, не переставая жевать, прислушался.

– Кушнер не дотянул?

– Голосок тихий, тонкий! Застрял в условном закутке между большим и великим.

– Шемякин?

– Мишка на петербургском мифе сделал талантливую коммерцию, по обе стороны океана купается в публичном успехе.

– Есть, есть спрятанный от глаз великий – Филонова тихо гноят в запасниках!

– Скоро киношника великого опознаем, – Шанский проник, когда погасили свет в просмотрном зальчике, на худсовет «Ленфильма», посмотрел в узком кругу «Двадцать дней без войны».

– И есть учёные с космическими приветами. Гумилёв, создавая свою теорию пассионарности, узрел убийственные инстинкты саранчи, вспыхивающие в человеческих ордах; Козырев посягнул экспериментально измерить энергетику времени... Головчинер, оживившись, кивал. – Да, идеи безумные, хотя в козыревские вычисления, предварявшие эксперимент с юлой на южном полюсе, закралась обидные погрешности.

– Да-да, в сосредоточенном на себе, интровертном Петербурге непрерывно варится питательнейший бульон эзотерических замыслов; изводящие, тяготящиеся невнятиностью, темнотой, они вдруг разрешаются непостижимо-весомыми картинами, книгами, лентами, в явление которых было невозможно поверить... Мысли, слова Бухтина и Шанского переплетались. Когда это говорилось? Когда-то, в чебуречной, в «Щели»? Сегодня днём, в «Европейской», или – сейчас?

– Ну-у, ловлю на слове! – рубанул ручищею Бызов, – натуральные дарования хиреют, пропасть хладная разверзается.

в ухе банан?

– Ха-ха-ха, – затрясся Шанский, предвкушал ответный удар, – ха-ха, что торчит у тебя из уха? Повторяю громко, отчётливо: самую натуральную, самую полнокровную реальность время опустошает, холодно обращает в знак; а Петербург богом ли, сатаной был назначен опытной лабораторией, где время опробовало тайные свои технологии. Но лабораторная фаза минула – тотальная экспансия знаков, ускоренная их оборачиваемость и взаимная обратимость меняют нынешнюю реальность.

Головчинер медленно поднялся в полный рост, в наступившей тишине многозначительно поднял рюмку и, подводя предварительные итоги интеллектуального падения, с глухой угрозой упрекнул человечество:

Поверили, что кружится земля
Абстракциями глаз обезоружили
Искусственную правоту суля
Естественную истину порушили

после смерти признаками жизни манипулируют знаки

– Такова жизнь, убывающая в иллюзию, – время выдувает душу из форм, обращает их в знаки, знаки же повествуют о посмертном, потустороннем; город-некрополь – точнейший образ! Разве петербургские дома – не надгробия на могилах художественных грёз и стилей?

– Но люди-то, люди в этих домах – живые! – орал Гоша.

– Исключительно по инерции, – очаровательно усмеялся Шанский, – люди меняются, отдавая богу и продавая дьяволу души, меняются наперегонки с реальностью, где искусство зачинается самим искусством, сюжет осваивает анемию бескровных уз.

– Так и младенцы будут рождаться сразу в потустороннем мире!

– Почему нет?

Московский теоретик примирительно выдохнул голубое облако, прищурился. – Безжалостное кино отлично иллюстрирует необратимость ускоренного вытеснения означаемых знаками, приучая видеть на экране как танцуют или целуются умершие актёры. Совершенствуясь, коммуникационные видеотехнологии последовательно усиливают упоминавшееся уже оболстительное давление означающих, компьютер и вовсе обещает загробную творческую жизнь, о перипетиях которой актёры и не подозревали: заложив в базу-программу их внешние и игровые данные, можно по оригинальному сценарию сделать абсолютно новую ленту.

Шанский подтвердил, что Дзефирелли сочинил либретто и заказал музыку кинооперы с главной партией для Шаляпина.

– Страшно поющим и пляшущим покойникам аплодировать, мёртвая Мэрилин Монро задирает ноги, кривляется, вам не страшно? – смущённо обводила всех взглядом Милка, – я бы ни за какие коврижки не согласилась, чтобы меня вместо живой показывали, я бы танцевала, какие-нибудь глупости говорила, а мои бы косточки в земле гнили.

– Говори умные вещи!

– Особенно, когда танцуешь!

– Такого и вовсе себе не могу представить, – рассмеялась Милка.

– Учтите, Милочка, – нежно наклонился к ней московский теоретик, – трупы, исполняющие канкан, это цветочки, наши желания и нежелания не в счёт, будущее всё настырнее примутся заселять визуальные и голографические призраки, диковатая фёдоровская идея воскрешения мёртвых таким образом...

– Покойники вперемешку с живыми будут в метро толкаться? Кошмар!

– Спасенья нет! – вскинул ручищи и сразу потешно сгорбился, опустил могучие плечи Бызов, – всё, к чертям собачьим добропорядочную консервативную маску, – признался, в группе, исследующей проблемы искусственного интеллекта, математики похожим моделированием заняты, в воспроизведении и варьировании голосов умерших коллег из Калифорнии обогнали.

– Ваша научная группа, обогнавшая заокеанских коллег, плетётся в хвосте поэзии, мертвецов голоса слушал ещё... – Даниил Бенедиктович с ехидцею процитировал известные строки.

– О-о-о, эхо отменно в петербургских декорациях резонирует, – довольный Шанский потягивался.

ГУЛ

– Слова, слова порождают...

– А цель где?

– Обрыдли социальные цели, начертанные злобой дня ориентиры; цель живописи – живопись, поэзии – поэзия, то бишь – новый порядок знакомых слов.

– Новый?

– Ну да! Правда, первопроходцы частенько оставались в тени, хотя бы Анненский – все серебряные новаторы воровато залезали в «Кипарисовый ларец», – петушился Шанский.

– Пугал, пугал акмеистов двадцатый век, хотели его, грозящего невиданными бесчинствами, попридержать! – кольнул голубым глазом Геннадий Иванович.

– Как не испугаться? Эпоха надломилась и...

– Ну-у, разные бывают испуги, это – испуг эстетический. Из серебристых сумерек символизма метнулись к свету, который струился из золотых веков... сзади, сзади, откуда-то из-за спин. Гениальные новаторы-реставраторы почуяли, что грядёт крах культуры, укрылись в традиции, шлифуя свой неоклассический стих, вот-вот, шлифуя, как истинные петербуржцы, до совершенства.

– Романтичен лидвалевский модерн символистских лет, сухи фасады с приклеенными пилястрочками, карнизиками, потрафлявшими неоклассическим ожиданиям, – Геннадию Ивановичу аккомпанировал Шанский.

– Дома растут как желанья, – кротко напомнил Головчинер.

– Бессмысленно сталкивать трансцендентность символизма с акмеистской вещественностью.

– Тем более, что символизм – целостный стиль, все искусства пронзил и покорил, тогда как акмеизм – обойма разнородных поэтических гениев.

– Всё о прошлом, о прошлом, сейчас-то поэзия забуксовала.

– А Бродский?

– В хвост и гриву новомодную агрессивную отражательность распушили! Да, миметическое описание мира сдаётся на милость семиотическому, однако гениальный Бродский, истинный и истовый петербуржец, в самом эффекте отражения усматривает переключку с рифмой, – Головчинер машинально привстал. – Петербург и Венецию, удвоенные водой, Иосиф Александрович ценит и по-отдельности – как живые источники поэзии – и вместе – как отражающи-

еся друг в друге воплощения двойственности... вода – топливо в моторе концентрированной поэтики.

– Сомнительный комплимент, – засмеялся Шанский; Головчинер осёкся.

– Венеция – закрытая тема, после всего-всего написанного о ней, после туманно-бликующей, белёсо-голубой ленты Висконти.

– И Петербург – закрытая тема?

– Если вдохновляет на постылую рифму!

– Прикажете прививать русскому стиху, отбивая хлеб у вас, многоуважаемый Геннадий Иванович, чужеродный верлибр?

Геннадий Иванович молчал с каменным лицом.

– Чем же верлибр чужероден, он органичен вполне.

– У нас заумная европейская бесформенность не приживётся.

– Ещё как приживётся, чай не византийские скифы мы – европейцы.

– Опостылела зарифмованная памфлетность вкупе с куплетностью! Когда строка начнёт взламывать строфу со школярски-обязательной рифмой? Чем защита рифмоплётства оправдывается? За акмеистов новые поэтические поколения, боясь свободного плавания, держатся, как за эстетический якорь.

– За что держаться порекомендуете?

– За язык, за Петербург, простите за высокопарность.

Друзья мои, – опять привстал Головчинер, – держитесь за перила,
За этот куст, за живопись, за строчку,
За лучшее, что с нами в жизни было...

– Акмеистов, корифеев стиха, а вовсе не школяров каких-то, не пощадили, – проворчал Бызов.

– Скорблю. Только я об эстетике, не о политике.

– Зазорно ли залезать в чужой ларец? В переключке поэтических голосов явлен гул зрелой культуры, вся поэзия – одна великолепная цитата, да-да, любезные дамы и господа, цитата – это цикада, она звучит во времени, всегда удивительно. И продолжу, – заулыбался, кривя рот, Головчинер, – цикада жадная часов, зачем твой бег меня торопит?

– Пора бы без помощи цитат обходиться, писать своё время, – полыхнул голубым огнём Геннадий Иванович.

– Пора для взаимопонимания выпить, – потянулся к бутылке Бызов.

– Извольте наливать, чокаться! И позвольте возразить на закуску: поэзия не страшится будущего, но, прозревая его, оглядывается, чтобы загодя причаститься к кошмарам, которые затаились в прошлом, угрожая вырваться в будущее, да-да, оглядываясь, видим лишь руины, но когда ещё их увидели символисты! Любопытен эффект фонетического контраста, заряжающего взрывчаткой образ, – делился стиховедческой находкою Головчинер, – вспомните: «оглянись внезапно назад, там, где было белое зданье, увидишь ты чёрный смрад». Было, белое – плавная элегичность «л» напарывается в «чёрном смраде» на разрушительную неотвратимость «р».

– Ах, символистские духи выветрились, туманы рассеялись, – жеманно всплеснул ладошками Гоша.

– Не зарекайтесь, символизм, повторю, единственный устойчивый русский стиль, он заразил тревожными предчувствиями всю культуру. И это не только волшебное прошлое, флёра не осталось, но...

– Осталось великое искусство двадцатого века, искусство дисгармоний, абсурда, ужаса перед хаосом, дерзкого вызова хаосу, насмешки над ним и сладкоголосыми утешителями, – закипал Геннадий Иванович.

– Геночка, Геночка, прочти-ка лучше что-нибудь из абсурдистских сонетов, и целиком, а то Даниил Бенедиктович отрывком заинтриговал, – Милка, с изящной манерностью тряхнув спутанной огненно-рыжей гривой, заглядывала в глаза поэта, он отнекивался, наконец, согласился.

О злобный Хронос! О дыхание тьмы!
О тьмой объятые вселенские просторы!
Во тьме охотятся ежи, коты и воры,
Во тьме сияют светлые умы.

Геночка скопился в самодельную книжечку, которую на случай забывчивости открыл на закладке из золотистого атласного лоскутка:

Не убегайте от тюрьмы и от сумы,
Не прикасайтесь к ящику Пандоры,
Не покушайтесь на золотые горы,
Любите с детства киммерийские холмы.

Блестят на солнце крылья стрекозы,
Никто не жмурится – все любят яркий свет.
Из глаз убийцы покатались две слезы.

Боюсь судьбы, страшусь дурных примет,
Люблю проснуться ночью от грозы.
Мой бедный Хронос, вот тебе сонет!

– Авангардизм мёртв! – воскликнул не терпевший абсурда Гоша, – от тайной свободы, сломя голову, авангардизм кинулся к явной, но во вседозволенности отдал концы, – Гоша безглаголиво морщился, не скрывал торжества.

Поэт обиженно захлопнул книжечку.

– Импрессионизм не мёртв? – взъелся Шанский, – а классицизм? Стили умирают вслед за породившими их эпохами, воскресая в россыпях знаков, обретая вечную жизнь в культурном пространстве.

– Не только Анненский, Ходасевич недооценён, – вклинился Головчинер, – режущая точность стиха, прозорливость, он-то ничего не боялся!

– Гнилушка ваш Ходасевич! – передёрнулся Геннадий Иванович, воцарилась тишина.

никаких цитат

– Геночка, почитай из новенького и не рифмованного, я прошу, а кто против абсурдизма с авангардизмом... – настойчиво завершала Милка.

– Да, да, почитай верлибры, – поддержал Милку нестройный хор.

Рыжебородый, с чётким античным профилем, Геннадий Иванович открыл наугад книжечку с оклеенной тёмным пёстрым коленкором обложкой, ледяные голубые огоньки полыхнули в глубоких глазницах; начал размеренно, с лёгким подвыванием:

Придумаю себе возлюбленную, – и, резко выставляя ударения, –

Пойду-ка я по Мойке!

С печалью в сердце
пойду по Мойке
дойду до Пряжки
и остановлюсь

постою
погляжу на Пряжку

И потом:

На побережье океана безумия
живу тихохонько
разума своего
стыдясь
океан выбрасывает на песок
тела свихнувшихся дельфинов
и обломки тронувшихся кораблей
а там
на безумном кривом горизонте
маячат паруса
рехнувшихся яхт
и оттуда
день и ночь
дуют сумасшедшие ветры

на безлюдном побережье
живу в тоске
рассудок свой
ненавидя

лишиться бы рассудка
и поплыть в океан
в надувной резиновой лодке
с волны на волну
с волны на волну
безрассудством своим
упиваясь!

– Жизнь не удалась, зато стихи удались, грустно... – не удержалась Милка; голубые льдинки в глубоких Геночкиных глазницах окутались благодарной влагой.

Поэзия – это скоропись озарений, – думал Соснин, – а проза – изнурительная повинность, перелопачивание слов, вдохновляемое наивной верой в освобождение.

прозаическая перебивка

Стороженко перезвонил. – Владюша, я не забыл тебе сказать, что связи у него, мягко сказать, сомнительные? Сегодня с диссидентом в «Европейской» завтракал, коньяком разило... не волнуйся, он сам себе петлю на шею накиннул.

немного о прозе (вразнобой)

– Итак, итак, не только родина слонов, но и формы во всех её проявлениях, включая аморфность, которой, как водяной, болен русский роман... сколько поучительно-восторженной скуки по разбухшим томам разлито, и абсурд... – пыхтел Бызов.

– Из скучной и грустной городской жизни не торчат уши Хармса?

– Наш абсурд – не выдуман, – намертво вмёрз в быт, не вырубить топором.

– Слыхали? Вдова...

– Не цепляйся за слово...

– В принципе нельзя выкинуть из головы то, что знаешь и узнаешь каждый день, столько чепухи нынче питает прозу, вот и разбухают тома.

– А художественное бессилие понуждает красть чужие сюжеты, образы, авось перебросят в новом контексте.

– Слыхали? Вдова Хармса вывезла в эмиграцию чемодан мужних рукописей, они попали к проныре-румыну по фамилии Ионеску и...

– Вот-вот, не только родина слонов, но и всемирного...

– Но разве вне индивидуального опыта, чувства...

– Сами по себе событие, порыв чувств – суть элементарные проявления мелкотемья, крупное, оригинальное обнаруживается лишь в интерпретациях!

– Как впадают в бессюжетную болтовню?

– Упиваясь нутряной мутью...

– Вот-вот, разверзлась бездна, слов полна...

– В подлинном произведении нет места излишествам, всему тому, что лишено направленности...

– Какая самоуверенность! А если не доросли до понимания художественной направленности вроде бы лишних, задерживающих движение сюжета подробностей, реплик? Ещё Блаженный Августин, проницательнейший из толкователей Святого Писания, обращал внимание на то, что в Библии непомерное число слов посвящено незначительным описаниям одеяний, благовоний, не в таких ли описаниях ключ к символике, аллегоричности главных событий и фигур текста?

– И значит можно описывать всё, что есть на белом свете, всё-всё?

– Что ответят наши эстеты?

– Можно, – отвечал за эстетов Шанский, – поскольку всё-всё было уже описано, нынешние описания способны лишь менять взгляд, ракурс.

– Где было описано?

– Я же говорил где, в Библии!

– Хватил, Библия! Пока дорастём до понимания ключевой роли нынешних незначительных описаний, набултыхаемся в графоманской жиже.

– Но-но! – грозил Гоше Шанский, – к ославленному союзом писателей графоманству естественно тяготеют гении, не замечал? Профессионалы пера ориентированы на результат,

раздраженные авансом, торопятся получить весь гонорар, гениальность же – своего рода дилетантизм, стихия гениальности, как и графоманства, – процесс.

– Так-с, столы у гениев переполнились, куда неизданные шедевры складывать?

– Свифт уподоблял издаваемую рукопись публичной женщине. Вылёживаясь в столах, рукописи хранят девственность, потом – тираж, распродажа, хвала, хула.

– Но хочется славы! Даже Кондратов, Грачёв пообивали пороги редакций.

– Напечатали бы их нетленку, превратили из гениев в советских писателей! Скучно.

– Можно ли что-то весёленькое придумать?

– Довлатов, искромётный увалень, с бодуна надумал славу поиметь за кордоном.

Шанский радостно закивал, захлёбываясь слюной, выдал давнюю, на заре «Сайгона» рождённую байку об амбициозном писаке, который вместо того, чтобы засесть за эпохальный роман, сочинял нобелевскую лекцию.

– Всё-всё успеть хотят, кажется, в последний раз пишут.

– Жалкие оправдания! Не способны к самоограничению, тянут в текст всё, что на глаза попало, угнетают скукой, монотонностью.

– Не забываете, большое сочинение заимствует у времени монотонность.

– Ну да, время виновато во всём!

– Столько умников, объясните мне, наконец, что такое время, – распахнула глазищи, посмотрела на часы Милка.

– Хочешь историко-идеологическое, строго-марксистское объяснение? – отозвался Шанский, – ну так вот, время – это абстрактная субстанция, превращающая светлое будущее в проклятое прошлое!

– Говорил, что рай – в прошлом.

– О, – это исключительно для чутких, ранимых натур, а для самой передовой идеологии рай никак не может располагаться сзади!

Геннадий Иванович заметил, что искусство изловчилось под сапогом идеологии жить. – Давят, плющат, – нипочём, чуть отпустят – все воспевают глоток свободы. Однако, если совсем отпустить, – предостерегал с грустной усмешкой, – взорвёмся, как глубоководные рыбы, выброшенные на песок. И лопнут дутые репутации! Наверное, до слёз будет весело.

– Не будет! – качнул головою Шанский.

Головчинер не замешкался, попотчевал скучным стишком Кривулина:

Начали давить и не пущать
И дыханье новое открылось:
Наглой власти крепостная благодать,
Почва наша, божеская милость...
Людам, чей младенческий урок
Проходил под мертвенным портретом,
.....
.....

– К веселью мы плохо приспособлены, – дожеввал Головчинер, – ещё, к примеру, Белинский не захотел оставаться в Париже, где бурлила свобода, в Петербург рвался, только несвобода его критические поученья могла питать и обещать отклик в задавленном, помрачённом обществе... и если кой-какие писательские репутации, несвободой взращённые, лопнут, весело, думаю, никому не будет.

– Не будет! – повторил Шанский, – лопнут и всё тут, канут без сожалений.

рассудок, умная игра

– Интеллектуальный роман отравился собственным ядом; кишел персонажами-змеями, погиб от их укусов, – торжествовал Гоша.

– Роман не пишется, случается! – подмигивал Таточке, подливая красное вино, Шанский и возражал Гоше с серьёзной миной. – Ну-у, не погиб, заслужили забвение недалёкие романисты, которые абсолютизировали интеллект и обманывались ясными целями – на парадоксе выстраивали интригу, искали в познавательной рутине лишь остроумное исключение, но не метафизическое правило, постигаемое в игровой словесной стихии.

– Щеголяли парадоксами, умничали, ни слова не сказав в простоте, всё в нужный момент стреляло, но – мертвым было, мертвым осталось! Парадоксальные игры завели в тупик, зеркалистый кромешный тупик, играли, пока не сыграли в ящик, – Гоша опять упёрся взором в натюрморт с яркими, сочными дарами сада и огорода.

– О, мой турбинный Прометей, хорошо бы светить всегда, везде, да лампочки быстро перегорают, о-о-о, бесконечный семантический тупик – счастливейшее прибежище ищущего сознания.

– Бесконечный? Интеллектуальный роман на себя замкнул жанр – это штука искусственная, как одетый с иголки манекен; пылинки боится сесть на воротник или шляпу.

– Полижанровость – новый штамп распавшейся формы.

– А расфокусировка героя-автора?

– Беда, рассудок расчленяет с дотошностью паталогоанатома.

– Профессору-биологу, конечно, неведомо, что в трупах копаются, дабы уразуметь, как лечить живых.

– Ты-то, искусство-ед, ради чего копаешься?

– Не догадался? Искусствовед и есть паталогоанатом произведения, пусть и живого, он исследователь авторской высокой болезни – её симптомов, течения и вероятных осложнений для других авторов, ещё беззащитных.

– И авторы, и их вымученные герои, лечи-не-лечи, теперь сугубо функциональные, вроде чапаевских картофелин.

– Хуже: из всякого плохонького человечка, вставленного в текст, как шило из мешка, выпирает идея.

– О-о-о, так посмеивались над мракобесием тотального просветительства! Правда, Хаксли, Жид, Мальро, играя, заигрываясь, обличали бога, буржуазность, политическую систему, всех-всех, кроме себя; жёлчные, зоркие, непогрешимые, они, однако, оставались чересчур серьёзными, чересчур умными, чтобы волновать, заряжать, а впрыскивает тайные силы в текст самоирония, дозированный целебный яд; немецкоязычные романисты в этом поучительно преуспели, к тому же у событий и личностей, образно ими увековеченных, восхитительно-плотный идейный фон, время – осязаемое, хоть руками шупай...

– Чуть! Ирония с самоиронией не оживят труп, сгущение фоновых идей никому не поможет, если искусство окончательно отвернётся от маленького человека.

– Бери шире – ирония лишь регистрирует тепловую смерть художественной вселенной, где отвергнуты предпочтения, ранжир ценностей, где не осталось авторской боли; знай себе перемешивай чужие мысли, образы, стили – идеальная анестезия, муки изжиты. Устремлённая вертикаль подменена безразличной горизонталью.

Шанский не отрицал усталость культуры, совпавшую с пробуксовкой идеей прогресса: рванулись в кнопочный рай и застряли в забитых помехами каналах коммуникаций. Но, – увещевал, – ирония не выбрасывала белый флаг под напором бытийных непостижимостей,

напротив, знаменовала попытки их одолеть, заодно – какая смелость! – кривящаяся усмешка воплощала сторонний взгляд на Создателя, оплошавшего при сотворении мира, не с того начавшего...

– Бесплодный спор, вы бы определили, что раньше...

к спору о первородстве

– Курица или яйцо? Дилемма не разрешима до тех пор, пока совмещаются полюса познания – вера и рациональное мышление.

Рациональное мышление первой признает курицу как изначальный прототип, образец для массового воспроизводства, в непрерывности коего яйцо выступает технологическим средством. Зато в свете веры – первично именно яйцо как таинство, как тёмный кладёзь неведомых вероятностей. Одной из них – тех вероятностей – и вылупилась по божьему произволу курица. Шанский замолк, зажевал язык.

у говорливых глупцов заматались мысли

– Глупцы! Ох и глупцы, всё у вас от лукавого! Нет ничего первичного, понимаете? Всё – от биосистем до любезных вам шедевров искусства – замыслено единовременно свыше, в тиши сфер, – разорался Бызов, – на публику играет загадочный господин, заказчик моцартовского реквиема. А интеллект всего-то, как давно поняли, прислужник веры, без её повелений теряется, блуждает в абстракциях. Кому теперь повиноваться, куда идти в дремучем лесу без компаса?

– Толку-то от компаса в магнитную бурю!

– Что же делать?

– Если бы знать!

– Я знаю! В себя надо смотреть, в себя, писать ли роман, картину – значит читать себя.

– Пусто, пусто внутри! Прикажешь зашифровывать пустоту?

– Дудки, пустоты не бывает! – брякнул Бызов, заставив смолкнуть застольный гомон.

неужели? (к вопросу о пустотности мироздания)

– Почему не бывает? – возмущённо изогнул губу Головчинер, изрёк с пафосом евангелиста, – всё пустота, ибо материальны в обыденном смысле лишь элементарные частицы, составляющие ничтожную долю в пустотном объёме атома, лишь бешеные их скорости удерживают оболочки атомов от распада.

– Физики шутят, – объявил номер Шанский.

– Этот дом, город, собранные из кирпичей, железа, асфальта... да и сама земная твердь есть фактически пустота, мир сотворён из пустоты, – делился сумасшедшими теориями Головчинер, – если прибегнуть к нестроному языку, то всё и повсюду – есть пустота, однако пустота, вакуум – загадочная, тайно творящая субстанция.

песнь из пустоты

– С этим и я, дремучий в физике, соглашусь, но добавлю строго: нет нигде абсолютной пустоты, нет! – сотрясался Бызов.

– Да, – кивал Головчинер, – вакуум с физической точки зрения – кладезь тайн.

– Запись генетического кода умещается в ничтожно-малой дольке молекулы ДНК, почти вся молекула нерационально-пустая, в чём, помня о нетерпимости природы к пустоте, не грех бы и усомниться – расточительность не в правилах Бога; а поскольку научный мир полнится глупыми домыслами на счёт того, где, как свёрнут проект всей биосистемы, я тоже рискнул вылезти с догадкой – не в мнимой ли пустоте из элементов вероятностной генетической программы монтируется организм каждого индивида?

– Это как если бы отрывки-заготовки подгонялись друг к другу, склеивались в оригинальный, со сквозным смыслом текст? – цеплялся за аналогию Шанский.

– Ну-у-у, как объяснить? Распределение клеток в организме регулируют голографические композиции, – занудил Бызов, – развитие эмбриона ведёт некий образ... ну-у, из чего мы, когда говорим, лепим образ? Из слов, умница! Слова – суть стройматериал. Вот и я догадался, что организм человека выстраивают особые слова, переносимые волнами к узлам сборки, склеиваемые по грамматическим правилам, которые задаёт ДНК: рука или голова эмбриона вырастают не где попало, а там, где заготовлен для них волновой каркас. Короче, геном подобен биокомпьютеру, владеющему логическим языком, памятью, программным обеспечением. Кому геном служит? Ну-у-у, допустим, абсолютному разуму, Создателю... главная в том догадка, что подбор признаков, их передачу, компоновку и склейку функционально-содержательных частиц в организм помимо привычного химического процесса ведёт также процесс колебательный, ко всему – звучащий.

– Агриппина в гробу ворочается, – шепнул Соснин Шанскому.

– Чудо какое-то.

– Да, Милочка, чудо создания. Человек, собранный из чудес, функционирует как комплексное смертное чудо.

– Расчудесный ты мой, – раскрыла объятия Милка, но заключить Антошку в объятия не смогла, Бызов сидел по другую сторону стола.

– Антон Леонтьевич, вы, учёный, не боитесь переборщить с чудесами? – мягко укорял Головчинер.

Куда там! Бызов ничего не боялся.

– Мелодию пустоты, благодаря колебательно-волновой природе ДНК, можно услышать с помощью лазера, который я бы уподобил поднесённому к устам микрофону. Мне не нужны промежуточные суррогаты любых художеств, – расхвастался Бызов, – в отличие от вас я напрямую наслаждаюсь искусством Создателя... по сути это песнь Создателя, обращённая к новому человеку, напутствие... Конечно, слышал. Напоминает птичьи трели, рулады. Песнь для каждого будущего организма звучит по-своему, как индивидуальная колыбельная. И никакой мистики – чистый акустический эффект. Хотя, спасибо гипотезе волновой генетики, на кафедре меня за мистика держат, в Стенфордский университет не выпускают почитать лекции, – Бызов взялся набивать трубку, – не заскучали?

– Нет, заинтриговал, – напрягся развесивший уши Гоша.

Зато Головчинер давно поймал Бызова на вопиющем антинаучном противоречии. – Высшие силы, на которые вы многократно ссылались, да-да, высшие силы, якобы распоряжающиеся архивами ноосферы, покровительствующие избирательно индивидам, это пусть и косвенно, но признаваемый вами Бог? Как хотите, но одно из двух, или, Антон Леонтьевич, эволюция, или Бог, а для вас Бог поставщик концепций и аргументов, вы смешиваете дарвинизм с поповщиной. – Если не смешивать, будет неинтересно, – Шанский энергично жевал язык, но гимн пустоте вдохновил поскорее дожевать, и, пресекая строгие возражения Головчинера, которые могли бы увести в сторону, самому открыть рот. – Антошка, твоя гипотеза льёт

воду на мельницу теологов-абсолютивистов, тебя послушать, так и впрямь всемогущий Бог не только с небес надзирает за наспех сотворённым миром, но и присутствует в нём повсюду, активизирует, хоть и колыбельной песней своей, любую жизненную точку мирового пространства, полнящегося пустотой?

– Лёт ли, не лёт, пусть гадают сами теологи, а я повторю: пустота – ёмкая, сверхсодержательная субстанция, вместилище божественной методологии. Да, геном – это уникальное хранилище информации и шифра, в том-то и тонкость, шифр тоже есть информация. Кто мы? Мы – послание абсолютного разума, послание Бога, если угодно. Кому послание? Зачем? Какой во всём этом смысл? Ох, сколько кухонных мудрецов сломали на этих вопросах зубы! Разве бумага, чернила, слова письма знают адрес, написанный на конверте? Вглядываясь в себя, мы лишь опознаём, – повернулся отважно к Шанскому, – головоломно-сложный, нарочито вроде бы запутанный текст. Видим – да, послание, но вряд ли кому-то когда-то дано будет его исчерпывающе и внятно дешифровать, тем паче – понять назначение.

– Как беден наш язык! Хочу и не могу! – вздохнул Головчинер.

Шанский кинул кость (упав на дискуссионный стол, соскользнула)

– Не накапливает ли искусство индивидуальные версии дешифровки? Объективное ведь всего лишь сумма субъективного!

– Вшивые о бане! – гоготнул Бызов.

– Постой, постой, шифр-содержание... вне формы, то бишь шифра, нет содержания, форма воплощает-выражает, о-о-о, – вспыхнул Шанский, – ты, друг Бызов, оказывается, законченный супермен-новатор, хотя крикливо прикидывался весь вечер закоснелым охранителем основ! Поскольку информационные структуры являются опорными не только в живой природе, кое-что рискну добавить к твоим догадкам. Как нас учили? – посмотрел на теоретика, – голограммы-невидимки терпеливо, в потенциальной готовности откликаться на прозрения художников, хранят контуры и свойства неведомого. Так? Почему бы образам искусства не опознавать и вылавливать содержания форм-голограмм из тайн пустоты и вместо лазера-микрофона транслировать хорал Неба...

– Ну-у-у, дружище Шанский играючи превзошёл безумствами мою скромненькую гипотезу, – гоготал Бызов.

– А что? Русский человек широк, его не сузить, не ограничить, ему в объективных законах природы тесно, ищет антинаучные лазейки в запредельность.

– Русский человек, в запредельность норовишь по израильской визе смыться?

– Хотя бы и так! – смеялся, радуясь, что удачно поддели, Шанский.

– Послушайте, Анатолий Львович, – восторженно воскликнул Головчинер, – был у нас в «Физтехе» талантливейший теоретик-отступник, некто по имени Феликс Гаккель. Он уверовал в обратимость времени, с пеной у рта доказывал, что скорость света вовсе не предельная величина, Эйнштейну пенял за отвержение эфира. Отважного упряма на учёных советах уламывали, нет и нет, в мировом эфире, кричал, находится потерянный недотёпой-Эйнштейном ключ к теории единого поля.

– Что-что, мировой эфир как структурированный информационный ресурс? – перебил Бызов, – мне бы с вашим теоретиком потолковать, обнаружатся, думаю, точки соприкосновения с волновой гипотезой... математически описывал биосферу и ноосферу? Волновые сигналы генов можно закомутировать с информационными полями космоса...

– Между кем и кем коммуникация?

– Ну-у, куцее моё воображение рисует архив судеб, прошлых и будущих, эдакие небесные досье... генетическая коммуникация замыкается на том ли, ином досье.

– Во сне? – очнулась под общий смех Милка.

– Мы собиратели и творцы информации... почему творцы? Таково условие коммуникации – не сотворив, не передашь! Озарения, вещие сны – суть наводящие вопросы, подсказки космоса...

– Гаккелевские описания мирового эфира не для слабонервных математиков, чересчур фантастические допущения, – ритмично покачивал головой, прикрыв глаза, будто стихотворение читал, Головчинер, – а встретиться с Феликсом, Антон Леонтьевич, не получится, он эмигрировал, хлопнув дверью; непризнанному гению взбрело на ум, будто в свободном мире другие законы физики.

– Встретитесь, – обнадёживала Милка, – поедешь, Антошка, на научную конференцию, там свои гипотезы состыкуете.

– Этого никогда не будет!

– Антошка, разнервничался? Дай я тебя поцелую...

– И я, и я, – затараторили, потянулись к бызовским щекам Людочка с Таточкой.

– Меня никогда не выпустят! – капризно, как упрямый ребёнок, пробасил Бызов; похоже, вступил в полосу неудач.

– Гаккеля в сотворчестве с сионистской физикой обвинили, он в эфирной информации или в содержаниях ноосферы, если угодно, уловил переклички с магическими смыслами Торы, – подключился Шанский, – в Коктебеле референт ЦК по пьянке признался, что Гаккелевская крамола партийные верхи испугала, Политбюро порешило, не медля, выдворить... слышали с кем Гаккель улетел?

– С Нелли, – к Соснину заинтересованно повернулись Милка, Людочка с Таточкой, – ну да, Феликс Гаккель её последний муж.

– Последний? Ха-ха-ха.

– Виделся с ней?

– Справку об отсутствии финансовых претензий подписывал.

– По-прежнему хороша?

– Неотразима.

– И что её могло связать с этим плюгавым Феликсом?

– Любовь!

– Любовь, запряжённая в средство передвижения.

– Как Нельке завидую, – пропела Милка, – всегда знала, чего хотела, сама своей судьбой управляла.

– И добивалась своего!

– Время ей нипочём, не замечает.

– Напротив, всякую секунду использует.

– Кто озаботится мгновением, у того судьба ужасна и дом непрочен, – задумчиво предостерег Головчинер.

компаса нет как нет

– Подобьём бабки! Заблудились в знакомых сосенках, но если иронически в себя глянем, косо по сторонам посмотрим, то... – Бызов делал Шанскому с Сосниным козу.

– Куда идти? Даже запретные пути вытоптаны.

– Человека потеряли – вот и топчемся, куда без него?

– Куда глаза глядят, творческие пути неисповедимы. Раньше, конечно, гуманные ориентиры сбивали в единый строй, художники прописывали прогрессивно марширующим массам лошадиные дозы человеколюбия, но напоролись на ГУЛАГи-освенцимы. Пока затылки чесали, получили свежий приветик от красных кхмеров... кто бы не стал растерянно озираться?

Четверо неподвижно сидели за длинным столом, накрытым льняной белой скатертью, смотрели, не мигая, прямо в какую-то одну, видимую только им точку; свиные бесцветные глазки, скрюченные пальцы вцепились в зеркальца с отражениями подстаканников; центральное, взятое в латунную рамку зеркало оставалось пустым.

стилистика против стиля

– Естественно, выплески глобального насилия уценили надежды – светлые горизонты заволоклись багровым туманом. И поменялись законы художественной вселенной, обрушился стиль как концентрированная вкусовая деспотия коллективного идеала. Стиль ориентировал духовные поиски, признаки стиля служили катехизисом, объединяли, и вот... в судорожном вытеснении изма измом, в сужавшихся промежутках между новациями зарождалось принципиально иное состояние культуры. И так, картина мира, изменчивая в веках, но для всякого поколения художников вполне прочная и цельная, раздробилась.

– Кокнулось зеркало, – злорадствовал Бызов.

– Вот-вот, – ускорял колебания языка Шанский, – лови теперь своим осколочком необозримый мир, благо в цене растёт непредвзятый оригинальный взгляд... ещё бы, стиль по природе своей авторитарен, стилистика – демократична, ибо личностна, субъективна. И, – вопрошал Шанский, – что отличает развернувшуюся гонку идей-форм, в которой книги по непродолжительности жизни скоро начнут обгонять газеты? Ясно, – торопился, – терпимость, вполне мирное сосуществование индивидуальных стилистик, исподволь складывающихся в многомерную и объективную, благодаря интеграции множества субъективных взглядов, картину мира... а зов полноты вменяет вчитывание, всматривание в любую мелочь.

– Кто-кто вменяет?

– Всесильный бог деталей, – нашёлся Даниил Бенедиктович.

– И, – продолжил Шанский, – стилистика парадоксально рвётся к полистилистике, жадно втискивая в свой осколочек зеркала не только весь мир, но и отражения его, пойманные другими художниками, – странно укрупняясь, индивидуальный взгляд поглощает разные взгляды, одинокий голос – многоголосие.

фон

– Мурыжат в «Неве» последнюю поэму Лейна?

– Поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст, – автоматически забормотал Головчинер.

– Одическая басовитость Лейна давно наскучила!

– И чему мог научить Бродского?

– Разве что красавицам в тёмных дворах наступать на пятки.

– Как там теперь Иосиф?

– На Манхеттене есть тёмные дворы? То-то! И американок не купить живыми глазами, не позволят себе наступать на пятки.

– Вот и приходится меняться... стихи-то недаром стали совсем другими.

– Кузьминский с оказией «Биробиджан» прислал из Техаса, перед отъездом сочинил, а только сейчас прочтём.

– Уже прочли! – улыбнулся Головчинер.

– Лучше перечитывайте Кривулина, «Натюрморт с головками чеснока» великолепен. Геннадий Иванович презрительно пил лимонад.

шум времени, разложенный на голоса

– Вконец заврался искусство-ед! – опять разорался Бызов, – всё смешал, свалил, будто мусор, в кучу.

– Авось стихи вырастут, – дурачился Шанский.

– Хаос – партнёр порядка, генератор непредсказуемости, порождающий то, чего не было, – втолковывал Головчинер Милке.

– При чём же безударные гласные, как они...

– Как?! С их помощью усложняют ритм, каждый гений усложняет по-своему, а статистическую мозаику ударных и безударных гласных анализируют универсальным методом бинарных оппозиций и...

– А главное что, когда столько небывалого наворочено?

– Пожалуй, отбор, критерии отбора.

– Что-о? При нынешних-то умственных хворях? Доверить отбор случайным импульсам подсознания?

– В подсознании нет случайностей!

Бызов в пылу беспредметного спора успел сделать несколько коротких жадных затяжек, цедил сквозь зубы тугую тонкую струйку дыма.

– Какие критерии? Забыт кантовский императив... Не удивительно, хваленый поток сознания обмелел, яркие герои умерщвлены вместе с сюжетосложением; прямую речь вытесняет косвенная, действие – описания. Настричь цитат, сблокировать мнения и дегероизированное чтиво готово, – у Гоши дрожали губы, пальцы, крошившие сигарету.

– О, брат Гоша, писать всё труднее.

– И где, где изящество, лёгкость стиля? В тяжеловесных описаниях-рассуждениях волшебное единство жизни подменяется бесплотной дробностью чувств, черт, стриптизными изливаниями авторского начала – псевдонимы прозрачны до неприличия.

– О-о-о, нас давно испытывает не экстремальная ситуация выбора, но туповатая повседневность, замаялись. Уценив гармоническую героику, время отринуло и божественную моцартовскую лёгкость, что же до автора, натужно одолевающего банальности, то ему не хочется умирать в вымышленных героях, он уже не лепщик образов, он лишь озвучивает условные голоса, в которые всё явственней вплетается его голос.

роман без конца

Лавины слов! Что ещё за завтраком плёл Бухтин?

Лейн, Айман, Битов, стыдливо оправдываясь матримониальными обстоятельствами, выменяли промозглые петербургские сумасшествия на близость к стольным толстым журналам, на престижные переделкинские прогулки с сильными ли, бессильными сего литературного мира, на что ещё? Неужто за сюжетцами потянулись в жадную бучу? Ох, в их ли духе такое: жара, пролитое масло, голова, отрезанная трамваем? Раздули бог весть что из залежалого советского бурлеска, сдобренного тёпленьким малороссийским юмором да хохмочками

«Гудка»; и библейский контрапункт притянут за уши... С ужасом и восхищением внимал Лев Яковлевич филологическим эскападам зарвавшегося любимчика! А если бы такое услышал? – Зато в нашенском болоте не одолевают соблазны славы, куда там, – подливал коньячок Бухтин, – питерская меланхолия мирит с безвестной смертью, в том числе – это-то как раз вдохновляет – смертью привычно-удобной прозы. Где ещё, как не в некрополе, присматриваться к неотвратимому? Глаз, к которому приравнялось перо, удивлённо и пытливо скользит, будто бы по незнакомой бескрайней поверхности, ощупывает холодный, аморфный из-за неохватности предмет – отчуждаемый мир.

Московского теоретика окутало голубое облако.

Шанский резко вскинул руки, стащил через голову свитер. – Да, с единобожием подкузьмили всех иудеи, мы беспомощны перед лицом единого бога – завхоз мироздания не справляется! Славненько жилось язычникам, к любому отраслевому богу можно было обратиться с конкретной просьбой, ну, к примеру, я бы сейчас взмолился. – Эол, будь милостив, мне душно, нещадно дымят курильщики.

Жена Художника разливала чай, приоткрыла форточку.

И ещё Валерка вещал в «Европейской» о дематериализации прозы стилем, об отстраняющей власти стилия... и о вечном споре формы с бесформенностью, ибо всякая художественная форма – о чём тут спорить? – является как бесформенность, новая гармония не улавливается, хотя она жива и пульсирует, её опознают позже.

Затем безо всякой связи с диалектикой формы о Свицерском со злостью вспомнил; годы щадили гада, скрюченный, еле из паралича вылез, а не угомонился, до сих пор командовал дружинниками – выпалывал сорняки.

На столе – вазочка с пилёным сахаром; ровные грани, строгая геометрия... такой же пилёный сахар, только на блюдечках, подавали днём, пока не сломалась машина, к кофе.

– У романа отнят конец, нет и не будет уже развязки – только начало. Это не похоже на недописанное письмо, оборванное на полуслове, нет, это, – посмеивался Валерка, – как жевание языка Шанским; жуёт, жуёт, но не прикусывает, слов всё больше, текст непрестанно преображается, по-иному развёртываясь от неожиданных добавлений, роман без конца вбирает и все остальные романы, давно написанные-дописанные, читанные и даже нечитанные автором.

– Бывает счастливое совпадение мышления с творчеством? – спросил Соснин.

– Бывает, у Набокова, – тотчас отозвался Шанский.

Гоша брезгливо передёрнулся от холодности языковых красот, постыдного, извращённого любопытства к человеку, как к насекомому.

– Не набиваюсь в арбитры вкуса, но...

– Валерка, конечно, прилетал Манна, хотя тот...

– Нет, Манн не компилятор, он лишь донёс до нас, помимо собственных, чужие идеи, сплавил всеобщие идейные искания с индивидуальным творчеством, – возражал словами Бухтина Шанский.

Бызова распирало негодование. – Поймите, самонадеянные слепцы, поймите! Генетически запрограммированы и цель жизни, и средства её, а сознание, психика, букеты идей и ощущений, которые порождают философию, науку, искусства, – суть побочные продукты не жизни, но жизнедеятельности, искать в них божественное назначение человека всё равно, что искать пропажу под фонарём.

будущее как прошлое

... толпы первопроходцев век за веком топчут исторический круг – всё было; в египетской пирамиде отыскалась недавно модель двухмоторного самолёта, будто пионеры в авиакружке смастерили.

– Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь, – напоминал Милке заботливый Головчинер.

– Всё равно хочется в будущее заглянуть, хочется, правда? – у Милки взметнулись патлы, – с три короба сверкающих и дробных страхов наобещали, адские котлы там кипят, а хочется! Узнать бы, что стрясётся с нами, какими станем!

– Не становитесь только мегерами, как Дельмас.

воспоминание как творение

Если бы... если бы, как когда-то в детстве, залезть под гостевой стол, укрыться в замкнутой тишине. Не многовато ли для одного дня? – завтрак с Валеркой, допрос-спектакль, теперь... знакомые голоса уже не успокаивали, напротив. – Сознание, – настигал Шанский, – одержимо прошлым. Казалось бы, что за напасть? Было и былём поросло, подробности выветрились за ненужностью после потопа, однако картины прошлого всплывают из тьмы – волнующие, невиданные, будто сотворённые заново. Озарения провоцируют память, память – фантазию.

Бросил в чай кусочек сахара, машинально помешивал.

Откуда сосущая тоска? Завтра надо написать справку... угрожает нелепый суд. Был свидетелем, превратился вдруг в обвиняемого. Не верилось, что укутут в кутузку, но суд вполне мог потрепать нервы, поломать планы. Удастся ли осенью слетать на мыс?

Нет, вспоминались не только прибрежное кафе под бетонным навесом, на тёплый свет которого спешил из чернильных сумерек белый катер, не только мягкие космы роши, металлический блеск магнолий и шелест пальм, сияние полумесяца, похищенного у какой-то мавританской идиллии; как понять, как? Сегодня загляделся и – сразу затосковал по Фонтанке, Неве, по летнему сине-белому ледоходу с величаво плывшими навстречу льдинам сросшимися домами... и дом с затеснённой шкафами, увешанной картинами, обновлённой гипнотическим большим холстом на мольберте комнатой, где Соснин помешивал чай, куда-то плыл, уплывал, и слова, слова уплывали в прошлое; от чёткой грани сахарного кирпичика отлетали частицы, уносились чайными горячими завихрениями; смялся, спеша раствориться, размягчившийся уголочек.

Опять прижалась ослепшая от слёз Милка, – Илюшка, больно за Бичико! Помнишь, кричали ему? – Бичико, четыре чашки, покрепче, чтобы ложки стояли! Так жаль, любил, страдал и повесился, Зося жестоко посмеялась над ним... никогда его не забуду...

измученные в тупике

– И почему ты, брат Гоша, против монтеневской и стерновской традиций самораскрытия на грани саморазоблачения? – с деланной укоризной дивился Шанский, – учти, брат, в тончайшей психотехнике расслоений сознания размываются границы жанров, дневник заимствует у романа многомерность, роман у дневника – искренность.

– Твои психотехнические расслоения, – ерепенился Бызов, заключая тактический союз с Гошей, – эгоистичная компенсация душевных дефектов, вот где энергетический кризис: ни порыва, ни веры.

– Плохо, если мир во вне изучен тем, кто внутри измучен, – наклонившись над тарелкой, итожил приговор Головчинер.

заигрались

– Именно!

– Только измученность растёт в эстетической цене – самолюбование в зеркалах, перелопачивание прошлогоднего снега... одурманенное игрой, сознание сушит душу и – включает защитный механизм; спасение от паралича воли ищут в грёзах...

доигрались

Капитуляция перед иллюзией свершилась – Головчинер выпил и эффектно соединил разрозненные строки в давнее провидческое четверостишие:

Рассудок, умная игра твоя –
Струенье невещественного света,
Легчайших эльфов пляска – и на это
Мы променяли тяжесть бытия.

– Да, иссякают кровавые и любовные страсти-мордасти, нет больше бешеного, оскорбительного напора жизненных сил и слов, такого, что мир трещал.

– Ха-ха-ха, литературу натурального действия, эпатирующую благонамеренный быт, слава Всевышнему, закрыл Лимонадный Эдичка!

– Зато автор во всё нос суёт надо-не-надо.

– О, автор – не поучающий всезнайка, его сбивчивый голос – голос сомнения.

– Бессовестно зарабатывать творческий капитал на распадении языка и смысла, – кипятился Гоша.

– Распадение – симптом обновления, надо бы терпеливо, внимать новым смыслам.

– Ох, – отмахивался Бызов, – правильно говоришь потому, что знаешь, но не истинно – потому, что не озабочен.

хвала сумеркам (ароматизатор для идейного содержания?) и посильные уточнения

– Литература, упиваясь самообманом, и нас обманывает, когда внушает веру во всеислие слова, – опрометчиво впутался в нескончаемый спор Соснин, – музыка, живопись, архитектура будят, прежде всего, эмоции, слово же, направляемое логикой, манипулирует разумом и...

– Илья Сергеевич взывает к немоте, изъятию из слов смысла? – насторожился Головчинер; Тата, Людочка, Милка, замученные дискуссией, которая скакала с пятого на десятое, ускоренно жевали, чтобы улизнуть за шкафы, к стопке журналов мод.

– Вспомним, – вяло молвил Соснин, – вспомним, глубинная функция языка состоит в сокрытии смысла. Зачем, спросите, скрывать, если полный и точный перевод мышления в речь в принципе невозможен? Но я-то не про ложь изречённой мысли, не про потери смысла в коммуникационном усилии, а про природу художественности. Слово утаивает содержания, возвращаясь ли, устремляясь в до-логические темноты, – высказывает много, ничего не ска-

зав; учиться у бессловесных искусств затемнению смыслов, обращению к эмоциям напрямую, минуя разум. Согласимся, под покровом самых убедительных рассуждений пульсирует тайна, не исчерпываемая в истолкованиях. Искусство подобно цветку, который благоухает в сумерках.

– И, по-твоему, роман – это...

– Это, помимо всего прочего, чем традиционно жанр романа загружен, многословная композиция из умолчаний.

– Ладно. Что тебя формально задевает в кино? – вытряхивал из бутылки в рюмку последние капли Бызов.

– Стоп-кадры.

– Оригинал! А в драме, на театре? Актёрские перевоплощения?

– Избави бог! Сегодня Чацкий, завтра Хлестаков, послезавтра Базаров и далее...

– Павка Корчагин, – подсказала Людочка из-за шкафа.

– Погоди, Ил, актёрские корчи и режиссёрские выкрутасы – побоку, ты, допустим, попал на читку гениальной пьесы... что захватит?

– Авторские ремарки. Зачарованность ремарками с той поры, наверное, ощутил, когда Ля-Ля измучивал нас читкой «Чайки». Помнишь начало? Такое простое, таинственное... – «Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик. Только что зашло солнце».

– Всё у тебя не по-людски, от скромности или гордыни помрёшь? – ворчал, отставляя пустую бутылку, Бызов, – пол-литра не хватило, чтобы разобраться.

тоскуя по примитиву

– С истончением письма, измельчением ячеек событийной сети как раз и убывает эмоциональность... и чем возместить потери? Неужели игрой в авторское саморазоблачение? Или опять – припадками грубой чувственности? Безвкусными лубками, вмонтированными в худосочную ткань? – не унимался Гоша, – и можно ли вообще возместить какими угодно изысками авторское саморастворение в слове, искренность, теплоту, отданные тексту, будто близкому человеку?

– Проблема проще, чем кажется, – пожимал плечами московский теоретик, – надо забыть об умениях, о стилях-формах-приёмах, надо зажмуриться, заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать искусовых подсказок культуры.

– Хотя, – залиvisto смеялся Шанский, – это и невозможно.

– Почему? Искусство колеблется между изысками и безыскусностью.

– Я витриной булочной залюбовалась: лепной тестовый лес, населённый птицами, зверьём – пятнистый олень из пряников, присыпанный кофе филин на шоколадной ветке. Спустила неделю в той витрине – подводное царство, огромный марципановый рак со сдобными клешнями, выпученными, из горсточек изюма, глазищами. Потом, дурёха, у окошка сапожной мастерской застоялась, – Милке, высунувшейся из-за шкафа, сочувственно кивал Гоша, – тоже лес, только из засушенных цветов, и гномы в сапожках на каблучках, медвежонок, всё-всё из мха, лепестков, каких-то жёлтых стручков. И верба для зайчиков, полупрозрачные шары одуванчиков, как сказочные деревья над вересковой чашей, цветник в палисаднике из мимозы. Загляденье, бабушки с внучатами к стеклу липнут. Столько любви!

– Ну-у, что я говорил? Духовно здоровым людям не чехарда стилей-форм нужна, а нормальные картины с деревьями, водой, далёкими голубыми горами, – бурчал Бызов, старательно выбивавший трубку.

что волнует в уходящей натуре?

Соснина, однако, манили кануны, если не распадов, то увяданий, манило искусство, чересчур прекрасное, чтобы продолжать жить; мнилось, ещё чуть-чуть и – чудо исчезнет, он останется хранителем его последнего мига.

Так бывает в позднюю сухую осень с летуче-радужным сверканием паутинок, когда прозрачные деревья тянутся к остекленелому небу, землю утепляет ковёр обожжённых листьев. А завтра – слякоть... Или – ночью ложится снег, и только весной прелый дух да случайно не сгнивший, розовато-блеклый листок напомнят о багряно-золотом великолепии. Но кто пожалеет об обращённом в перегнутой прошлом, если оно прорастает на глазах молодой травой?

невпопад

Шумел растолстевший, обрюзгший Бызов. И вспоминалось почему-то, как в пухлом румяном отрочестве он оберегал запретные папашкины альбомы и репродукции.

Пастозную фактуру мазков на глянцевых разворотах из-за иллюзии рельефно засохшей краски хотелось потрогать. А Антошка следил, чтобы листали аккуратно, не приведи Господи, не замусолили, не порвали страницу или загнули угол; допускал к сундуку с сокровищами лишь тогда, когда вымыты с мылом руки.

на вечном покое

– Сюжет – не более, чем одна из формообразующих поблажек читателю.

– Изгаляешься? – Гоша нервно пригасил в пепельнице окурок, мотнул головой, полез, точно за словом, в карман, но вытащил платок, долго громко сморкался; разнервничался, опять решил закурить.

– Сюжет ли, история – искусственные возбудители, к ним традиционно прибегают, чтобы одолевая общепринятыми условностями письма сопротивление неподъёмной жизни, пальмовую ветвь предпочитаешь или оливковую? – отвечая Гоше, Шанский примирительно улыбался Бызову, – разве мы не сошлись на истине, которая прозрачнее этого лимонада? Мир блаженствует в статике, война остаётся войной, чем бы не убивали – отравленными стрелами или ракетами. Вот и художественная задачка – выразить вечный бытийный покой под событийностью злобных дней, отвлекающей и завлекающей легковерных, недалёковидных...

Гоша закурил, помахивал погасшей, скрючившейся в тонкий уголёк спичкой. – Про идеалы забыл? Что случилось с идеалами?

– Заболтали, – сказал, выдыхая дым, теоретик.

а есть ли закон?

Шанский торопливо, напористо напоминал: сначала рисуют предметы, потом ощущения-впечатления от них, потом – идеи.

– Толенька, что потом будет, после идей? – Милка, выйдя из-за шкафа, лукаво ткнулась подбородком ему в плечо, посмотрела в глаза.

– Потом – суп с котом! – с раздражённой бочарниковской интонацией бросил Шанский, но продолжил с солидной серьёзностью.

– Отмучившись воспеванием действительности, заплатив дань субъективности, художник взрослеет и концентрируется, наконец, на интересубъективности; внемлет сигналам Большого времени, а не прагматичным окрикам повседневности. Гибельный путь? Не исключено... однако встреча с духом нового для творящего сознания важнее жизни...

– Что-что? Жизнь фантастичнее? – зрочки заискрились, будто кончики электродов, – разве не искусство открывает глаза на фантастичность жизни? Ха-ха-ха, разве мы не согласились, что никак не оторвать отражение от предмета? – рожи намертво срослись с зеркалами, хотя профессор-биолог, ха-ха-ха, битый час обличал картинки, растлевающие натуру! Иллюзии – хотим-не-хотим – пленили и извратили мир, самые невероятные допущения искусства преобразуют реальность, ха-ха, художника обвиняют в бегстве от жизни, а он-то, оказывается, бежит в истинную реальность.

дважды убегающий

– Да-да, бегущий, самозабвенно бегущий к собственному концу... – пояснял Шанский, – но художник, убегающий, теряя голову, в картину ли, текст, одновременно бежит и в противоположную сторону, из картины, из текста, то бишь, из создаваемой им и притягивающей его иллюзии – убегает в натурально-грубый, вроде бы данный в ощущения мир, который, как ни изворачивайся на бегу, та же иллюзия.

– Он по кругу бежит? – спросила Милка.

– Почему по кругу... Есть такая лента с вывернутыми пропеллером плоскостями... Головчинер знал про ленту, кивнул.

параллельно (из арсеналов прозы)

До чего увёртливый, скользкий, но от меня не убежит, – Стороженко убирал в сейф бумаги, – а второй – наглый, крикливый, и демагог... как его? Файер... ну и парочка, лёд и пламень... только не на того напали. Удовлетворённо посмотрелся в зеркало у двери, поправил галстук и вышел из кабинета.

из арсеналов метапрозы

– Забегался твой выдуманный художник, едва из галеры выбрался и прибежал в галерею, снова надо бежать, теперь – из иллюзии...

– У меня не засидишься, – сглотнул слюну Шанский.

– Бред какой-то, бежать в разные стороны одновременно! По какой-то траектории он обречён бежать?

– Я же сказал, есть вывернутая восьмёркой лента, реальное и иллюзорное на двух её поверхностях неуловимо перетекают одно в другое.

– Допустим, живописцу с мольбертом, кистями и ящиком красок приспичило взапуски туда-сюда по расчудесной ленте той бегать, но ты упомянул текст, – Гоша пожелал вернуться к прозе.

– Проза есть проза есть проза, – Головчинер с издёвкой продирижировал вилкой.

– Именно! – воскликнул Шанский, благо давние долгие его рассуждения описали скрипучий круг, – конец романа оплакали, а никак не привыкнуть, что роман замкнулся в себе, предпочтя отыгранному психологизму реалистического героя психологию и технологию творчества. – Сочинителя нынче засасывает не возвышенный или низкий быт, но бытование произведения, перипетии подспудных культурных драм, обычно остававшиеся за текстом, – кивая, вкусно затягивался сигаретой московский теоретик. – История – это история культуры, – кивал в свою очередь Головчинер, – не хронология битв, но технологическая летопись духа.

– Всё заметнее утверждается принцип: сделать текст тем, о чём в нём рассказывается, – нудно дополнял Шанский, – развёртывание романа в романе идеально моделирует рефлексию, соблазняя автора взглянуть на себя-другого, раздвоиться...

Всё ещё кивая, с зависшей в воздухе вилкой, Головчинер посмотрел на картину.

– Вопрос в том, как углубить рефлексию, встраивая текст в текст, как, поймав, совместить разные точки зрения, разные ракурсы в едином художественном пространстве, – выдыхал дым теоретик, – если мысль-чувство снуёт челноком от факта к образу и от образа к факту, уплотняя ткань текста, что сопоставимо с челночной рефлексией, то компановку текста из текстов, вставляемых друг в друга, можно уподобить рефлексии объёмной, матрёшковой.

– Как придать пространственность литературному тексту? – спрашивал по инерции Соснин; до сих пор это был больной для него вопрос.

– Заблудишься в словах, представь, что заблудился в городе, – издевался, вспоминая старые свои советы, Шанский.

Выбросить глаз во вне, разбросать глаза-объективы для одномоментной многокамерной съёмки? Своевольной, сверхпроницательной и при этом, – думал Соснин, – отбирающей, компанующей. Глаз – зонд мысли, призма чувств, но глаз ещё и видеоискатель.

– Ока омут удивлённый, кинь его вдогонку мне! – сжимал интервалы между микростами Головчинер.

– Роман, активно усваивающий психотехнику рефлексии и по сути её отражающий, – затягивался, глотая дым, теоретик, – не только посткриптус ко всему корпусу литературных текстов-предшественников, но и свидетельство...

– Старо, как мир – картина в картине, кино в кино, роман в романе, – отмахивался безразлично Гоша.

– Проза есть проза есть... – дурачилась Милка.

– А кто видел сон во сне? – врезался Шанский, – бывают варианты: цветной сон в чёрно-белом, цветной в цветном...

**пёстрые (преимущественно
необязательные) мнения и суждения,**

спровоцированные неординарными пассажирами Шанского,

не без влияния коих Соснин

(внезапно послышалось слепящее шипение вспышки)

мысленно сфотографировал на память присутствующих

– Искусство – штука бесполезная... кто-то из тонкачей-французов сказал: знаю, что искусство совершенно необходимо, только не знаю зачем, а ты...

– Зачем? Опять этот пустой вопрос, – отмахнулся Бызов.

– Для науки твоей – пустой, тебе бы уразуметь как мы, смертные биологические двуногие, устроены, зато для искусства...

– Ну, так зачем? – невинно поторопила Милка.

– Зачем? На этот вопрос пытаются отвечать церковь и искусство... если церковь предлагает общий для всех ответ, то искусство всегда индивидуально, каждый художник ищет ответ для себя.

– И зачем же ищет, зачем? – взревел Бызов.

– Я знаю, знаю... уникальное животное, человек, испытывает хроническую нехватку значений, образов, не забыли? Однако это лишь подсобные запросы мощного, столь же мощного, как детородный, инстинкта творчества, болезненного, слов нет, инстинкта порождения иной, иллюзорной реальности, на которую наш спаситель Бызов грозит натравить биологических фундаменталистов. Зачем пишут, рисуют, если это не элементарная форма заработка? Свысока смотрят, хотя признаются в любви?! Вот именно, вопрос напрашивается – почему бы им, пишущим-рисующим, не смирить гордыню, жить как все? – растить хлеб, детей, прихлёбывать жадно борщ, поливать слезами блаженства розы... не-е-ет, творческий инстинкт, как и детородный, обостряется страхом, желанием, заслонившись от смерти холстами, книгами, обмануть время, что-то после себя оставить.

– О злобный Хронос! О дыхание тьмы! – напомнил, польстив Геночке, Головчинер; за окном громыхнуло.

– Как эгоистично, как мелко, – Гоша задыхался, – за себя, не за людей бояться...

– По индивидуальному позыву – эгоистично, однако не мелко! Это что, мелкота? Рим с Флоренцией, Петербург... всё, что изваял и написал Микеланджело, всё, что сочинили Джойс, Толстой... всё это выставлено против смерти!

– Разве искусство, а не любовь побеждает смерть? – Милка презабавную состроила рожицу.

– Эрос и Танатос сливаются, Эмилия Святославовна, в энергетике искусства, – Головчинер глубоко вздохнул; промелькнули далёкие картинки любви и смерти Вилы-Виолы и Шишки.

Милка за рукав потянула. – Бичико сливал Эрос с Танатосом?

– Короче, – прервал Шанский, – искусство необходимо тем, кто хочет мыслить, страдать, тем, кого не греют религиозные сказки о бессмертии души и реинкарнациях; где, как не в высоких иллюзиях искусства, светлых и мрачных, дано – опять-таки иллюзорно – искать ответы на главные мучительные вопросы, ответы, на самом деле не существующие?

– Какие ответы, какие? Не понимаю, как можно искать ответы, если ответы не существуют.

– В поиске, в самом поиске – смысл искусства... я уже устал объяснять, что художника извечно мучают три главных тайны – смерти, времени, самого искусства.

– А какой был смысл в моём рождении? Скажи...

– Никакого, Милочка, поверь, моя радость, для судеб мироздания – никакого, но нам сейчас с тобой так приятно.

– Простенько и со вкусом!

– Простенько... – негодовал Гоша. – Идеалы впрямь заболтали? Толенька, миленький, художниками, зарывшимися в трёх тайнах, какие жизненные вопросы поставлены после классиков, какие? Модернистам не до главных вопросов, им бы только усложнять и запутывать письмо. Что вынудило искусство отвернуться от человека?

– Обижает, Гошенька, объяснения мимо ушей пролетали? Время изменилось и вынудило, о чём мы весь вечер проговорили? Толку-то повторять поставленные прошлым веком вопросы; поучения, призывы, рецепты классиков никому уже не помогут.

– Нравственные идеалы не зависят от времени, они постоянны и никакая чёрная эпоха их не отменит, искусство без них мертво. Почему Манн, которого ты так чтишь, до конца дней своих оставался классиком-гуманистом?

– Мимо Гошенька, мимо... ты сегодня восторгался Гомером? Ай-я-яй, ведь античное искусство, всё сплошняком, безнравственно, это Христос зарядил нас нравственным идеалом; увы, заряд не вечен, с напором перемен не справляется. Что же до Томаса Манна, то начал он и впрямь с классического романа, но закончил-то модернистским; влез в неприглядное и безотрадное нутро высокого сочинительства, поощрённого чёртом, заражённого болезнями века, да при этом над гуманистом-рассказчиком поиронизировал... всё иначе теперь, всё. Неразрешимость бытия – вот тема модернистов, заявленная ещё Чеховым в его пьесах, раньше на человека давили конкретные обстоятельства, теперь, когда раздробились картина мира и её отражения, то бишь – наши представления о мире, ум и чувство мучаются своей беспомощностью, не понять даже откуда исходит давление, что именно угрожает.

– Анонимное многовекторное давление, – подсказал Головчинер.

– Вот-вот, раньше писались человеческие истории, где герой боролся, противостоял, побеждал или терпел поражения, теперь, – Шанский слово в слово повторял Бухтина, – надчеловеческие, где внимание с поступков персонажа переносится на его сознание; персонаж рассматривается сверху, с разных сторон, не как победитель обстоятельств или их жертва, а один из множества объектов этого самого многовекторного давления, вызывающего, соответственно, многовекторные реакции, которые выливаются не в ответную активность, но в спонтанные разрозненные позывы, тревожные ощущения, пустые мечтания... субъективно ценной и цельной остаётся лишь внутренняя жизнь.

– Однако и поступки совершаем, и действия.

– Нежелательные для нас самих, – сказал Соснин, – Валерка цитатой из какого-то умного модерниста проиллюстрировал наше поведение в наше время – «мы с величайшей энергией делаем только то, что не считаем необходимым».

– Метко!

– Выдернул для ясности удачную мысль! Но кто скажет, зачем модернистам свои толстые тома затемнять, запутывать? Не понять про что...

– Оглянись по сторонам, всё запутано... а если ещё и в себя заглядывать? Не будем растекаться. Хочешь узнать «про что», буквально – «про что»? Поверь языку, он не соврёт! Серьёзное произведение теперь – непременно про изведение, понимаешь? – Соснин дёрнулся, хитёр же язык, хитроумен Шанский! – художник изведён внутренней борьбой, искусство изводит нас, изведённых многовекторным давлением, близостью к трансцендентному... посмотри-ка на картину!

– Ну, тут я зажмуриться могу или отвернуться, – Гоша виновато потупился, любил Художника, но не мог принять его живопись. Гоше близка была светлая грусть саврасовских грачей, левитановской осени. Полез за сигаретами, спичками, ожил, откашлявшись, снова своё заладил. Зло, как обвинения, бросал Шанскому. – Живому слову не пристало никакому бесчеловечному давлению покоряться, слово должно звать, вести, чтобы искусство не было бесполезным... замкнуться, сочинять про изведение? Для кого сочинять, для кучки записных эстетов, готовых вязкую заумь интерпретировать?

– Не нравится – не читай!

– Стыд и срам, но начало «Войны и мира» с длиннющими диалогами на французском не сумела осилить... – И что с того, что есть перевод? Салонное пустословие.

– Ха-ха-ха, вроде бы незначительные, необязательные суждения в духе модернистов. Толстой забыл на время, что слово кого-то куда-то должно вести!

– Потом вспомнил, иначе б и Толстым не был!

– Толька, объясни, наконец, что такое модернистский роман, объясни просто и ясно, слабо? – Бызов протирает очки.

– Объясню, да так, чтобы на сей раз и Гоша понял, объясню, ухватившись за один всего признак. Модернистский роман – это роман, где все персонажи, подчёркиваю, все, а не избранные снобы или изгои! – лишние люди. Пока гуманисты, заждавшиеся светлого будущего, перечитывали классиков, модернисты удосужились заглянуть в отчуждённый от людей, не нуждающийся в их индивидуальных свойствах, мир и – в отчуждённые сознания, души.

Бызов, удовлетворённый, близоруко осмотрелся, поднял кулак с оттопыренным большим пальцем; Гоша смолчал.

– Лозунг Валерки – вперёд, под знаменем Джойса, вперёд, к победе над идейными клише классики, любезными Неистовому Виссариону.

– На Джойса и записным эстетам терпения не хватает. Роман нечленораздельный, как вой, рёв, стоны чересчур культурного зверя.

– Валерка на едином дыхании читал.

– Ну-у, то Валерка.

– И я, не отрываясь, прочёл, – смиренно опустил глаза Шанский, – французскую версию.

– Ну-у, сибариты-французы запутанные пассажи и переводить бы не стали! Выкинули, наверное, с лёгким сердцем то, что не понимали, выкинули и – позабыли.

– Особенно при их горячей любви к англичанам и английскому языку!

– Странно. Джойс ирландец, ирландцы англичан ненавидят, а враг моего врага...

– Писал по-английски, вот и не утруждались, переводя.

Таточка кивнула, она, гид «Интуриста», была не высокого мнения о французах. – Я, – добавила Таточка, – в «Иностранке» прочла «Портрет художника в юности», вполне классический роман, никакого рёва, никаких стонов.

– Когда-то, когда нелегально перевод «Портрета...» достал, тоже подумал о классике, – согласился Шанский, – «Улисс» – другая песня.

– Скудная песня... рёв, стоны и разговоры ни о чём.

– Разговоры как у нас сейчас, из пустого – в порожнее.

– Изводящие почище произведения!

– Штука в том, что в «ни о чём» подчас скрыто главное.

– Кто-то писал, – вспомнила Людочка, – что «Улисс», собственно, и не литература вовсе, а эссенция для литературы.

– Чтобы бездарности по капельке брали и разбавляли?

– По капельке? Да это, если Валерку послушать, целая бочка эссенции!

– Вот и хорошо, хватит на всех бездарностей.

– Теперь, может быть, объяснишь, что такое постмодернистский роман? – Бызов водрузил на нос очки, – и тоже коротко, ясно.

– Нет, даже коротко и ясно не надо, – взмолились Милка и Таточка.

– Нет, – решительно запротестовала Людочка, – уже поздно, про свой постмодернизм пусть объясняется в другой раз, про постмодернизм, горячо любимый, коротко и ясно у него не получится.

– Ладно, в другой раз, – смирился Шанский, почуяв, что Людочка умрёт, но не даст разогнаться, а ему не хотелось объяснения комкать; Бызову, разыгрывая смущение, сказал. – Все вопросы ко мне касательно постмодернизма прошу задавать через Людочку.

– Где польскую помаду достала?

– Повезло. В кое веки в кино собралась сходить, после сеанса заглянула в «Пассаж», был последний день месяца, выкинули. Первой очутилась у кассы, за мной – столпотворение вавилонское.

– Перед художником дилемма: будешь говорить так, как видишь и слышишь, другие не увидят и не услышат; Гоша замотал головой.

– Что смотрела?

– «Дорогую» – во второй раз.

– И мне Джулия Кристи нравится.

– Шла напролом, пока не упокоилась во дворце итальянского аристократа. Конец с назидаем?

– Бабы озверели. Еле из давки выбралась.

– У меня тоже польская, с перламутром, но на исходе.

– А у меня помада от «Парижской коммуны», такая дрянь.

– Спятили? Осмелитесь отрицать, что источник вдохновения чист?

– Ха-ха-ха, у вдохновения, как у марксизма, целых три источника, правда, совсем других – лень, похоть и тщеславие эти источники, так-то, брат Гоша!

– Сам додумался?

– Куда мне, ха-ха-ха, – скромничал Шанский, – выловил в набоковском интервью... не архаика ли, до всего своим умом доходить? Чтобы испытать, надо создать, я поверил создателю вдохновенных произведений.

– Чего ещё от эстета-аморалиста, эксперта по растлению малолетки, можно было дожидаться? – потешно сморщился Гоша.

Из глубин звуковой памяти донеслось шипение, и Соснин, будто на фотографии, спустя годы, взялся рассматривать рассеявшихся за столом: ослеплённые жизнью, хохочущие в объектив... рюмки, бутылки...

опять (по кругу, по кругу)

А мальчик бежал, бежал.

Бежал против часовой стрелки.

Бежал от следствий – к причинам?

И что же напоследок собиралась рассказать композиция?

– Ох, тошно от рефлексий с интересубъективностями, – передёрнулся Бызов, – да, заумь, болезненная утончённость чужды охраняющей жизнь норме, увлекаясь чем-то, что рядом с человеком, а не им самим... выступают против человека, против... бу-бу-бу, – гнул своё Бызов... с ним радостно соглашался Гоша.

– Бывает ли так? Всё: пейзажи, вещи, переливчатость потока сознания, кошмары подсознания, изобразительные абстракции – во всём человек, мысли, чувства или бесчувствие не существуют отдельно от него, самый причудливый финт художника обречён очеловечивать мир, – тут и Соснин поймал потеплевший взгляд Гоши. – Бу-бу-бу, – роковые страсти идут теперь по разряду безвкусицы, соки выдавлены, бу-бу, скучно, сухо, скулы сводит от препарирующих книг, – бубнил Бызов, разливая остатки водки из последней бутылки.

не выдержала

– Обсуждать такие книги ещё скучнее, – затараторила Таточка, прехорошенькая безвозрастная чернобуря лисичка с блестящими глазками, остреньким подбородком, – музыку не послушать, не потанцевать, сами произведений не сочиняете, но изводить научились. Болтуны широкого профиля, долдоните весь вечер: наука, искусство, взрыв в зеркале! Мантры, чередуясь, выкрикиваете, чего ради? Да завтра вся ваша умная болтовня позабудется! Гневно ручкой взмахнула. – На что время тратите? Наплевали на свои жизни, свихнуться можно, – блеснув зубками, топнув под столом ножкой, временная богиня обиженно подпёрла кулачком вощённую щёчку.

упрямая параллельность

Соснина бросило в жаркий танец. – Отчего, почему я не знаю сам, я поверил твоим... – задорно подпевала, заглядывая ему в глаза, Жанна Михеевна.

Сейчас она взбивала подушку. Влади, усевшись на край кровати, устало тёр ладонью висок. – Хорошо хоть догадались Нельку не провожать, в аэропорту бы обязательно засекали. Но с Илюшкой что делать? Нелепо завязалось.

– Остапу доверься, посоветует.

– Посоветовал. Пусть, говорит, суд решает, – погасил свет.

всё ясно

– Тут, Таточка, не растанцуешься, – оправдывался Художник, – вмиг синяки о шкафы набьёшь.

– Испугал синяками! – повёл могучими плечами Бызов, – не хватило выпивки для надрыва, иссохли души, если б назююкались вволю, такой бы учинили выброс духовности, рубашки бы изодрали в клочья.

– Готов объяснить, – ринулся на помощь Бызову Шанский, – с какой стати нет танцев, ухаживаний с цветами, комплиментами, все покорно в болтовне усыхают? Так ведь дамы за вычетом синечулочниц стали чересчур агрессивные, в глазах жадность, бр-р! – полчища фурий, пахнувших шанелью и водкой, толкают лучшую половину вкуче с худшей к разбитому корыту с вытекающими последствиями. Как не струхнуть, не прикинуться импотентами, хотя благодаря витаминно-калорийным пайкам и льготным профсоюзным путёвкам суммарная потенция после тринадцатого года заметно выросла...

– Мели, твоя потенция в языке, – огрызнулась лисичка-Таточка.

Печальная тень легла Бызову на чело. – За сорок нам, братцы с сестричками, – сказал горько, с подкупающей искренностью, – кризис у нас, кризис среднего возраста, дальше – по нисходящей; чуем приступы внутренней маяты, корёжат подспудные страхи климакса, смертельных болезней, вот и раскричались... смешно, с чего бы меня так падающий Рим озаботил? – паникуем, каждый дует в свою дуду, лишь бы пояростней, погромче, пусть и в ущерб мелодии.

– Уже не музыка, ещё не шум, – попытался пошутить Головчинер.

– Упился, Антошенька, чтобы признаться в главном?

– Ни тепло, ни холодно от таких признаний! Во что превратились, во что? Жужжим, возбуждаясь по привычке, жужжим, жужжим, как мухи, безнадежно буравящие стекло... – Не мухи, – обиделся Гоша, – скорее уж говорильные головы-машины, вместо монет, опускаемых в щель, угощение, – мрачно уставился в тарелку. – К холодным закускам говорится одно, к бифштексу – другое, на десерт...

– Толька, даже ты, признайся, жужжать устал? Ты не от властного маразма в Париж бежишь! Свой кризис обмануть хочешь?

Шанский молчал, как избличённый лгунишка.

– Хватит предсмертных кризисов! Хоть бы на десерт о любви напомнили, – в один голос заканючили Милка с Людочкой, – всё роман, роман, а бывает ли роман без любви?

Таточка безнадежно ручкой махнула.

потеря

Московский теоретик исчез по-английски, не дождавшись десерта, – спешил на «Стрелу».

на низких подступах к вечной теме

– Мне стан твой понравился тонкий, – потянулся к Таточке Шанский.

– Отстань, Толька.

– Бызова целуете, а мной брезгуете? Обидно.

– В Коктебеле не нацеловался?

– Нет, нет, я опасаясь случайных связей, с вами целоваться хочу, – обнял за плечи Таточку и Людочку, – ну как, тела давно минувших дней? – не гнушался подмешивать в фонтаны собственного остроумия заёмные хохмы, – ну как, ещё горит огонь желанья? Нутряной порыв, страсть, – подмигнув Таточке, которой не светило выкинуть коленце под музыку, отчеканил. – Горячей страстью к танцам и поножовщине глупо укорять абстрактные умствования, якобы недостойные человека, царя природы. И отделимо ли достойное от недостойного? Не только вдохновение замешано на постыдном, нравственно неприемлемом, – разгонялся Шанский к ужасу дам; незаметно, как шулер карту, подменил тему. – Вот-вот, творческие позывы безнравственны, если... – Бызов, отрешённо жевал салатный лист.

– Хоть бы ты поскорее визу получил и уехал, ну тебя! – передёрнулась Таточка.

– Я тебя и оттуда вольным словом достану, – захохотал Шанский. – воспряну, зажужжу с новыми силами.

– Ты, хоть и обессиленный, истязание под угощение нам устроил, – надулась Людочка, – прожужжал уши.

– Возьмём, – не обращая внимания на готовившего возражения Бызова, на недовольных Таточку с Людочкой, сладко заулыбался Милке, та тотчас выпятила бюст, – возьмём любовную сцену, без которой среднестатистическому роману не обойтись, это стало бы самоуничтожением жанра. Итак: поцелуй, объятия, постель, сулящая залёт в рай. Что ж, с богом – вечная тема. Но и сколь угодно оригинальное, и, замечу, трепетное её раскрытие питают опять-таки три, отнюдь не родниковых, источника.

Во-первых, – медленно загнул большой палец Шанский, – автор не может не заглянуть в личный опыт, чтобы провести селекцию чувств, ласк, вздохов и выкинуть интим на продажу. Во-вторых, автор ловит, развесив уши, откровения дон-жуанов, пусть и сверххвастливые, одновременно впитывает липким взором позы, повадки раскиданных по пляжу тел – изгиб бёдер, цвет кожи, очаровательная светлая полоска под лифчиком. В-третьих, эстет-бесстыдник вольно ли, невольно крадёт узоры любовного поведения в чужих книгах, серьёзных или фривольных фильмах – самое искреннее и самобытное письмо грешит плагиатом.

Согласились, три источника сомнительны, сочинитель, к ним припадавший, трижды безнравственен? Не спешите, однако, обличать высоколобого извращенца, который льнёт к разного рода замочным скважинам. Шокирующая изнанка замысла жива лишь пока автор заводит папки на персонажей, сортирует их пороки, предосудительные привычки... а водки? Бызов вылакал? Плесни сухого, виват!

– Преображение жизненной материи в текст до аморальности неприглядно, непригляден и ворох исчириканных бумажек-черновиков. Но как бы не откровенничал затем перебелённый текст, какие бы тёмные провалы мокрого космоса не высвечивал, художественным волшебством размываются терриконы шлаков, канализуется процедурная грязь – готовое произведение вызывает очистительный подъём чувств, словно недоступный снежный пик, засиявший вдруг в рвани туч. И сам греховный алхимик вмиг делает гигантский шаг к святости! – с шутовской гримаской Шанский зашептал, – конечно, речь об искусстве, а не книжонках в мягких обложках, отдушниках-компенсаторах грязных желаний, подавляемых в рутине машинизированного стерильного потребительства.

– Подозрительно просто, – разочарованно вздохнул Гоша.

– Ничего нет проще логики словоблудия! – рубанул ручищей Бызов, – очищающее волшебство... трюкач...

после заминки

– Учтите, боли и наслаждения, красота и уродство, – не желал останавливаться, Шанский, – не существуют порознь, контрастно вспыхивают на фоне своих противоположностей, сцепленных в единстве жизни. Разве предчувствие родовых мук не растворено в стенаниях счастья, которые сопровождают зачатие? Так, про дьявольское и божественное в художнике сказал, о разделении труда между дьяволом и Богом в творческом процессе предупредил. А зачем гению злодейство, кто знает? – обвёл жертв своего неуёмного вдохновения искрившими, как бенгальские огни, глазами.

Но шумно отодвигали стулья, вставали; Художник постарался незаметно достать нитроглицерин.

– Я безо всяких мук рожала, удовольствие... – опомниться не успела, раскричавшуюся Варьку показывают!

– Мне кесарево грозило, но обошлось, в клинике «института Отта» старенькая акушерка, ученица знаменитого до войны профессора-армянина, фамилия вылетела из головы...

– О нём легенды слагали...

Жена Художника убирала тарелки.

углубляясь в картину

Вечное настоящее? Или – прошлое, пожирающее настоящее с будущим? Изображение, почудилось, пришло в движение, медленно завращалось.

Что сообщало импульс вращению?

Художник, философствуя, упражнялся в смерти; останавливал время, поднимался над событиями, прозревал – переживал многократные умирания, воскрешения.

Вращение ускорялось.

Монументальность и быстротечность? Отвердели складки на штанах, майках. Разгоряченность застылых тел... возможно ли появление во дворе живой многофигурной скульптуры? Засвистит дворничиха, заголосит старуха в окне, выползет из-под арки фургон – привезли мебель. Символическое сшибалось с обыденным, в знакомом пространстве текло своё, неведомое время; громилы, их жертва жили, живут, будут жить в этом вымершем доме. Однако символика разлагала действие. Монументальная шайка не справлялась с жертвой всерьёз, а изображала накал страстей, ненависть, слепую злобу. Событие вела композиция – загоняла в трафарет эмоций, обрамляла и – высвобождала, ломая раму, выводила куда-то далеко-далеко...

Скульптурная группа раскоряченных фигур, сцепленных в событие композицией, была подобна водовороту, из вертящейся воронки вырывался обезумевший взгляд бледного человека. Обезумевший? Нет, внезапно прозревший, прозревший среди слепцов, ослепших зеркал. Композиция, экспрессивная и неподвижная, как остановленный сон, рассказывала о метаморфозе прозрения! О самом миге метаморфозы: проникающий взгляд вдруг поборол растерянность, пробил защитные психические преграды. Что он увидел, понял? Соснин почувствовал – увидел что-то очень простое, что-то убийственно-простое, не оставляющее надежды. И – одновременно! – прозрение пережил Художник, смотрящий из творения своего – издали, из-под деревянного, с козырьком, забора? Да, иначе бы не сумел написать такое, да, да, ему всё открылось; Соснина медленно сносило невидимое течение, чувствовал – вот он у края воронки, вот его, окутанного тишиной, когда застольные голоса отключились, а сам он онемел, не смог бы позвать на помощь, всасывало в воронку на место жертвы. Голова кружилась, словно заглянул в пропасть, откуда на него смотрели сожалеющие, скорбные, прощающие глаза. И вот он там уже, в перевёрнутом крутящемся конусе, в вершине его, ставшей точечным дном, и оттуда, с освобождённого для него дна мощно вращающегося кратера, он сам уже смотрел, превозмогая головокружение, в огромное широкое небо. И кривые рваные края кратера шевелились, дёргались, и уже заслоняли небо, покачивались, клонясь ниже, ниже, коричневые убудки с набухшими мускулами, ядовитой слюной на синих губах. В сладостной истоме, ускоряя вращение, тянулись к Соснину грязные пальцы с чёрными обломанными ногтями, раздувались в оскаленных нависаниях лысые головы.

И вонючая жаба раздувалась сзади, близко-близко, почти касаясь лоснившейся, как прибранное голенище, гармошкой шеи в бородавках и крупных, с горошину, каплях пота. Вот-вот разорвут в клочья, и вот немые серые стены косо рванулись вверх, одинокое оконце блеснуло из-под карнизной тьмы – как последний осколок неба.

выбравшись из картины?

В воронку, конечно, не затянуло – с бокалом в руке стоял в двух шагах от холста.

Но ужас близкой подвижной бездны не покидал, хотя не понимал где она, эта бездна, –
вверху, внизу... да ещё сверление в затылке...

Не вытерпев, обернулся.

Зеркало на миг прозрело, чтобы увидеть его и показать ему, что...

Что?

Столкнулся в зеркале с растерянной физиономией, зажатой меж парами лысых глумливо-улыбчатых болванов, чьи бюсты выростали из блеска льняной скатерти, вращались в фоновую иссинь-чёрную ночь, но конвульсивно дёрнулся Соснин не потому, что испугался новых гнусностей старых знакомцев, а потому, наверное, что две картины образовали гнетущую запредельность: его знобило в зеркале, справа-слева – торчали мертвенно-бледные болваны, над головой зависли булыжники кулаков... из глубины зеркала опять подмигнул детина, опять расстегнул в ухмылке молнию рта.

И – исчез! Зеркало в латунной рамке вновь опустело; ослепший, но зачем-то пристально всматривающийся прямоугольный глаз.

Зачем видеть, если не отражать? Ах да, такое зеркало, такой глаз, смотрящиеся в себя, полны отложенных отражений.

Ждут своего часа?

а картина не отпускает

Пока суть да дело, воронка смещалась в провал меж стенами, закручивалась по часовой стрелке энергией угрожающих тяжёлых ударов.

Однако вращению мешал мальчик в линялой розовой майке.

Худенький, гибкий, бежал против часовой стрелки, описывая событие по кругу, притягиваясь к нему лишь любопытством, инстинктом стаи. По силам ли мальчику остановить дьявольское вращение, повернуть вспять? У него, удалённого от центра круга, длинный рычаг, почему бы не повернуть? Разве Художник не тайный романтик, грезящий тем, что, дописав картину, изменит заведённый порядок к лучшему?

Но почему у мальчика такое лицо? Неужто и у него вспухнет мускулатура, сплющится нос? Точно! – обволнанили, остригли наголо, потом облысеет: у него их гены.

Сцепленные композицией, закрученные жестоким танцем фигуры медленно сносило течение времени.

И засасывала воронка, над Сосниным всплывали злобные пустые глаза. И сдавливали раздутые, будто пневматические подушки, плечи; с лентой приподнялась желеобразная голова, к горлу потянулись кривые пальцы-щупальца с шевелившимися на ветру волосками, задралась пропотевшая буро-зелёная майка, оголив желтоватую немытую кожу.

Головчинер недоверчиво повернулся к картине, смотрел, поглаживая пальцем ямку на подбородке.

Шанский перешучивался с Художником.

Людочка подмазывала губы перламутровой помадой.

Милка напевно каялась, что в детстве взахлёб любила праздничные столпотворения и демонстрации, страстные колыхания тёмных людских колонн с бумажными цветами, красными бантами и разноцветными воздушными шарами, шумное, радостное, с перебежками, вышагиванье плечом к плечу под духовую музыку... Продолжая озирать холст, Головчинер машинально привстал:

О тополинный пух и меди тяжкий взмах!

Ведь детство – это слух и зренье, а не страх...

Снова принесли чай, Соснин узнал его.

Он засопел – одутловатый, с никелевой фиксой в вонючей пещере рта подкараулил во дворе, между поленницами, вырвал новенький, только подаренный отцом мяч и, прижав к животу добычу, шумно затопал короткими сильными ногами в тяжелых ботинках, рубашка в короткой жаркой схватке выбилась из-под широкого ремня с бляхой, бок оголился. Когда Соснин с расквашенным носом выскочил, прихрамывая, из подворотни, Доброчестнов-младший огибал круг чугунных тубингов заброшенной довоенной шахты метро – обогнул, поставил мяч на булыжную мостовую. Поплевав на руки, как Лёха Иванов, издевательски медленно пятился, пока не упёрся задом в тубинг, наконец – всего в трёх шагах! – разбежался, носком ботинка, пыром, выбил мяч с сиплым победным воплем шпане, которая поджидала на изломе Большой Московской, у крохотной булочной, что располагалась напротив смятого угла женской трёхсотой школы, взиравшей многоглазьем окон на позор оцепеневшего Соснина; расхристанный грабитель, оскальзываясь на булыжниках, догонял ватагу сообщников, они, поймав мяч, с разбойным свистом уже бросились проходными дворами на Загородный, чтобы на ходу запрыгнуть в трамвай, нырнул за ними во двор и Вовка, во двор, где вскоре его зарежут, и... Давние дворовые битвы, поражения пронеслись кривой рваной лентой, наново оглушив тупую несправедливостью, оцарапав садизмом; детство – копилка невысказанных обид, их не высказать за целую жизнь.

и не отпускают недоумения

А собака лает, лает.

Всё медленнее бежит, каменея, мальчик.

Закатное солнце румянит глухие стены вдали.

И – пересекают двор ступени, залищенные лунными бликами. Во дворе – ступенчатый подиум? Ах да, представление, шарады, парад культуристов. Но что всё-таки поделявает Художник в глубине пространства тревоги, там, под козырьком дощатого забора? Спокойно ждёт неминуемой свары истолкователей? Или, глядя оттуда, видит что-то, что его поразило, а для каждого из нас, поглощённого экзистенциальной драмой, которая длится по эту сторону холста, остаётся неведомым?

А девочка?

Да-да, слева бежит против часовой стрелки мальчик, а справа замерла девочка, как занесло её в пролом у тёмных кирпичных стен? – чулочки в рубчик, фартучек, белый, закруглённый у шеи отложной воротничок, в пухлой ручке – афишка; «Срывание одежд» – можно, присмотревшись, прочесть на ней. Творившееся в картине девочку не задевало: она не замечала громил, не боялась, что ненароком её раздавят.

Напыжившиеся громилы не касались асфальта, парили. И почему фигуры – босые? Будто с анатомического плаката лодыжки, натянутые сухожилия, рельефные пальцы и лепные грязные пятки.

Громилы парят, нанося удары; и жертва парит...

Срывание белых одежд? Нет, несчастного выволокли во двор, однако не просторный хитон полощется на сквозняке из подворотни, не ночная рубашка и не простыня, куда там! – струятся складки, точно кишки пустились, поток серебристо-голубых кишок, но это – ткань, если расправить складки, получится бескрайний саван, на всех хватит. Тайного сдвига не отыскать. Явного, включающего воображение, как будто нет, а оно включено; нет подделки под жизнь – она кипит. Дерзкое композиционное напряжение и – сосредоточенность, необъяснимость внутреннего покоя, которым дышит картина.

Слева – мальчик, преодолевающий напор времени. Справа – пигалица в чулочках, фартучке. Поодаль, под козырьком забора – Художник. И свечение за головой мальчика, в арке подворотни – влекущие палисадники с цветниками, радующие глаз домики под черепицей, цепочкой протянувшиеся вдоль прелестной зелёной улочки. А справа – кучи битого кирпича, стены, облезлые стены, тёмные, неприветливые, как прибежища зла... того и гляди, навалятся, пьрнут ножом.

Соснину почудились прерывистое дыхание, всхлипывания, слабый стон и шелест одежд... нет, расправа творилась беззвучно, только лай, лай.

Странно.

И натюрморт с геранью и сочными овощами-фруктами, виртуозно совмещённый с пейзажем и интерьером, – окно слева, распахнутое в солнечный сад, а справа, за порогом двери, – затемнённая анфилада, которая сквозит беспокойством. И рядышком, на другой картине, опять-таки справа – мрак анфилады, населённой зловеще копошасьими телами, а слева, у мечтательного лица возлежащей, как ренессансная Венера, рыжеволосой, чудесную осеннюю пестроту омывает прозрачное высокое-высокое небо.

В чём тайна композиционного инварианта?

С одной стороны... с другой стороны... куда податься? Это не драма, это растянутая на всю жизнь экзистенциальная катастрофа.

ОТСОХ ЯЗЫК

– Весь я не умру? Ха-ха-ха, блажен, кто верует, ха-ха...

– Страшно! Страшно и подумать о вечности, где меня не будет. Ну, хоть что-то должно после меня остаться, хоть что-то...

– Знаешь, гриф, налопавшись мертвечины, не в силах взлететь, так и сидит, переваривает, – весело заливал за спиной Соснина Шанский.

– Да что б у тебя...

незнание-сила?

Жена Художника вновь разливала чай; рукавом вязаной кофты касалась своего написанного маслом плеча, обтянутого тускло блестящим, тёмно-зелёным атласом... в пространстве портрета она могла не бояться вечности.

– Не стану спорить, вопрос зачем преследует, точит, – не унимался Шанский, расшвыривая глазами звёзды, – да-да, принципиально безответный, как талдычил доктор Бызов, непродуктивный для науки вопрос впрыскивает жизнь в искусство. Что же до науки, то её познавательные перспективы туманны, даже темны, – Шанский уписывал какой уже кусок пирога! – считалось, что человечество, топающее от победы к победе по спиральному большаку прогресса, заряжается и подгоняется знанием, ан нет, незнание, прикинувшееся знанием, давно ведёт нас, любопытных слепцов-глупцов. Но куда, куда? Застреваем в путанице понятий, в тупиках методологии, из миллионов противоречий тщимся вывести среднеарифметический смысл, а в нём, выморочном смысле этом, хотим прозреть правило, общеобязательное суждение, которого нет как нет. Открыли уйму частных закономерностей, а картина мира по-прежнему погружена во мрак. Славненько было когда-то! Осенённый Архимед с победным кличем выпрыгивает из ванны, Ньютон потирает шишку на лбу, Эйнштейн пиликает на скрипке. Ха-ха-ха, кончились озарения, великие открытия частностей исчерпались. Вот балласт знаний и усугубляет застой, ха-ха, плоды просвещения гниют, вонища...

– Тебе с лимоном?

– Ох-хо-хо, – хохотал Бызов, – ты-то и есть подгнивший плод просвещения! Ну и фрукт! Шарлатан-искусство-ед, водишь нас за носы по кругу.

– А кто виноват? – не умолкал Шанский, – концепция ли, гипотеза эгоистичны, они, как магнит металлические опилки, притягивают лишь помогающие их логическому обоснованию разрозненные частички знания. Но разве ускользающая от исследовательских инструментов цельность, мирозданье во всей божьей его красе, готово покориться столь милой горе-аналитикам причинной избирательной логике?

о научной природе самообмана

– Построение научной концепции схоже с построением перспективы, – Соснин припоминал визгливые пояснения Зметного, – берётся одна, именно одна, точка зрения, привязанная с учётом пространственной сложности объекта к одной, двум, несколькими точкам схода. Следовательно, в основе концепции ли, перспективы – самообман, обусловленный выбором граничных условий – для сколько-нибудь оригинального высказывания нужно найти свой угол зрения, желательный острый. Взятый ракурс – отменяет все остальные, изобилие коих лишь льстит комбинаторным амбициям интеллекта. Ибо нет способа просуммировать, свести воедино разные перспективы или разные концепции, тем паче, концепции конкурирующие! – они принципиально не сводимы; интеллектуальных средств прикладного мышления недостаточно для полноценного синтеза; он невозможен вне наших оскудевающих, но всё ещё живых чувств.

Головчинер обиженно молчал, сцепив пальцы.

– Что тут непонятного? Фетиш науки – точность, а точка зрения – это подкупленное точностью исключение в обманном обличье правила, – Соснин повторял слова Зметного, пока тот постукивал мелом по доске и резко вертел туда-сюда иссохшей, в белёсой опушке, головкой, как если бы высвобождался из вязкого гула аудитории, – ради решения локальной практической задачи такой зрительный ли, методический изолят абстрагируется от полноты мира, его принципиальной нерасчленимости, по сути отрицая множественность вероятностных точек зрения, хотя только живой глаз схватывает мгновенно целостность, перекомпоновывает детали, склеивает нюансы, будто смотрит спереди, сзади, сбоку одновременно. Что? Так и не поняли? – тогда увольте, просите помощи Шанского.

Милка шуршаще развернула обёртку, надкусила конфету.

Шанский и рад стараться, хотя никто его о помощи не просил. – Новая стратегия познания нуждается в релятивистском аппарате, да-да, квантовая механика рванулась за горизонт, но толку-то в прорыве локального раздела физики, который никак не сопрячь с остальными, – наука знай себе молится на причинную логику, холит объективность эксперимента, независимого от личности экспериментатора, ха-ха-ха, боязливо цепляется за окаменелости, лишь бы не заглядывать в бездны, полные эфемерностей...

Милка досадливо морщилась, как если бы дожёвывала не «Кара-Кум», а фантик.

– Не согласны, Даниил Бенедиктович? Вот и Бродский, ваш кумир, убеждает, что сужение концептуального смысла связано с отсечением всяческой бахромы, меж тем бахрома-то как раз и важнее всего в мире феноменов, ибо способна переплетаться. Так-то, не в бровь, а в глаз, однако абсолютно корректно!

– Если бы вы, Анатолий Львович, не цеплялись за брошенные вскользь соображения гения-поэта, а могли профессионально вникнуть в предметность точных наук, в том числе, в суть релятивистских подходов в физике, вы бы столь безрассудно не поучали, – Головчинер почему-то снова посмотрел на картину, – осмелюсь утверждать, сударь, познание законов

природы обусловлено изучением трёх фаз преобразований – вещества, энергии, информации, и теперь, когда...

не договориться

– Ох, вы оба пленники заблуждений! Если внезапно и сформулируется в детерминистской ли, вероятностной парадигме глобальная теория поля, если расшифруют тайны биополей, поставят на конвейер телепатические умения, то и эти открытия не станут золотыми ключиками в страну дураков, ибо не отменят духовной сумятицы...

– В том-то и фокус, ничего внезапно не сформулируется!

Гоша сокрушённо закуривал, Шанский, разогнавшись, взывал к глобальному переоснащению познавательных стратегий, дабы вторгаться в хаос не для посрамления его примитивную упорядоченностью, а...

– Но это действительно ведёт к концу этики, – соглашаясь с Гошей, вспыхивал голубым глазом рыжебородый Геннадий Иванович, – это же симптом неизбежной деградации, распад связей, все люди лишние, всё относительно, зыбко...

– Деградация, регенерация, дагерротип... – почему бы не поискать у созвучных слов общий корень? – паясничая, картавил Шанский, потом осёкся, сказал серьёзно. – Это только с наших, сегодняшних позиций выглядит деградацией, однако равнодушное к нам время многое переоценит, если не завтра, то послезавтра.

– Послезавтрашние позиции никому неведомы, плевал на них! – вспыхнул Геннадий Иванович.

базис понуждает сломать надстройки? (сгоряча)

– Так вот – зачем? Хочешь снова напомню, зачем искусство? – Шанский инерционно наседавал на Бызова, вдобавок алкоголь возбуждал, – раньше искали истину, смысл жизни в откровениях веры, теперь художник творит истину сам и, зашифровывая её признаки и ориентиры, торит окольный путь к ней.

– Чтобы уткнуться в тупик, – ворчал опять же инерционно Бызов, разморённый в отличие от Шанского выпивкой... не ощутил, что чмокнула в затылок, прощаясь, Милка, – ох, художнику бы только заблудиться в выстроенном им самим лабиринте.

Головчинер, глубоко задумавшийся, явно задетый антинаучными пассажами Шанского, посмотрел с сомнением на картину, погладил пальцем ямку на подбородке и спросил рассеянно, как в пустоту бросил. – А на кой ляд художнику лабиринт?

– Куда поместить героя? И себя, заблудшего...

– Лабиринт – это прообраз фабулы, – предположил Соснин.

– Плодотворная идея, – похвалил Шанский.

Головчинер пристально всмотрелся в картину.

– Чтобы выбраться на свет божий, пора ломать культурно-психологические надстройки, придавившие биологический базис?

– Ага. Хотя мы с тобой ломать ничего не станем, те, кто умных слов не знает, не понимает, сломают всё за милую душу или всё само изнутри раскрошится, если столичным теоретикам верить. Но я-то, думаю, такие вот раздолбают, – сняв очки, Бызов полоснул картину слепым взглядом. – Где Милка, тью-тью? И Татка слиняла? Так хотел с ней потанцевать. Птички разлетелись, – растопырив пальцы, смешно помахал согнутыми в локтях руками. Налил тёмно-

гранатовое густое вино. – «Ахашени»? Ого! И где достают? Вертел, поднося к очкам, бутылку, бурчал что-то нечленораздельное.

Бызов перепил. Сквозь испарину на щеках и лбу проступали красные пятна. Круглый живот вываливался между подтяжками.

от великого до смешного

Выпив ещё вина, Бызов слегка приободрился, величаво задымил трубкой. – Ясно, у надстроек чересчур вычурная архитектура. Думаете, зациклился? Не-е-ет, я ведь диагност по призванию, чую, братцы, болезнь, которая пострашней падучей... теряется сопротивляемость культурного организма, атрофируются жизненные инстинкты. Но у толпы-то здоровых инстинктов прорва, в один прекрасный момент прорвёт – опьянеет, растопчет. Хотя пока всё обманчиво-спокойно, кладбищенская тишь да блажь скучных лет, застывшее время.

– Нет тебе, Илюшка, спасения! – опорожнил бокал Бызов, обхватил Соснина за плечи, – виновника архитектурных излишеств ждёт страшный суд! Рыкнут – подать Тяпкина-Ляпкина, не увернёшься, – ткнул ручищей в оконный прогал между краем картины и приоткрытой створкой, – вон, закат пылает, точно знамение. Распогодилось... посуху домой доберёмся...

Головчинер, что-то важное для себя решал, не мог решить; рассматривал картину, покачивал головой.

– Правда, тебе дело шьют? – сжимал плечи Соснина Бызов, – сколько гегемонов придавил твой колосс? Ну да-а-а?! Вот и верь добрым людям! И следов не осталось, как от иудейских храмов? Тогда пророчество отменяется, на авось понадейся и обойдётся, – вскинув пудовые веки, подмигнул, расхохотался. – Давай-ка! – поднял бокал с вином, – но не расслабляйся, перед настоящими преступниками они пасуют, зато с мнимым, вроде тебя, расправятся за милую душу, – снова налил.

– Почему Владилен не прикроет, номенклатурная осторожность? – подошёл Шанский, чокнулись; узнал от Бухтина о злключениях Соснина, ждал подробностей.

Нет, время для главных подробностей не пришло, – интуитивно притормозил Соснин, – не время, не время... да и Тольке с Антошкой сейчас не до нелепиц и совпадений случившейся с ним истории. Или рассказать всё-таки о дядиных письмах из Италии, об отце Инны Петровны, Тирце, его судьбе? Кстати, Тольке близки тирцевские рассуждения о художнике, рождённом от соития бога с дьяволом... Нет, нет, рано, – пресёк последние сомнения внутренний голос, – история не завершилась, не обрела композицию. Лишь бегло коснулся баллотировки Филозова в Академию, опасного для его карьерных планов отъезда Нелли, кухни жены, по израильской визе... тем паче гениальный Неллин муженёк взбудоражил физиков-теоретиков, обозлил партийные органы.

Головчинер не сводил глаз с картины.

– А ты, бывший муженёк, при чём? Не вовремя кое-кому на глаза попался? А-а-а, начальнички, боясь погореть, не будь дураки, лассо накинули, притянули? Ну да, и юбилей на носу, спешат отрапортовать... клубочек! – сочувственно кивал Бызов, – и чего от тебя добиваются? Вызывали сегодня? Какой гусь допрашивал? По особо важным делам? И засудить грозился? Директивный процесс? Ого, предъюбилейный подарочек! Был свидетелем, стал обвиняемым? Но почему строителей не берут за шкирки, они ж напахали?

– Обломков не осталось, поди докажи. Кто вникать захочет, доказательства слушать? Спешка, юбилейные обязательства подгоняют, растрескавшиеся башни и те взялись отделять ударными темпами, чтобы план полугодия не сорвать. И у главного строителя сердце пошаливает, заместитель успел в Ирак завербоваться, в нефтеносных песках укрылся.

– Расчётчиков не привлекают?

– Они оправдываются цифрами, а у меня защитные аргументы зыбкие, я за красоту отвечаю; противно засосало внутри – завтра придётся засесть за справку.

– Вот и долблю, – гоготал Бызов, подливая вино, – пока не поздно, пока гной не разлился, искусство надо удалить, как аппендикс, чик-чик и – нету.

прощание

(с тяжёлым сердцем)

В дверях церемонно откланивался Головчинер: худой, в длинном узком, точно сутана, чёрном пальто, глухо застёгнутом; в прихожей отблескивало пустотой зеркало.

Неожиданно шагнул в комнату, молча, наклонив голову, постоял у картины и отшатнулся, как молящийся, который усомнился вдруг в подлинности алтаря.

– Сильная исповедальная вещь, притягивает, но так не бывает! – изрёк и быстро направился к выходу, бормоча под нос, – прошу извинить, прошу извинить.

назначение

– Да-да, – не разобрать было с кем соглашался Шанский, – глаза, уши аудиовизуальные бандиты играючи покорили, и пока всемирная деревня балдеет у электронного очага ладится атака на обоняние – да-да, подавлять, отнимать будут давая, эксплуатируя нарастающее отвращение к естественным запахам, которое внушают потребительские стандарты созданному трудом потомку приматов. Надушенное бельё, прыскалки-дезодоранты, сортирные озонаторы – прелюдия тотальной ароматизации.

– Французские духи появились, – пропищала Людочка, – хотя для нищенствующих самцов-интеллектуалов стоят чересчур дорого.

– Духи сирийские, по фальшивой французской лицензии, – одёрнул Шанский, – рецепты французских парфюмеров, кстати, засекречены, и не только из-за конкурентной борьбы, но и по соображениям безопасности. Ты, Людочка, спросишь – зачем ароматизация? Затем, моя радость, что приятные запахи творят иллюзию диффузирующего счастья, а иллюзия загоняет в будущее эффективней, чем палка. Да-да, – наново распаялся Шанский, откуда силы со словами брались? – будущее выгодно подкрашивать, ароматизировать, преодолевая исходное противоречие... вот, слева, арка подворотни светится, в даль манит? Нет, возвращает мысленно в безбедное благоухание небесно-травянистого прошлого, в покой с птичьим чириканьем у домиков с цветниками: прошлое – потерянный рай. А мрачные полуобвалившиеся стены справа символизируют будущее, там в руины обращается и тусклое настоящее, и цветочное прошлое... да-да, в образе потерянного рая уживаются противоположные взгляды, – выпутывался Шанский, – и налево тянет, и направо, это, так сказать, двойственность разрушительного деяния времени в пространственном выражении, деяния угаданного, оплаканного, о, сколько скорбного сожаления во взоре далёкой чёрной фигурки, стоящей под козырьком забора. И разве не безнадежным пониманием чего-то важного, главного пугает взор обезумевшего бледного бедолаги, который воспарил над асфальтом? Смотришь, а хочется отвести взгляд; выпуклые пронзительные глаза, хотя не стемнело, слепят, как фары.

– Вот балаболка, наворотил литературщины, – посмеивался Художник.

– Службы безопасности зачем засекречивают рецепты? – переспросила-таки, тряхнула головкой Людочка.

– Для создания поражающих ароматов, которые заменят оскорбительные для гуманистического нюха иприты. Люди будут рваться в душегубки, как в отпуск на кавказское побережье! Камелия, магнолия, бодрящая примесь цитрусовых, восхитительные дыхательные коктейли, – слова выскакивали из мокренького рта Шанского, точно спешившие к поверхности аквариума весёлые пузырьки, – реализуется голубая мечта цивилизации: сделать смерть наслаждением.

– Человек пешка? А если выберет другой путь? – Гоша заёрзал, затрясся.

Геннадий Иванович отодвинул недопитый чай, мрачно молчал.

– Ещё одно, последнее сказание, можно? – повернулся к Людочке Шанский, та безразлично махнула ручкой.

– О-о, давненько другим путём повели, безропотно топаем, взявшись за руки... так вот, экзистенциалисты упёрлись в проблему выбора, хотя человек-то мается оттого, что выбора нет, каждый шаг каждого из нас предопределён вроде бы случайным стечением обстоятельств, хотя за ними, разными обстоятельствами, индивидуальная, но всегда жутковато-простенькая судьба. И бунт против неё кончается поражением, ураганы, терзающие внутренний мир личности, не учитываются в космических прогнозах погоды. Человек, временно вышвырнутый из небытия в жизнь, конечно, заряжен на высокие порывы души, склонен воображать себя провидцем, открывателем... человечество же запряжено, не ведает куда гонят; ведь и самая умная лошадь не знает, куда тащит воз.

Гошка не соглашался, но, глянув на часы, застегнул курточку, засобиравшись, – спозаранку в турбинный цех, ещё Людочку вызвался проводить.

– Ладно, путь прочерчен, человек покоряется траектории судьбы, как заяц или тушканчик, бегущие в световом луче, – выдохшийся было Бызов завозился на скрипучем стуле, – и если человек сворачивает, то отнюдь не благодаря свободе воли, зачем-то повернул луч. Зачем? Условились не обсуждать цели, не наших умишек дело. Не исключаю, однако, что интеллектуальная гордыня, творческая дерзость, моральные табу и прочие выверты сверхразвитой психики, как-то взаимодействуя, помогают улавливать сигналы свыше: быстрее, чуть медленнее, скоро поворот...

– Но заяц не знает, что бежит к смерти, а человеку ясен его безутешный финиш.

Здесь, кажется, Шанский поставил точку.

по домам

Продрогли, дожидаясь такси.

Асфальт пятнисто подсыхал, лужи присыпало тополиным пухом; словно там, сям были раскиданы бараньи шкуры.

Потешно вскидывая зад, пробежал бездомный пёс.

Ветер воровато рыскал в листве, дурманил черёмухой.

Хотелось спать.

Встряхиваясь на выбоинах, петляя, выползли, наконец, из двора в вымерший город. За чёрными кронами оцепенели дома. Лишь светофоры понапрасну усердствовали на перекрётках, ярко освещённый пустой трамвай потерянно катился в Косую линию, но тут его заслонил лепной угол, помчались навстречу, чудом увёртываясь от лобового столкновения, стволы, заскользила, смазываясь, сумрачная лента невесомых громад, отблескивавших в верхних этажах окнами; блеск очков выдавал окутанное тьмою лицо?

встреча в ночи

Остап Степанович, благоухая вирджинским табаком, кремом, одеколоном, медленно выплывал с распостёртыми объятиями из-за задымленного стола; жадно вгрызался в глазное яблоко Соснина, усаживался в апсиде правого века на красноватом мокром фоне режущей боли.

Усевшись-таки и поспешно, забыв о мундштуке, закурив, окутался облачком пахучего дыма и с развязностью циркового карлика стал болтать до смешного уродливыми обрубками ножек, обутых в тёмные лаковые туфельки, которые нежно обнимали беленькие, с сиреневыми кантиками, хлопковые носочки; при этом следовательно упражнялся в ковбойской сноровке, раскручивал над головой выраставшую из пупка верёвку с петлёй, с разбойничьим посвистом резко, как лассо, кидал её в клубления мути и подтягивал обратно, тащил упиравшуюся добычу, в другой руке вертел, поднося к очкам, глянцевою открытку с кровоточившей вишнёвой веткой и жемчужным конусом священной горы.

– Магический реализм на черновиках плоская штука, – бухнул басом Бызова в барабанную перепонку, продолжил размышления вслух с обычной напевностью, – стоит ли углубляться в глупые миражи? Не осточертели разящие тлетворным эстетством трюки?

Пытаясь унять тревогу, вызванную совсем уж странным поворотом вопроса, Соснин отнёс филологическую болтливость Остапа Степанович к безобидным издержкам его редкостной эрудиции, прочистил морганием зрение.

отзвуки метапрозы

Машина дёрнулась.

Бызов по инерции пнул интеллектуальный роман, пощёлкал по лбам бескровных умников, из коих, как шила из мешков, выпирали идеи. Шанский нехотя вспомнил о рефлексивных заходах, которые ищут глубину и объёмность в самозамканиях текста. Затем молчаливого Геннадия Ивановича высадили у его дома.

Умиrotворённые плавным движением, угомонились, обмякли. Оплыли профили, в причудливую бесформенность слиплись затылки, плечи, складки плащей; глаза слипались. Когда от затяжки сигареты у шофера вылепилась малиновая, с мохнато-огненной пещерой, ноздря, вернулся Остап Степанович.

пожар? наводнение?

Похоже, впрочем, он и не исчезал.

Во всяком случае болотный бобрик с тропинкой наискосок парил ковром-самолётом, в углу ковра сверкала плевательница из нержавеющей стали.

К убранству строгого кабинета добавилась блиставшая надраенным металлом старомодная, пламенной масти машина, при бурном прогрессе спасательной колёсной техники годная разве что на роль музейного экспоната, хотя и оставшаяся в завидной для нынешних пожарных депо готовности, – к бокам прижались большие плоские катушки со шлангами... надутые шины, чуть вдавленные в бобрик, едва бы взвыла сирена, резво бы покатали; и ждала рвущихся в огонь и воду седоков с топориками за поясами длинная скамья вдоль красного машинного туловища, над скамьёй, вперемешку с кожаными ручками для держанья, чтобы пожарные не вываливались на поворотах, свисали со штанги медные колокола.

Да, Остап Степанович курил, густые усы, сухо потрескивая, пылали, от него несло палёной курицей, он аппетитно втягивал закопченным носиком снопы искр, сажи, в очках плясало пламя, а не тронутая огнём немалая часть лица безмятежно дремала под дымною пеленой.

Из чёрных густых ветвей, поблескивая стеклянным глазом, высунулся Сухинов, стал поливать огонь из голубоватого, с отбитой эмалью, чайника, будто не воду, бензин лил – огонь трещал... Сухинов панически отпрянул во мрак, по Большому проспекту плыли, натываясь на дома, деревья, гробы... город тонул...

С тувельки на нижнюю губу следователя тем временем быстро ползла раздвижная лестница. Соскользнув с округлого лакового носка, упёрлась в рифлённый рантик, и хотя Остап Степанович в силу врождённой неугомонности всё ещё упражнялся с лассо и болтал ножками, хотя лестница ходуном ходила, скрипела, прогибалась, по ней сноровисто карабкались фигурки в брезентовых робах, касках с блестящими гребешками, в одной из фигурок Соснин, вспотев от изумления, узнал себя – юркий, с петлёй на шее, затягивавшейся под ликующий свист, ловко перепрыгивал запёкшиеся складки губы.

Чувствуя, что задохнётся, зажатый на заднем сидении Шанским и Бызовым, силился окликнуть отчаянного смельчака, но потерял голос, не мог грохнуть и в немые колокола – за язычки колоколов ухватились насуспенные, с обвислыми брыльями лысые звонари, а маленький двойник с бранспойтом забрался на ангиому, выпустил тугую струю.

Остап Степанович зашипел, треснул и развалился, опав вонючей пригарью, как целлулоидный пупс, из обугленного чрева его вылутился Владилен Тимофеевич с намотанным на руку концом верёвки.

Очутившись на виду, он поспешно бросил верёвку, выскочил из-за стола с телефонами, по щиколотку, вот и по колено в воде зашагал взад-вперёд, нервно дёрнул у окна шнур, штора присобралась сине-голубыми морщинами; во дворе-колодце, глубоко-глубоко, сразу за стёклами гуляли волны, в кабинете же плавали стулья, накренившись, неслась к двери яхта, а Соснин распластался на воздушной подушке под потолком, однако неловким взмахом руки, будто порывался плыть кролем, сумел отогнать тучу чёрных шаров – едва не разможив щегольскую причёску Владилена Тимофеевича, который начинал пускать пузыри, туча, гонимая тайным ветром, удалялась сквозь стены невесть куда.

на университетскую набережную

– Зачем, зачем? – проворчал, ворочаясь, Бызов.

– Забыл? Чтобы заслониться холстами-словесами от смерти, хоть за какую-то преграду спрятаться от неё, – прорезался голос Шанского.

От резкого захода в крутой вираж стена домов разломалась, в разлом хлынуло светлеее, затянутое облачною пеленой небо. Белые ночи, а я... – встрепенулся Соснин; хотел, но не мог придвинуться поближе к окну.

лихой обгон

Их обгоняло зелёное такси, спешно опускалось окошко на задней дверце; еле поместилась в раме хохочущая багровая физиономия Кешки, рядом с водителем ворочался массивный Тропов. Высунувшись по грудь, Кешка замахал, закричал. – Быстрее, быстрее! Помахивал и другой рукой, как если бы дирижировал трансформациями пространства, такси улетало, весело и неудержимо; в продолговатом стекле над багажником угадывался затылок Рубина, усадившего на колени даму, над его головой колыхались локоны. Блондинка и прижавшаяся к плечу Рубина брюнетка, ба, с дневными манекенщицами догуливали...

на Стрелку

Лёд прошёл.

Тусклой стальной отливкой застыла Нева. Ни отблеска, всплеска. Лишь накипь следа плелась за баржей, скользившей вдоль хмурых пластилиновых слепков набережной. И небо, беззвёздное, молочно-серое, с еле уловимым розоватым мерцанием у крыш, деревьям тоже застыло в свето-цветовой невнятности.

Но краски складчатых фасадов не вытравились, только пожухли, взвесь пигментов угадывалась и в тяжёлом, будто насыщенный раствор, воздухе, ощущалось, что умбра, изумрудная, охра вот-вот выпадут разноцветным осадком, вернут набережной цветовую плотность, посрамив тягуче-долгую обманную монохромность. Вот и поливальная машина, выпуская у Биржи водяные усы, сверкнула синей спиной. А провисший небесный свод светлел, выбеливался, как полотно – заря, занявшаяся за крепостными стенами, готовилась положить на него свежие краски.

– Не успели, мост развели. Сумасшедшее такси проскочило, а мы... – выплюнул в окошко окурок шофер, затормозил; величаво поднималась асфальтовая преграда с убежавшими в зенит трамвайными рельсами, – куда ехать?

Стало тихо, затаив дыхание, прислушивались к щёлканью счётчика.

– Сейчас сообразим, – открыл дверцу Бызов.

уплывающие

Соснин вылез размяться.

Жадно глотал холодный воздух, спускался по пандусу.

Вдали баржи прижимались, казалось, к Летнему саду, ныряли под разводной пролёт Троицкого моста, медленно выплывали на середину Невы, на фарватер, устремлялись к Дворцовому мосту.

Еле слышно плескали на скользкую брусчатку пологие волны, подёрнутые ледяным блеском... вода поднималась?

Широкий сплошной поток, вздуваясь, раздваивался, обтекал закруглённый мыс, и Соснин, замороженный силой потока, стоял один-одинёшенек на одетом камнем мысу, стоял на плоской тверди, колеблемой студёным дыханием водной глади.

Вода поднималась.

Холод сковывал, съёживалась и лента дворцов, зажатая меж водой и небом, а он, продрогший, покорно стоял, Нева мощно и плавно неслась на него, бастионы и стены крепости отступали, раскисая в тумане, и Зимний дворец, Эрмитажный театр тонули – лишь карнизы, аттики, статуи выделялись на фоне неба; будто касаниями набухшей кисти, ритмично смазывались уносимые течением чёрные баржи. И пронзившую туман тусклую позолоту, камни, баржи, прибрежную рябь и брызги на этой границе сна и яви, ночи и дня, жизни и смерти породнила общая цель и участь... частицы тверди, воды и воздуха обменивались свойствами, уравнивались и – все вместе, как уже бывало когда-то, в детстве – растворялись в непостижимой, но прекрасной синкретичной стихии, утратив собственную форму, цвет, назначение, неслись, подхваченные бликующим у ног потоком, и Соснина, словно одну из скопища послушных текучему всесилью частиц, вместе со всеми ними, вместе со вскипавшими нехотя шарами лип, скруглённой могильно-холодной гранитной стенкой, к которой инстинктивно прижи-

мался спиной, вместе со всем Васильевским островом, заливом, морем, скалами Скандинавии сносило в цинковый океан.

задний ход

– Не утонул? – головы Бызова и Шанского темнели над парашютом, – возвращаться надумали, не околевать же на острове.

– Опять вы? – обречёно открыл дверь Художник, он был в трусах, – только посуду вымыли... сейчас штаны натяну.

– Чайник ставь, хоть и голышом, – захохотал Бызов.

В окно ударило солнце, распласталось по полу скользящим жёлтым параллелограммом, но картину при ярком утреннем свете Соснин не увидел – была завешена тряпкой, чтобы краски не выгорали.

Из-под тряпки, словно накрывавшей покойника, только грязные морщинистые ступни высывались.

Часть седьмая

Крылья и лабиринт

спросонья

Голова трещала, но давно пора было садиться за стол и сочинять для Филозова дурацкую справку.

первый звонок

– Где пропал вчера? Допоздна звонили, переволновались, и папа плохо себя почувствовал, давление подскочило. Неотложку даже вызвали ночью – уснул только после укола. Ты сам-то не заболел? Слава богу, я так боялась... ветрище, ужасные сквозняки. Да, чуть не забыла, фотографии, которые ты брал, надеюсь, в сохранности? Учти, это наша память, у нас больше ничего не осталось...

на связи Фулуев

– Илья Сергеевич, дорогой, в самостийное подполье ушли? – на связи не держите. А Филозов телефон оборвал, вас разыскивает остервенело! Страна на предъюбилейной вахте, а вы в постели?! Вставайте, товарищ, вас тоже ждут великие дела! И готовьтесь, готовьтесь морально к бане с холодным душем, шефа утренней головной болью не разжалобить, скажет, вечером надо было норму блюсти. Предупреждаю по-дружески, Филозов на объезд отменённых комиссией башенных пятен катит на всех парах, одно такое неказисто-невезучее пятнышко, если что-то не путаю, на генплане аккуратненьким квадратиком помечено, как на зло, под вашим окошком, – вкрадчиво угрожал Фулуев, – мужайтесь, готовьтесь удар держать; когда наскипидаренный шеф нагрянет, может статья, стопарём с угощением его умаслите? Иначе – страшен будет служебный гнев.

Мне бы кто стопарёк налил, – повесив трубку, усмехнулся Соснин.

ротозей за работой

Разложил бумаги, предался – думал, не на долго – созидательной созерцательности, о, сидеть так перед старинным бюро-конторкой мог он и час, и два, повинувшись желаньям глаз: туда ли, сюда посматривал, сочетания и наложения цветов, линий в нехитром убранстве комнаты, пейзаже за окном толкали к чему-то, что по причудам мысли из увиденного было готово вытечь, мысль своевольно перекидывалась к давнему какому-нибудь событию, как выяснялось, терпеливо таившемуся в блеске стекла или складках шторы, но теперь-то, именно теперь, дони-мающему ни с того, ни с сего.

Ох, пора братья за дело!

Однако не мог отвести глаз от облака, громоздившегося за чутким тюлем, и – дело побоку. Зато никакой пустяк не ускользал от жадного зрительского внимания – пожирались

все летучие картинки и случайные их обрывки, из них, если б их с умом склеить, сложилась бы захватывающая история его внутренней жизни.

ХОД ВЕЩЕЙ

Потянул дверцу шкафчика.

На полке – рулончик жалких студенческих литографий, в трёх вариантах – полоска песка, синее море, белый пароход; и ветхая картонка с крымскими ракушками, ещё какой-то бог весть зачем хранимый столько лет хлам.

Теперь – выдвижные ящички.

Так-так, в левом ящичке – шкатулка, сплошь оклеенная оранжеватыми ракушками-веерками, камушками, песчинками; сувенирными шкатулками торговали в курзале, упробил деда купить.

У задней стенки ящичка – полевой бинокль в футляре из коричневой толстой кожи, с наплечным ремешком, застёжкой с двумя железными кнопками.

А-а, вот он, сбоку, пухлый конверт.

Угол террасы с гипсовой вазой, меж затылками гостей яйцевидная лысина деда и – звуковой галлюцинацией – эхо его ласковых понуканий. И – утро, гости с хозяевами виллы у моря; многолюдный, как в сновидческих щедротях, телесный паралич пляжа.

Обтянутые купальниками, упитанно-упругие мама-Рита, Нюся, Марина, Шурочка почти полвека уже лежат, не старясь, рядом – зарылись локотками в песок, манерно подпирая вывернутыми ладошками смешливые, с ямочками на щёчках, одинаково коротко, по ушки, – под Нату Вачнадзе – остриженные головки, а сбоку, смазавшись, простёрлась чья-то чёрная длань с надкушенным абрикосом. В сторонке, особняком, – отец, молодецкато отжавшийся на руках. Узколиций, с лошадиными зубами, поределей, но ещё взлохмаченной шевелюрой. Его загипнотизировал глазок объектива, за плечами – дряблые бабьи ляжки, навес, шеренга тощеньких тополей; мрачным, с жарким контражуром, светилом завис волейбольный мяч.

Доктор Соснин. Хирург божьей милостью, кудесник, спаситель! А с пятьдесят третьего не у дел: вместо ежедневных священнодействий в операционной – рутина туберкулёзного диспансера на Обводном канале, мышинная общественная возня, от которой спасался в кабинке с заваленными историями болезней конторским столом, колченогим топчаном под застиранной до дыр простыней. Однако в юности судьба готовилась с отцом обойтись покруче – из смертельно сжимавшихся тисков потихоньку, не геройствуя, выскользнул; заканчивал юридический факультет, выпуск забирали служить в ЧК, и он накануне диплома бросил университет, поступил в медицинский... божьей милостью?

Запечатлён безвестным шутником, сфотографировавшим фотографа, и творец бессмертной пляжной серии в момент производственного экстаза, за ловлей кадра. Бугристо-лысый череп в обойме лёгких волос, навечно расхохотавшийся клыкастый рот – Сеня Ровнер издевательски целит своей вездесущей «лейкой» в Соркина с Душским; те в водевильных юбках из полотенец, в потешно-шатких позах – Григорий Аронович с трагедийно запрокинутым носатым профилем балансирует на одной ноге, Леонид Исаевич, самая грация, криво согнувшись и теряя равновесие, беспомощно тянется обнять постоянного, не разлей вода, оппонента. Не оставляя, похоже, дискуссии об этимологии патологий, учёные мужи меняют исподнее после купания; а на победителе времени, спасителе соблазнов, забав плотского пляжного ералаша, тощем, кожа и кости, Сене – необъятные, обвисло-длинные, ниже колен, тусы.

Уставился в тёмное красное дерево, битком набитое всяческой дребеденью; рассыхающийся футляр для требухи времени.

Посмотрел в отцовский бинокль. Мазня вместо знакомых предметов.

Зачем-то выдвинул крайний правый ящичек, достал готовальню. Легко надавил замок – плавно поднялась крышка. Пепельные пропleshинки на чёрном, с фигурными вмятинами, бархате. Сточенные рейсфедеры. Опустелое ложе балеринки. А вторая балеринка осталась – без стяжного винта, с несгибающимся коленцем. Обмылочек китайской туши. На фарфоровой, с круглым углубленьем в центре, площадке еле заметная, тоньше волоска, трещинка.

Открыл балконную дверь, вновь вооружился оптикой, покрутив колёсико, навёл на резкость дома, деревья. Благодать.

Но – вернулся к бюро.

Подаренный когда-то, на заре туманной, Нешердяевым, изданный в 1913 году Вёльфлин в надорванной мягкой тёмно-серой обложке; давненько, пожалуй, с ночи обрушения злополучной башни, не перелистывал. «Тоска души, жаждущей раствориться в бесконечном, не может довольствоваться законченными формами, чем-либо простым и доступным обозрению. Неограниченные пространства, непостижимое волшебство света – вот идеалы нового искусства»; эка – эпоха ренессанса меркла, барокко опаляло страстью к неограниченному, непостижимому! И эпохи сменялись, художественные страсти угасали, вновь разгорались. И опять, оказывалось, не приставало довольствоваться законченными формами, опять влекло в неизвестность... – нужны новые формы. Кому нужны? Зачем? О чём всё-таки вчера проспорили за полночь? Голова трещала. Кофе всё, что было дома, допил, надо бы покрепче заварить чай. Под шкафчиками – десяток коричневых томов манновских сочинений, машинально вытащил наугад один, открыл. Ну да! «Что такое время? Бесплотное и всемогущее – оно тайна, неперемное условие мира явлений, движение, неразрывно связанное...». И чуть дальше – «теперь» отлично от «прежде», «здесь» от «там», ибо их разделяет движение, но ведь «прежде» постоянно повторяется в «теперь», «там» – в «здесь»... где-то посередине тома, вспомнил, замечательный, ошарашивающий своей прямоотой вопрос – «можно ли рассказать время, какое оно есть, само время, время в себе»? Довеском к десятичному бастиону идей и образов – стопка потрёпанных книжиц. Всё, что осталось от дяди.

Нет, не всё! А само это бюро? И очаровательная нелепость в неряшливой пустоватой комнате, дарёная, достойная дворца-музея, шпалера – крапlachно-рыжие кроны вековых клёнов над белокаменным, с башенкой, домом, сбегаящая с пригорка девочка в розовом. У Нелли хищно полыхнули глаза, замерла в стойке опытной оценщицы.

Опять постоял у балконной двери: теплынь. Нелли приходила таким же внезапно-тёплым, только ещё без листвы, летучего пуха, солнечным днём; ветер раздувал волосы, как перья у собиравшейся взлететь птицы.

Она, наверное, уже в Италии.

Филозов рядом

Гардина колыхалась, сквозило.

В законную сине-зелёную благодать, величаво потряхиваясь на асфальтовых колдобинах, вкатила сияющая небом чёрная «Волга», распахнулась дверца с припухлой красной изнанкой. Филозова обступили прорабы, помощники с блок-нотиками; запрыгали, забегая вперёд, приседая, фотокорреспонденты. Он размашисто жестикнул, властно вышагивая по раскисшей глинистой размазне, которая помечала отменённую башню – повелевал благоустроить, разбить цветники, фонтаны.

Только б не заходил!

Но Влади садился в машину; хлопнула дверца.

Пронесло!

иное в слепой печати

Дед на террасе, в кресле, смотрит с виноватым испугом. Другие – молоды, беззаботны; потом и они старели, на лицах год за годом проступало пережитое; тревоги, болезни и смерти близких сгущали, углубляли морщины, наполняли глаза испугом. Сложил фото, задвинул ящичек с бесценным конвертом. Реечная шторка бюро сползла по дуге, точнёхонько вошла в паз.

Написать бы поскорее идиотскую справку! Красота... всего-то-навсего надо написать для отчёта расследовательской комиссии справку о красоте, необходимой и достаточной, в понимании Влади, добавке к архитектуре. Издевательское поручение, слов нет. Но давно пора отвязаться... после чая треск в голове сменила тупая боль. Полез за авторучкой, растерянно вытащил из кармана смятую машинопись – вчерашнее волшебное подношение от Люси Левиной, ну да, последняя копия; разгладил листки папиросной, со слепой печатью в столбик, бумаги.

Пленное красное дерево... квартиры в Риме – сколько «р» насчитал в строке Шанский?

.....
В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где, то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви
.....Я, певец дребедени,
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь
в недрах вечного.....
Шорох старой бумаги, красного крепдешина,
воздух пропитан лавандой и цикламеном...

из глубины еле различаемых строк всплывало иное. Глаза потянулись вверх, снова:

И, как книга, раскрытая сразу на всех страницах,
лавр шелестит...

Шелест лавра отвлекал, сбивал смысловую ритмику, о-о-о – преображались вереницы литер, стоящих в очередях за смыслом; книга, раскрытая сразу на всех страницах... Вот оно! Это – город, его тотальная событийность. Город – суть бессюжетный текст, точнее, текст, творимый толпами бродячих сюжетов-судеб, обживающих камни, симбиоз пространства и слова; бесконечная перечислительная элегия предметов, лиц, состояний, удел которых – забвение.

Услышал, наконец, трель дверного звонка. Только Владилена не хватало сейчас, неужели вернулся?

Нет, плотного сложения почтальонша.

Ценная бандероль с внушительной сургучной брошью.

Что это?

разумеется, рукописи

Обратный адрес смутил: Тбилиси, улица Плеханова... А-а-а! – дёрнул за измочаленный шпагат, сургуч раскрошился.

В толстенный том научного отчёта «Об испытаниях антисейсмических конструкций полносборных домов, характере обрушений, статистическом анализе динамики роста бракованных, требующих усиления панелей» было вложено короткое письмецо. *В дополнение к обещанным материалам лабораторных испытаний, – сообщал Адренасян, – посылаю Вам... Вот так номер! – Разбирая архив отца, я наткнулся на фото Ильи Марковича Вайсверка, его давнишнего петербургского друга, сокурсника по Институту Гражданских Инженеров. Очевидное сходство с Вами, впечатления от нашей с Вами недавней встречи, убеждали, что Вы и есть тот племянник и тёзка Вайсверка, о котором он сам, называя Ваше имя, фамилию, незадолго до кончины писал отцу с просьбой переслать... Последний раз отец и Вайсверк виделись в Москве после более чем двадцатилетней вынужденной разлуки, когда Илья Маркович вернулся из ссылки.*

Буквы поплыли. Ещё одно совпадение?

Адренасян продолжал: *у отца, перебравшегося в декабре тридцать четвёртого на Кавказ, – возможно, отъезд уберёт его, в отличие от брата, Арсена, от сталинских чисток, конвейер которых запускался именно тогда в Ленинграде, – сохранился итальянский дневник Вайсверка, дополненный позднее разрозненными заметками – он вёл их затем отрывочно, от случая к случаю. Посылаю также копии нескольких его писем отцу, связанных с итальянской тематикой дневника. Надеюсь, Вам будет интересно... и пр. и пр. Прошу прощения за плохое качество копий... И пр. и пр.*

врасплох

– Какая хворь свалила богатыря? – орал Влади, – или от возмездия прячешься?! Так и подмывало нагрнуть, чтобы творца разобранном, в неглиже, увидеть и устыдить, однако не в пример тонким натурам, в художественных грёзах почившим, времени у меня в обрез – из машины звоню: на объезде под твоим балконом прорабам-раздолбаям дрозда давал, клумбу с фонтаном велел тебе подарить взамен кособокой башни. Ладно, не виляй, перебрал, так рассолу попей и – вперёд! Окно зашторь наглухо, чтобы не отвлекаться, и – за «Справку» садись, пиши, пиши, безвылазно, не отрывая зад, нет-нет, завтра должна быть готова, чтобы в День Здоровья комиссия могла подвести черту – для тебя завтра крайний срок. Что сложного? Выдели необходимые и достаточные признаки красоты при неукоснительном соблюдении пользы, прочности. Что? Отчёт получил по почте? Bravo! Только при чём там антисейсмические испытания? Кто-кто, какого ляда профессор Адренасян? Ну, да-а?! Брависсимо! А кто-то, самый умный, помню, отлынивал, лететь в Тбилиси отказывался, – прищёлкивал языком от удовольствия Влади, – раскусил? Будешь теперь мудрость и деловую интуицию начальства ценить! И узелок на память завязывай – снаряжайся, сухопутный умник, по морям, по волнам. В десять ноль-ноль 2-го июля, в субботу, да, в рабочую для нас субботу, на Петровском острове, яхт-клуб «Буревестник».

суть по-Фулую

– Всё занято и занято, не пробиться! С кем вы, Илья Сергеевич, до беспамьятства заболтались, а? Или итальянскую забастовку надумали объявить? Прошу не фрондировать в юбилейный год! И прошу извинить, но до сути я не дошёл. Вы ко Дню Здоровья поправитесь? Ведь последнее, решающее, между прочим, и для вашей судьбы, заседание комиссии близится, удивительно ли, что Владилен Тимофеевич, выходя на бурный финиш, разнервничался? Так вы по бюллетенчику законно укроетесь в амбулаторно-домашнем режиме до 2-го июля или отпретесь у руководства? Меня торопят табель сдавать...

Солнце садится в сады и виллы... –

краем глаза читал Соснин.

дневник Ильи Марковича Вайсверка

Сдул с тёмно-синего клеёнчатого переплёта сургучную пыль.

Тетрадь как тетрадь.

Поля страниц очеркивали бледно-голубые линии; такими разлиновывались школьные, тоненькие – за неделю уроков исписывались – тетрадки для русского языка и литературы в обложках из плотной матовой зеленоватой бумаги.

Это же была тетрадь-долгожительница.

А так – вполне обычная, толстая, пожалуй, потолще тех, что называются «общими». Тесные, со скупыми абзацами, массивы строк, кое-где аккуратненько, так что и буквы было не различить, вымаранных, разбивались датами, пробелами, словно оставленными для заголовочков. Иные заголовочки Соснин, читая, тут же по своему вкусу прикидывал, мысленно вписывал. Тетрадь заполнял знакомый по письмам к Софье Николаевне идеально ровный, будто машинный, почерк.

Рим, 4 февраля 1914 года

Вчера в полдень выехал из Зальцбурга.

Ясное небо, прозрачность, белизна Альп; открыточные скалы с хрустальными водопадами. К вечеру – морозящий дождь, канитель на Итальянской границе: угрожающие, со вскидыванием ружей, манёвры берсальеров или как там ещё называемых, разодетых, хоть в оперу, молодцов. Затем – беготня вразвалочку толстых станционных чинов в шикарных красно-чёрных фуражках, а с долгожданым третьим звонком из окон и дверей вагонов полетели баулы, повыпрыгивали уже на ходу под крики, лай собак, смуглые люди с детьми, словно раздумал ехать цыганский табор. Оказалось, меня угораздило сесть в поезд, который отправлялся кружным путём.

Поезд с толчками, частыми остановками тащился по приморской ветке от Ливорно на юг, всю ночь я не сомкнул глаз; забрезжило, рассвело, грязно-рыжая, с высолами, земля бежала вдоль железнодорожного полотна, вильнула лента разбитой каменистой дороги с ранней арбой. И вдруг сказочно всплыл меж холмами купол. Он наплавал, вырастая над подёрнутой дымкой буроватой рябью крыши, паровоз пыхтел, замедлял ход, состав замер у замусоренной безлюдной платформы с надписью по гнутой железной табличке, укреплённой поверх ограды: Roma, San-Pietro. Не в силах дожидаться прибытия на главный вокзал, я с поклажей, тяжёлой, колотившей по спине фотокамерой, выскочил из вагона, скользя по тропинке, вившейся в ржавчине прошлогодних колючек, спустился к сонным обветшалым домам и с первыми лучами солнца вошёл в собор.

Впечатления от грандиозного подкупольного пространства срамили самые дерзкие мои ожидания. А снаружи – обманывала камерностью большущая площадь, которую обнимала колоннада Бернини.

унял нетерпение

Не стал перелистывать страницу, зачем-то медленно пересчитал коричневые манновские тома, да, ровно десять.

Потянулся к тонюсенькой, лежавшей сверху книжице; фронтиспис с дарственной блеклой вязью: «милейшему Илье Марковичу Вайсверку, первому из друзей-петербуржцев, встреченных...», ещё с три короба мечтательно-восторженной ахиinei.

Приложением – мечтательно-восторженные стихи.

.....гранитный городь,
Взнесённый Словом надъ Невой,
Где небосвод давно распороть
Адмиралтейскою.....
Как явь, вплелись вь твои туманы
Виденья двухсотлетних сновъ,
О, самый призрачный и странный
.....

Вытащил из-под стопки книжек, привычно открыл наугад Анциферова.

И будто по заказу открыл: «у Мойки остров, обнесённый высокой красной стеной. Канал разрывает её, а над каналом высится величественная арка, достойная украсить Вечный город...»

Рим, 23 марта 1914 года

Жирная бирюза многоярусных глазниц Колизея.

Огромность спящей вечным сном, заселённой ящерицами базилики; могучие своды, плещущими трепетными заплатками расползается по растрескавшейся неровной кладке, пенки каменных стволов оплетены вьюнком с лиловыми огоньками. И до чего же огромен весь Рим! – не размерами своих памятников, улиц и площадей, но тем, что скрытно в нём продолжает жить. Поражает внутренняя сила пространств с мягкими, оплывшими – усталыми? – контурами, пространств, столько веков вобравших.

От послеполуденной жары ли, волнения так давит грудь?

Идёт второй месяц моих блужданий в оставшихся от империи развалах пространств и лет; очарование смиренно отступивших в тень прошлого древних церквушек, прославлявших первых мучеников-христиан, обломки потемневшего античного архитрава с выщербленными гуськами и модульонами, подпирающие сколоченный кое-как, со спутанною бахромою дикой лозы навес, сонные заброшенные дворцы, сады с давно забытыми свои дни рождения паркетами, ступенями, балюстрадами; каменные аффекты барокко, и – музыка, возбуждение пирующих и нищенствующих вокруг фонтанов Навоны, и – шаг в сторону – мёртвая тишина переулков, разбитые, с лишаями травы, мостовые перед надменными фасадами; и воркотня голубей, пыль, чад и дымы жаровен, запахи уличной остерии, мягкий сыр, пучки свежей зелени, суета крикливых торговцев и покупателей у вяло скруглённой, заросшей грязными коростами старости аркады театра Марцелла, где я остановился, чтобы перевести дух. Естественная пестрота множества мгновенных картинок захватывает какой-то поначалу необъяснимой

мощью, но хаотичные впечатления, откликаясь на тайные мои ожидания и с лихвой оправдывая книжные обещания, вдруг парадоксально сливаются в панораму величавой меланхолии Рима, творцом которой могли стать, наверное, лишь напряжённо прожитые века. Наверное... я не решаюсь хоть что-нибудь сказать твёрдо. История недолгих моих отношений с Римом – это история возвышенного непонимания; как такое смогло сложиться, – спрашиваю себя едва ли не на каждом шагу, пытаюсь прочесть всхолмлённые письма, – был ли у предусмотрительно творившего времени изначальный многовековой план или во все эпохи властвовал жребий, для Рима, накопителя перемен, всегда счастливый? Тщусь обнажить запряжённые в каменных складках первоосновы, разгадать художественные импульсы перемен, которые для меня интересней, чем импульсы исторические, но болезненное любопытство моё к вечеру так и остаётся неудовлетворённым, засыпая, возлагаю надежды на очередную попытку расшифровки хотя бы отдельных знаков пространственной криптограммы. С холма на холм, с холма на холм, Рим при взгляде как бы извне, с каждого из холмов, – другой, но и неизменный тоже. Будто бы провалившийся, затихший и выцветший там, внизу, раскрытый на причудливые панорамные ломти, – их и мысленно сплотить трудно – удаляется от меня, покачивая на волнах потускневшей черепицы купола, колокольни. Засматриваясь, как вдруг не соскучиться по шуму, краскам? Всё внутри Рима, на его улицах, площадях, выглядит действительно так, как было мне обещано в книгах. И всё – совсем не такое, каким при чтении представлялось. Изо дня в день – магия рассеянных сюжетов, ждущих своего часа в извилах душевного лабиринта, сюжетов сонливых ли, быстролётных, запускаемых случаем в любом направлении из любой точки этого непостижимо старого, да так и не одряхлевшего города. Стакан Valpolicella опьяняет поэзией. Цоканье копыт. Палящее солнце. Горячий аромат лавра. Шершавые плиты под облаками пиний. Желанная синева теней. И зовущий рокот воды, сбегаяющей с позеленелых мускулов бронзы в мраморное блюдо, взлескивание монет на дне. И – с непосильным ужасом, до перехвата дыхания, нетерпением – на Капитолийский холм! Опять каскад пологих ступеней плавно влечёт к карнизу Дворца Сенаторов, к небу, опять медленно вырастает из узорчатой площади античный всадник на овальном пьедестале: вглядывается в новый для него, возвращённый папами, Рим, прозревает время.

Поверхностные впечатления, рассыпаясь, не исчезали.

То, что мне было известно по свидетельствам пытливых и восторженных путешественников прошлого, непрестанно преображалось тем, что я видел. Ежедневно придумывая наново Рим, я открывал давно открытое для себя, потом не мог выпутаться из сети наблюдений и умствований, которую прилежно плёл.

Писал Соне, отчитывался. Но по-настоящему почти полтора месяца не брался я за перо – только смотрел, смотрел, поневоле преодолевая книжные знания, смотрел, что называется, прозапас, не спеша себе объяснять увиденное, но сегодня на площади Капитолия почувствовал, что переполнился. Наверяд ли смогу изложить увиденное систематически, возможно ли из отобранных интуитивно, окрашенных эмоционально обрывков впечатлений собрать нечто убедительное и цельное, бог знает, однако образ моего Рима, как я ни боюсь ошибиться, надеюсь, начинал складываться.

Ну-ну, бог в помощь, вперёд! – Соснин перевернул страницу.

Рим, 24 марта 1914 года

В третий раз отправляюсь на Палатин, тащу на плече фотокамеру. У меня есть уже своя замечательная тропинка, за аркой Константина и покосившимся столбом с указателем «Fogo Romano», направо... я медленно поднимаюсь по тропинке на сочно-зелёный, с подвижными тенями холм – свежий воздух, опушенные солнцем мягкие кроны сосен, в которые время от времени врывается с шумом ветер; Палатин, словно островной возвышенный заповедник энергии, не ею ли тысячелетия, поглотившие и века упадка, до сих пор дышит и живёт Рим?

Поднимаюсь с напутствиями плаксиво-горестного просвещённого римлянина пятнадцатого века, в студенческие годы я вычитал его указующе-вопрошающие сетования в каком-то исследовании римской античности, всё запомнилось слово в слово: «взгляни на Палатинский холм, взгляни на огромные бесформенные развалины. Где мраморный театр, гдеobelisks и величественные статуи, портик Неронова дворца»? И я, поднявшись, взглянул, и не впал в уныние, не встретившись с тем, что давно исчезло, ибо, показалось мне, увидел то, что никто до меня не видел. Странно! Покой и возбуждение одновременно испытывал я, когда поднимался на Палатинский холм впервые, так и сегодня... покой и возбуждение – это вообще, понял я вскоре, характерное для меня римское состояние, но я испытал его впервые на Палатине. Опять и опять – впервые! В складках и впадинах – барабаны красных колонн; их прерывистые, по границам нефов, ряды, дуги правильных, по циркулю проведённых кругов, красно-бурые торчки бог знает когда обрушенных пилонов и стен – на пористой бутовой кладке, как стёршиеся рельефы, наслоения облицовочных кирпичей – позволяли угадывать размеры безымянных базилик. Эти складки и впадины с немymi камнями, заманивали взгляд в глубину истории, от них веяло таинственностью замкнутых захоронений, но чем выше я поднимался, тем чаще и разнообразнее красно-бурые руины сопрягались с руинами позднейших эпох. Сюда в решающий миг выбора слетелась дюжина вещей коршунов, где-то поблизости, возможно на том самом месте, где я остановился, Ромул убил неудачника-Рема и заложил город; обхожу невнятные фундаменты имперских дворцов и вилл, дом Ливии... на расчищенных наспах фресках, легкомысленных, как все те античные фрески, которые попадались мне на глаза – небеса, гирлянды, крылатые гении, чудесно выписан вид из окна на римскую улочку. Я осмотрелся. Как обогатилась палитра! С минуту назад главенствовали два цвета – суровые красно-бурые камни, тёмно-зелёное колыхание теней, хвойных масс, сейчас, на залитой солнцем макушке холма, и синее небо, и белые стены, и серые неровные цоколи меж кустами ещё не распустившихся роз, и жёлтые пышные соцветия на низких деревьях с жёсткими блестящими листьями. А глубоко внизу, за обрывом обзорной площадки – её мостили безразличные ко всему, что их окружало, голые по пояс каменщики – изумрудный удлинённый овал древнего ипподрома, правее и дальше, до затянутого маревом горизонта – пятнистая блекло-лиловая городская зыбь.

Многоликий Рим простирался, не зная своих пределов? Растекался, и, концентрируясь в символических сгустках, напрямую обращался ко мне?

Хорошо бы... я самонадеянно ждал таких обращений, что-то подсказывало мне, что Рим – это самое важное из того, что мне суждено за свой век увидеть.

Фотографируя, я медленно передвигался по выложенному растрескавшимся плитам краю дорожки, окаймлявшей глубокую прямоугольную впадину; внизу – базы колонн, травянистое, в проплешинах, дно базилики, наверху, тут и там – рваные уступы красных, с чёрными арокными провалами, стен, над ними, на разновысоких каменных террасах, картинно позировали для съёмки пинии. Раздолье для фотографа, каждый шаг сулил новый соблазнительный снимок, но глаз, казалось, уже насытился. И тут... одолев крутую лесенку, я очутился перед торчавшими одна из-за другой, красно-рыжими, пылавшими на солнце руинными стенами. За каменными языками пламени, на фоне бездонной синевы темнела бархатная шапка пинии, а в дверном проёме дальней стены, пробитом в небо, в дымке за кустами серебристо светилась какая-то точка.

Я присмотрелся.

Это был купол Святого Петра.

Так Палатин вознаграждал меня знаком зримого единства римских эпох. Но кто мне теперь поверит, что я его, этот знак, действительно видел?

У меня, как всегда перед главным снимком, закончились фотопластины.

Спускался я по другой тропе, тоже случайно открытой мной, тоже замечательной, спрятанной от посторонних глаз в густых зарослях. Местами тропа расширялась, прерывалась кривыми, на разную глубину вдавленными в землю ступенями с кое-где сохранившимися, заросшими мхом перилами, в темени под кустами валялись обломки каменных ваз. Справа забелела меж стволами пиний арка триумфатора-Тита, усмирителя Иудеи, пригруженная фоновой громадиной Колизея, впереди – три мрачных провала, могучие пещерные своды более чем внушительных останков базилики Максенция, поодаль тоннел в хвое аттик арки Константина... разгромил войско Максенция, провозгласил победу христианства, но арка его, великого победителя, щедрая на детали, рельефы, куда скромней, по крайней мере, по размерам своим, чем базилика поверженного врага... слева, за базиликой – не отвести глаз... я спускался к Форуму.

Мигом поменялась палитра.

Можно ли заново подобрать цвета этой белёсо-розовато-коричневатой гаммы? Кажется цвет импрессионистски дробился на оттенки, бликовал в весенних лучах, как дробился и бликовал весь этот невообразимый ландшафт – скопище осколков античного великолепия дополняли руины под грунтом, проросшим короткой травкой; зелёные смятые бугры вздувались близ крохотного круглого храма Весты и трёх высоких изящных колонн, напоминавших о храме Кастора и Поллукса, да ещё – заплатки бульжного мощения, известковых плит, прерывистые прочерки ступеней. Я шёл по Священной дороге; по сторонам от неё сгущались и растекались по изумрудной зелени умбра, марс, сиена с охрой и терракота, свойственные и позднейшей римской палитре... и раскиданы были повсюду камни, белые, бледно-розовые камни там и сям, канонические обломки как неканонические детали.

Сколько я бродил здесь! Но едва ли не с первого беглого взгляда Форум пленил меня весь, целиком, и теперь, откуда бы ни смотрел, что бы ни помещал в подвижное поле зрения, я, по сути, рассматривал каменные следы центральной площади погибшего Рима, случайно и разрозненно сохранившиеся после пожаров, нашествий варваров и расхитителей всех мастей, как некое обширное самостоятельное произведение – чуткую к играм света и тени ландшафтную мозаику, выложенную временем; мне, признаюсь, не очень-то интересен изначальный облик того ли, этого из скопища храмов, которые, если вдруг поверить довольно безответственным по моему разумению проектным попыткам реконструкции, когда-то, целёхонькие, похожие, словно близнецы, пусть и разного роста, теснились бок о бок на беломраморном параде стилобатов, колонн, фронтонов. Исполненные восторга кучки немцев и англичан с благоговейно-серьёзными минами слушали завиральные гимны гидов неземным красотам порушенного величия, бывало, и меня душил восторг, хотя, пожалуй, именно здесь, на Форуме, где уместнее всего предаваться исторической и эстетической меланхолии, спазмы восторга лишь обостряли чувство покорности, смирения перед могуществом времени, обратившего всесильную империю в эти камни; однако бескрайняя вольная композиция из них, этих камней, вздыхала, вздрагивала в разогретом воздухе, фантазию я не мог унять. Мраморные изыски античных зодчих, скульпторов, брошенные в гигантскую дробилку веков, превращались в исходный материал для новых рельефно-мозаичных художеств.

Илья Маркович Вайсверк – фантом? Лишь фантому дано запечатлеть увиденное так гладко, так взволнованно и... так абстрактно. Рассудительное, хотя доводящее до невменяемости восхищение глаз, ничем, как казалось, не связанное, не ограниченное, ни о теле, ни о душе ничего не знавшее. Фантомный стиль? Но фантом ведь материализовался, ожил, войдя в прихожую, сняв шляпу. Соснина и сейчас придирчиво изучали из пожелтелых морщинистых мешков век дядины замутившиеся глаза, на скулах проявлялся узор красно-лиловых прожилок. Неужели фантом жевал кисло-сладкое мясо, уезжал навеселе в Москву?

И всё-таки об Италии, плутая взглядом, писал фантом.

...потемнелые колонны, они остались от портика храма Сатурна, за ними... – Соснин пропустил абзац, безуспешно пытаясь вслед за Ильёй Марковичем увидеть вместе всё то, что так его волновало.

Не дойдя до окончания ступеней, помечавших, если не ошибаюсь, контуры стилобата собора Юлия, я свернул со Священной дороги у колонны Фоки – стройной, канелированной, с сохранившейся коринфской капителью... – я услышал, как гид громко сказал по-немецки. – Это позднейший, уже христианский памятник Форума, колонну поставили в честь византийского императора Фоки, он даровал Риму привилегии. Невольно прислушиваясь к голосу гида, я понимал, что мне мало интересен сам по себе Чёрный камень, предполагаемая гробница Ромула, не очень-то волнует меня, где именно стоял Золотой столб, точка отсчёта расстояний до всех городов империи, где был пуп Рима, совпадавший, само собою, с пупом земли. Обогащённый, однако, новым знанием я упёрся взглядом в ничем не примечательный фасад Куриш, чуть правее белели разрозненные камни, оставшиеся от собора Эмилиш, за ними – в густой тени, солнце было в зените – возвышалась боковая стена, кажется, храма Антонина и Фаустины – с выносным фризом и приставленным к лицевому, смотревшему на Священную дорогу фасаду частоколом колонн. У вылепленной лучами трёхпролётной арки Септимия Севера, как напомнил гид, покорителя Месопотамии, я – заминка здесь становилась привычкой, может быть, ритуалом – я замер, полюбовался рельефами над фланкировавшими главную, широкую и высокую, арку низкими и узкими арками, оглянулся, потом прошёл под главной аркой и опять оглянулся; позавчера я снимал отсюда, против яркого света – спереди затенённый, испещрённый рельефами массивный объём с четырьмя субтильными, слегка оплывшими колоннами, приподнятыми на высокие пьедесталы, за ним, этим тёмным объёмом, в солнечной перспективной глубине главной арки, как в каменной раме, напозлали друг на друга, рассекались тенями – вплоть до далёкой арки Тита под округлыми облаками хвои – остовы двorcов, храмов.

Торопился перечислить, уплотняя в слове, вмещая в кратчайший отрезок времени, всё, что успел схватить и охватить взгляд?

Фантом в роли жадного торопливого созерцателя?

Арку Септимия Севера обступали крикливые торговцы, денёк выдался не по-весеннему жаркий, и они поджидали жаждущих и проголодавшихся у финиша осмотра – вокруг пили-жевали усталые паломники-иноземцы, я тоже выпил воды со льдом, купил апельсин на дорогу.

Солнце сдвигалось, к ногам подползала фиолетовая тень арочного пилона.

И случилось очередное – какое по счёту? – изменение цветовой гаммы, вспыхивали коричневые тона, едва их трогал горячий свет. А я уже предвкушал довольно крутой подъём – ещё не заглянув в карту, я при первом посещении Форума заметил меж земляных откосов и полуразрушенных подпорных стен лестницу, которая вывела меня к задам Капитолия.

Комичное пренебрежение. Папский Рим демонстративно повернулся спиной к святыням язычников, пусть и поверженным?

То, что случилось с теми святынями, глазам того самого, но уже не на Палатинский, а на Капитолийский холм поднявшегося, просвещённого римлянина, сетования которого я произвольно запомнил, действительно являло жалкое зрелище: «огороды тянутся вдоль дороги победителей, как по пастбищу, бродят буйволы, свиньи, нечистоты оскверняют места, где стояли скамьи сенаторов». Но сейчас-то – ничего ужасающего, никаких средневековых надругательств, видел я опять то, что никто до меня не видел; взбираясь на Капитолийский холм, я с кощунственной благодарностью поглядывал на руинные россыпи, собранные в объёмную, плавающую на солнце мозаику.

Рим, 24 марта 1914 года (поздно вечером)

Не сразу я уловил и собрал воедино пространственные тонкости, поигрывая которыми Микеланджело ваял капитолийский ансамбль.

Сначала меня отвлекали собственно скульптурные элементы – не чересчур ли велики бессмертные Диоскуры? – братья-близнецы со своими конями симметрично высились по обе стороны от пологой лестницы там, где изливалась она на площадь; статуи же, выстроившиеся поверх балюстрад, которые венчали все три дворца, напротив, как я подумал, малы. Да и Марк Аврелий, медленно, пока я поднимался по лестнице, вырастая на фоне выставшего вслед за ним двухмаршевого крыльца Дворца Сенаторов, оставался всё же обидно мал, ибо был зажат между могучими Диоскурами, а на самой площади, смутно почувствовал я, когда ступил на неё, как-то неуверенно – собственная неуверенность явно претила императору – плавал, словно место для него до сих пор так и не выбрали окончательно.

Я готовился продолжить придирки – не стоило ли придвинуть бронзового всадника поближе к лестнице, чтобы он мог получше рассмотреть Рим? Подойдя к памятнику, я почувствовал, что место для него выбрано точно и испытал мистическое желание дотронуться до стремени самого умного из императоров, но, конечно, не смог бы до него дотянуться: высоко. И, стало быть, гонитель христиан, вознесённый на пьедестал и, ещё выше, на круп коня – с какой врождённой монументальностью он восседал в седле! – отлично мог видеть преображённый веками христианства город. Императора-стойка обрекли на вечную муку? Каково ему, сосланному во враждебную эпоху, вместе с капитолийскими дворцами повернувшись спиной к руинам античности, застыть в фокусе барочной площади? Нет, что-то из древних камней он мог увидеть и спереди. Если бы скопился вдруг левый глаз, если бы чуть короче был микеланджеловский фасад слева, император увидел бы за рощицей юных пиний хорошо знакомые ему аркады театра Марцелла, коринфские колонны, оставшиеся от храма Аполлона, увидел бы такие близкие ему в прежней жизни арки, колонны, такие дорогие обломки. Но он не был чувствителен, и ничуть ему не мешали сужавшие обзор дворцовые шоры, он сурово смотрел прямо перед собой, только прямо, как всегда и раньше, когда правил необозримой империей, привык смотреть, – смотрел на наскучившую за столетия рябь далёких крыши, чуждой и чуждый, ничего не говорящий сердцу собор Святого Марка, неприветливо-тёмный кирпичный угол дворца Венеции с блёстками стёкол, которых касалось солнце, смотрел, не отводя глаз, на запрудивших площадь извозчиков, одни отъезжали, другие подъезжали. Бессмысленная кутерьма, кружение на месте. Он не замечал изменений; разве что подрастали пинии. И что же мог сказать его странный жест, действительно ли так он приветствовал легионеров? Вряд ли – жест был вовсе не властный, не указующий, скорее – отрешённый; Аврелий, умевший смиряться с неизбежным, смирился и с уготованным ему судьбой и временем зрелищем.

Только что я зачарованно бродил по Форуму, где века и камни сотворили необозримую руинную мозаику, и вот, поднявшись на холм на сей раз не по торжественной осевой лестнице, а сзади и сбоку, пройдя между Дворцом Сенаторов и Новым дворцом, я у памятника Аврелию, в том самом фокусе относительно молодого ансамбля, который, к счастью, не успели разрушить годы, который охватывался одним, пусть и круговым, взглядом.

Микеланджело бросил вызов хаосу Рима? И воплотил свой идеал гармонии в камерной, по сути островной, противопоставленной окружению композиции – гармония вынесена из города на Капитолийский холм, буквально парит над хаосом, ей не пристало застревать в паутине улиц...

Покружив у памятника по узорчатому мощению, снова подойдя к Диоскурам, придирчиво сравнив их с Диоскурами петербургскими, зализанно-белыми сторожами Конногвардейского манежа, я вспомнил, что братья-полубоги были бессмертны по очереди, пока один жил, другой томился в загробном царстве, встретить их на этом свете вдвоём вот так, в позах

для парного бессрочного снимка, удавалось лишь благодаря художникам, верным пластической симметрии... я оборвал досужие размышления и, наконец, внимательно осмотрелся.

Дворцы, сложенные из золотистого травертина, были исключительно хороши, на мой вкус, особенно дворцы-визави – Новый дворец и дворец Консерваторов.

Упругие, телесные, изумительно прорисованные. Разорванные, накладные фронтоны над окнами – лучковые и треугольные... все детали вписывались в ритм пилястр, которые расчленили двухэтажные фасады.

А как прорисованы карнизные тяги! Но стоило ли цепляться за разрозненные штрихи гармонии?

Кружа по площади, я продолжал оценивать тонкости ансамбля; о каких-то я знал, но главное для меня – увидеть, используя собирательность зрения, доказать себе то, что давно стало общеизвестным.

Фасадные грани боковых дворцов были не параллельны, слегка развёрнуты по отношению к центральному Дворцу Сенаторов. Не впервые ли здесь нащупан приём, введённый затем в моду вторым барокко? При фронтальном осевом взгляде обыгрывался театральный эффект обратной перспективы, центральный дворец казался чуть больше, выше, а пространство трапецевидной площади, раскрытой к лестнице, если обернуться и вслед за Аврелием посмотреть на плывущие наслоения сосен, фасадов, крыши, благодаря обострению нормальной перспективы, распахивая панорамное окно, в то же время уютно замыкалось в себе. Что ещё? Мне самому противна привычка разбирать на бумаге схваченное глазом по косточкам, замещать взгляд перечислительной словесной абракадаброй, однако со второй натурой не совладать – ещё была балюстрада со скульптурами, ограждающая площадь слева и справа от лестницы; такая же балюстрада – вдоль лестницы, такая же, – я всё кружу, верчу головой – пробитая синевой неба, протянулась и над карнизами трёх дворцов. Площадь слегка сужалась к лестнице, но сама-то лестница – расширялась еле заметно кверху. Опять эффект обратной перспективы, знак иллюзорного приближения к зрителю, стоявшему внизу, у истока лестницы, который сторожили два древнеегипетских льва, всего расположенного наверху ансамбля – Диоскуры на переднем плане, узкие – в два окна, три пилястры – торцевые фасады дворцов, глубинные фрагменты лицевых фасадов, они обозначались и укрупнялись по мере подъёма.

Столько тонкостей нюансировало замкнутую в себе композицию, а по соседству с этим островком гармонии, под острым углом к центральной оси Капитолия другая, крутая и широкая лестница вела к плоскому тёмному романскому фасаду церкви Санта-Мария-ин-Арачели.

Микеланджело, увлечённый изысками своего симметричного ансамбля, её не видел, потому что не желал видеть?

Аскетично-суровый бурый фасад с белым порталчиком почти что примыкал к щедро детализированному торцу Нового дворца; между церковью и дворцом – просветик, ступеньки в опушке кустов – входы в церковь, главный и боковой, располагались выше планиета площади – однако старинная скромная «Санта-Мария...», находясь рядом с великолепной площадью, тонцла при этом в темени прошлого, чуждого новым, только формировавшимся идеалам искусства, и, наверное, для Микеланджело будто бы вообще не существовала; зато сейчас бросался в глаза комизм условности столь неказистого соседства, условности прелестной и опять-таки театральной – осевой ансамбль Капитолия предполагал торжественность и серьёзность, почтительность окружения, центричность композиции усиливала, пусть и огрубляя, схематизируя её, и вертикаль возведённой позднее колокольной башни с часами за Дворцом Сенаторов, а тут, сбоку...

Художник – даже бунтарь-Микеланджело! – пленник эпохи и, пусть косвенно, не может не признавать свою зависимость от неё, но время примиряет художественные эпохи, с усмеш-

кой всеведения смыкает романскую церковь с троицей барочных дворцов, поднимается над недолговечными вкусами-стилями и – побеждает?

Теперь и я усмехаюсь – вплотную к церкви Санта-Мария-ин-Арачели, с другого бока её, уже вздымалось нечто помпезное, сверхвеличественное посвящение объединению Италии; к Капитолийскому холму прислонялась самодовольная гора из мрамора, многоэтажный многоколонный храм спеси новорожденного государства. Холм зрительно уменьшался, и церковь, и три дворца – сжимались.

Время всегда право?

Поздно, пора спать; за окном гасли огни – светясь, отблескивал лишь далёкий чёрный лоскуток Тибра у моста Кавур.

Завтра – насыщенный день. Отправлюсь к термам Каракаллы и дальше – по Аппиевой дороге.

Рим, 25 марта 1914 года

*Садилось солнце, обагряя карнизы, когда я, наконец, добрался до ресторанчика на углу *via del Babuino* и *via Vittoria*, где нередко обедал.*

Едва я появился в дверях, официант из глубины зала вопросительно поднял руку с одиноким перстом, я кивнул, он помахал рукою, приглашая пройти, разболтанной походкой направился мне навстречу. Ресторанчик был полон, увы, отдельный столик мне не достался. Соседям моим, старательно одетым мужчине и женщине средних лет – похоже, их отношения переживали вторую молодость – до меня, к моей радости, не было никакого дела, они допивали большую бутылку, что-то громко обсуждая, жестикулировали, смеялись. Я заказал вина, салат, какое-то римское блюдо, соблазнившее меня тем, что напоминало армянскую долму, – молотое мясо со специями в виноградных листьях – и взялся записывать дневные впечатления: возгласы соседей мне не мешали, я не понимал большинства итальянских слов, лишь мог догадываться, судя по возбуждённо произносимым ими и уже знакомым мне именам, что они горячо обсуждали вероятный союз Джолитти и Муссолини, желая, наверняка, исторического отмищения и скорого возврата захваченных австрийцами территорий.

Я отправился в путь ранним утром, солнечным и прохладным, на большой клумбе перед гостиницей возились садовники. Меня провожали хмурые фасады с закрытыми ставнями-жалюзи; перекрикивались через улицу мусорикики.

И, перелистнув страницу:

Грандиозные красные остовы стен, красно-розовые пилоны и своды, выросли из груд камней, вокруг бывших терм Каракаллы – лужайки и молодые пинии; энергичная красно-зелёная колористика была знакома по Палатину.

И – после абзаца рассуждений, довольно высокопарных:

Италия – это глубокое переживание, которое, убеждён, прежде всего, стоит испытать тому, кто ощущает себя художником. Здесь обостряются все чувства, чувство прекрасного – особенно.

Отодвинул тетрадку – выпренность, натужный рефрен возвышенности: дяде под давлением впечатлений изменял вкус. А как мешал сор подробностей, от них ни тепло, ни холодно. Ну да, на клумбе поутру возились садовники... что за страсть сжигала Илью Марковича, когда он, изрядно утомившись, проголодавшись, не мог не писать в ожидании трапезы свой дневник, размывая камни эмоциями. И – вопреки эмоциям – не отделаться от ощущения, что писал-перечислял увиденное не человек, фантом. Сам Илья Маркович истончался, исчезал, а то, что он видел в счастливо найденной им параллельной реальности, напротив, наливалось весомостью? И словно не пером писал дядя, а самописцы какие-то подключались к неутомимым его глазам. Да, фантом обладал пронизательным и широким по обзору, но каким-то тяжёлым взглядом, фантом в каждый миг остро чувствовал весомость того, что видел и пере-

носил на бумагу. Для кого писал, для себя? И для чего? Чтобы перечитывать потом, вспоминать, если, конечно, фантом бывает наделён памятью? Но ведь попросил зачем-то своего друга, Гурика Адренасяна, переслать дневник. Идеалистический порыв? Захотелось перед смертью, чтобы племянник увидел Италию его глазами? Опять двадцать пять, реально ли в обратном переводе увидеть то, что вызвало словесные излияния?

Сколько глубоких и блестящих умов, очарованных Италией, писали о ней, сколькими поколениями искусствоведов всякий итальянский камушек воспет, каталогизирован. И сколько потом, после великих – прозорливых и проникновенных – путешественников, писали, особенно о Риме; все писали, все, кому не лень было водить пером по бумаге, будто задавались целью обесценивать написанное предшественниками.

Так, что же новенького мог углядеть в Италии дядя?

Чем хотел или надеялся удивить?

Нарочно испытывал терпение будущего читателя, готовил его к дальнейшим избыткам и переборам неменяемого своего видения?

Но он ведь не красовался, ни с кем не спорил, писал, не рассчитывая на публикацию, и начинал каждый свой день бесстрашно – с чистой страницы, будто забывал всё, что знал, читал, и восходил первым на свете на Палатин, первым оказывался на Форуме, на площади Капитолия, чтобы затем, не расставаясь с детским самомнением первооткрывателя, с каким-то бессознательным счастьем заполняя страницу за страницей визуальным мычанием, выпутываться из собственных взглядов... сам признавался.

То, что он писал – ни в коем случае! – не могло бы стать специальным исследованием или же, напротив, мозаикой беглых, естественных для дневника впечатлений, нет, поражали упрямство и плотность видения, – видения самого по себе.

Пожалуй, никто так не писал об Италии. Архитектура воспринималась дядей как окаменевшая аура исчезнувших поколений, событиями для него становились проникающие моменты самого видения, а слова – не описывали контуры и поверхности, слипались от волнения в какое-то отрешённое, едва ли не до-логическое переживание.

Проаживался по комнате.

Вот, кстати, живая чёрточка, гурман-дядя любил долму, однако писал... писал всё равно фантом.

Нет, – снова усаживался за стол, – слишком общая и отвлечённая, вряд ли достижимая цель: увидеть Италию глазами Ильи Марковича. Не содержал ли дневник более конкретных посланий?

Вспомнилось, после дежурных вопросов – что интересует, волнует и пр. – дядя заговорил о путаных зависимостях архитектуры и времени, которое меняло стили, вкусовые оценки; дядю донимали глубинные мотивы и механизмы перемен. Сколько раз вспоминался Соснину тот невнятно начатый, но так и не законченный разговор, а уж сколько раз он будет возвращаться к нему, разговору тому, потом, в больнице. Не тогда ли, за той предобеденной беседой, дядя решил познакомить совсем ещё зелёного племянника со своими записками? Ну да, у каждого времени – неповторимое зрение. Неукротимый Микеланджело, рождённый Ренессансом, отбросивший его скучноватые предписания ради небывалых форм, не видел, конечно, на Капитолийском холме тёмной романской церкви, её средневековые прихожане, ослеплённые златовидным сиянием Пресвятой Девы Марии на небесах, не заметили бы барочных дворцов. Учащался и сбивался пульс времени, у нас расширялся странным образом кругозор? Мы, невежественные, но кое-чему наученные эклектикой, теперь замечаем и то, что было, и то, что возникает, меняется на наших ко всему притерпевшихся и ко всему готовых глазах, хотя мы так и не уразумели во имя чего и как временем вынашиваются перемены... ну да, и мы туда же, с нашими-то умишками! Позаимствовали вопрос-девиз высокой беспомощности: «можно ли рассказать время, какое оно есть, само время, время в себе».

Так-так-так! Не об ускользящей ли от понимания абстрактной властной субстанции начал размышлять дядя давным-давно, на Форуме, на Капитолийском холме?

Допустим, одно послание расшифровано.

Что дальше?

Дорога к воротам Святого Себастьяна неожиданно для меня получилась долгой и утомительной, via di Porta San Sebastiano была узкой, вымощенной крупными булыжниками, обнесённой с обеих сторон высокими – выше человеческого роста – каменными заборами, не улица, бесконечный коридор. За заборами виднелись черепичные крыши старинных домов, накрытые ещё голыми ветвями могучих узловатых деревьев, в калитках с коваными решётками, встроённых в резные пилоны порталов с оплывшими гербами и до сих пор различимыми именами знатных, века назад почивших владельцев – среди них попадались и епископы, кардиналы – мелькали крыльца с широкими ступенями, стриженные вечнозелёные кусты, пирамидальные туи, вазы с анютиными глазками, кое-где порталы с калитками тоже украшали вазы с цветами и вьющимися растениями, порталы с вазами торжественно поднимались над заборами, к которым я опасливо прижимался.

По узкой дороге-коридору, грохоча по булыжнику, умудряясь каким-то образом разъезжаться, катили грузёные колымаги, проносились экипажи; коляски на резиновом ходу сотрясала дрожь.

Оглушённый, я думал – не отсроченное ли эхо слышу? Каково было древним путникам, когда по дороге мчались римские колесницы?

Ко всему я отчаянно замёрз – хотя солнце поднялось высоко, улицу-коридор, как трубу, продувал холодный ветер.

Но – хвала небу! – показалась вдали долгожданная арка Друза, за ней – двуглавые ворота Святого Себастьяна, а за ними, за крепостными стенами, сложенными из грубо отёсанных разновеликих камней, начиналась Аппиевая дорога.

Начало её разочаровало. Тот же булыжник, тот же грохот, ландшафт невразумительного предместья. И так – до развилки, отмеченной скромной белой церковью, за ней, как избавление от однообразия и шума, простирался пологий травяной холм с пасшимися на склоне козами, пиниями и кипарисами, земляная тропа взбиралась на холм, вела к катакомбам, из-за холма наплывали лёгкие облака. Аппиевая дорога вильнула влево, я же хотел срезать путь и...

Дождася! Вино, салат, моим соседям откупоривали вторую бутылку; в салате помидоры почему-то заменили тёртой морковкой, её я терпеть не мог. Когда я полез в путеводитель уточнить названия церкви, катакомб и мавзолеев...

Дописываю в гостинице.

Попробовав вино из второй бутылки, мужчина – гривастый и горбоносый, с водянистыми, выпиравшими из глазниц, как при базетовой болезни, глазами – не удержался глянуть мне через плечо в карту, выразительная монументальная голова, казалось, намертво вросшая в массивные плечи, завращалась, словно на шарнире. На помощь любопытному, назвавшись Бруно, бросилась его спутница, Эвелина, полунемка-полужитальянка, как она сразу доверчиво сообщила, – увядавшая статная особа с распуценными рыжеватыми волосами, сносно говорившая по-французски. Когда прояснились мои интересы и, главное, мой дневной маршрут, Бруно с Эвелиной обуял искренний ужас – как, как, один у терм Каракаллы? Я узнал, что довольно бесцветный район перед Колизеем, район Монти, через который я шёл, знаменит скоплением сумасшедших, они были столь привержены месту, где родились, что не видели и не желали видеть всего остального Рима – из века в век они плодили новых безумцев, донимавших транзитных путников сумасбродными предложениями, территория же вокруг терм Каракаллы и вовсе пользовалась у римлян дурной славой, многие там – особенно иностранцы! – легко становились жертвами грабителей и мошенников. – Синьор, у них полно отработанных подлых приёмов, чтобы вытрясти из заезжих простофиль деньги.

– Пронесло! – я молодцевато поднял бокал.

Мы звонко чокались, языки моих соседей развязывались.

Бруно не отпускала мрачная родословная места. – Колизей возвели там, где был круглый пруд Нерона, а там, где разросся теперь район Монти, по свидетельствам некоего летописца, обличителя языческих нравов, чьё имя я тотчас позабыл, ревели в клетках зверинца голодные пантеры, тигры и львы, предвкушали кровавые пиришества на арене, ещё раньше там же, на месте Монти, умирали от истощения и истязаний надсмотрщиков иудейские рабы, сотни тысяч рабов, Тит, разрушитель Иерусалима, привёз их на кораблях для строительства страшного гигантского цирка, правда, худо не обошлось без добра, – прямодушная Эвелина заметила, что разрушение Иерусалима вело к рассеянию евреев, вместе с ними и вслед за ними распространялось христианство. Бруно качнул головой, вспомнил недобрый словом тёмных средневековых баронов, владевших Колизеем, они распродавали его на мрамор. – И не только Колизей, многие, если не все памятники античности превратили в каменоломни, из них и сам Микеланджело не гнушался брать. – Рафаэль, напротив, по поручению Святого Престола следил за сохранностью римских древностей, во славу апостольской столицы, – восстановила равновесие Эвелина. – И на зло Микеланджело, которому Рафаэль завидовал, – добавил, расхохотавшись, Бруно. Сколько легенд, поверий должно было обрушиться на меня! – гривастый Бруно служил гидом в Ватиканских музеях, большеротая и яркогубая Эвелина водила городские экскурсии, и я, зная, что нет большего бедствия, чем болтливость гидов, не ограниченных временем, понимая, что, смешивая страшное и смешное, дабы держать внимание собеседника, превращённого безжалостно в слушателя, они закормят меня своими многократно переваренными сказаниями, с обречённой любезностью приготовился к испытанию. Худа без добра и впрямь не бывает, – утешал я себя, – расставившись на вечер с одиночеством, я зато, смакуя вино, бесплатно разжигался вдобавок к ужину дежурной окрошкой из осовремененных римских мифов; тёртой морковкою сыт не будешь, когда ещё принесут долму... оставалось вылавливать французские слова в потоке певуче-переливчатой итальянской речи. – Насладились избыточной утончённостью Фарнезины? Её уподобляли расписной шкатулке, переполненной сокровищами. Ощутили сколь щедрым и радостным, пьянящим бывал предбарочный ренессанс? Не иначе как вдохновляло Перуцци романтическое местечко, где-то там, в Трастевере, на берегу Тибра, Катцуллу встретила Лесбия. Какими неожиданными получились у выдумщика-Перуцци своды! Запрокидываешь голову, чтобы рассмотреть, и никак не отвести глаз, шею можно сломать. А как вам иллюзия прозрачной стены? Да ещё в лоджии – рафаэлевские Амур с Психеей! Рафаэль был влюблён, когда писал, он, влюблённый, в неудержный кутёж пустился и умер, сердце не выдержало. Не правда ли, восхитительно дописали гениальные подмастерья Рафаэля красные фигуры на синем фоне, цветы, плоды? Фрески заражали безумным счастьем. Недаром на пирах в Фарнезине гости при смене блюд от избытка чувств швыряли из окон золотые тарелки в Тибр, знаете, как повелось с тех пор говорить у нас? – всё, что в Лету кануло, Тибр запомнил... рядышком, через улицу от Фарнезины, и палаццо Корсини с поздним, перезрелого рококо, фасадом, пройдите, пройдите по Лунгара от Септимиевых ворот в сторону Ватикана... знаете? Ворота возвели по велению развратного злодея Борджа, знаете? Он, родившийся от кровосмесительной связи, подкупил одних конкурентов-кардиналов, хитро оболгал других и своего добился, был избран на скандальном конклаве папой. Да, стал он Александром VI, до конца дней своих – умер, корчась в заслуженно-жутких муках! – позорил тиару распутной тошнотворной разнузданностью, изобретательнейшими вероломными злодействами; напрадую обманывал и эффектно умерщвлял он врагов, в перстне всегда наготове держал отраву, чтобы при первой надобности в вино подсыпать, знаете, как его у нас называли? – самым успешным воплощением дьявола на земле, когда самого его отравили, так раздулся, что труп не могли захватить в гробницу. Пройдите обязательно по Лунгара, улица узкая, рококо и ренессанс лицо

в лицо... в палатцу Корсини, – Эвелина, растягивая большой рот, с чувственной дрожью выпевала «палатцу», рука моя не решается и вряд ли скоро решится писать «дворец»! – располагалась резиденция королевы Христины, бросившей престол, принявшей католичество и бежавшей в Рим из шведской тоски... кардиналы перед ней свои мантии расстилали, чтобы из кареты не ступала на грязную мостовую. – Не кардиналы, один красавчик-кардинал, Помпео Адзолини, – поправил Бруно, кустистой бровью удивлённо повёл, – маленького роста, худющая, с большим носом, почему все вертелись вокруг неё? – Да, вертелись, и Адзолини, самый красивый, умный и элегантный среди кардиналов, не зря вертелся, она достойна поклонения была – Христина аркадскую академию поэтов выпестовала в лесочке с лаврами на склоне за палатцу Корсини, на Яникуле, она знала толк в живописи и лучшие картины скупала, обожала оперу со сладкоголосыми кастратами, театр, развлечения, буйные, невиданные в Риме до неё развлечения, и – науку, чернильных клякс не стеснялась на самых нарядных платьях. Высокообразованная – знаете, математике её обучал Декарт? – но совсем не благочестивая, хотя тот же Декарт соблазнил новой верой венценосную свою ученицу; необузданная в страстях, не признававшая приличий, она разбудила Рим. – А кардинала Медичи, – не удержавшись, расхохотался с полным ртом Бруно, – а кардинала Медичи не смогла разбудить пушечным выстрелом! Не слышали? Христина и кардинал, впоследствии Фердинандо II, великий герцог Тосканы, условились ехать на охоту, но кардинал проспал, Христина в шальной ярости собственноручно пальнула из пушки с замка Святого Ангела по вилле Медичи, ядро и сейчас трогательная деталь фонтана... Эвелина взяла передышку, зато Бруно вошёл в раж служебной своей повинности – случай подсадил за стол чужестранца с оттопыренными ушами, и Бруно не преминул блеснуть нравоучительными подробностями роскошного, но поглощённого теменью веков быта, коими вместе с множеством цифр, фамилий и забавнейших мелочей успешно наипиговал профессиональную память; сообщил, в частности, что сказочно богатый банкир Киджи, заказчик и хозяин Фарнезины, тогда ещё безымянной виллы, получившей своё ласкательное прозвище позднее, после того, как её со всеми бесценными потрохами прибрала к длинным потным своим рукам семейка Фарнезе, благо и шикарный болтуний палатцу их подавляюще возвышался неподалёку, на другом берегу, они его с Фарнезиной мостом-коридором связать хотели, сам Микеланджело идею обдумывал, – Бруно, не сводя с меня выпученных глаз, вытер салфеткою жирный рот, отпил вина, вспомнил про соль. – Да, богач-Киджи перед обильными и шумными ночными пирами, которые он так любил закатывать под расписанными Перуици сюжетами его, Киджи, гороскопа сводами, и о которых потом на радость тицеславному банкиру судачил весь Рим, велел слугам тайно раскидывать в Тибре сети, чтобы золотые тарелки не пропадали. – Этот рачительный гедонист Киджи – тот самый баловень судьбы, чьей любовницей была ослепительная куртизанка Империя? – спросил я неосторожно. – Тот, тот, – обрадовалась Эвелина и притронулась к моему плечу, – знаете, как в те годы в Риме говаривали, подмигивая, – кто не хочет владеть Империей? Все хотели, а Киджи владел, Рафаэль писал с неё Галатею на стене его виллы, но недолго Киджи ею владел, недолго, импульсивная Империя за другого собралась замуж, причём, за женатого. – Анджело дель Буфало, – вставил имя избранника Империи Бруно, – неожиданно для себя отвергнутая, воспетая поэтами и сама стихи сочинявшая, чудесно игравшая на лютне, соблазнительная и молодая, приняла яд, её исповедовал папа на смертном одре, все грехи отпустил. Бруно сопровождал затяжную душещипательную историю Империи неодобрительным покачиванием тяжёлой головы, ему не терпелось поделиться бесчётными анекдотами о плодотворном соперничестве и личной неприязни между Бернини и Борромини, чьи злые и потешные пикировки в камне зарядили римское барокко неизбывной весёлостью, о, именно они, Лоренцо и Карло, они и их горячо заспорившиеся творения, а не какие-то выходки королевы, воистину разбудили Рим! – Карло? – робко спросил я, – разве не Франческо звали его? – Борромини северянин, у него много имён, одно из них Карло, Карло-

Кастелли, – объяснял Бруно... ладно, пусть Карло, но сначала... – В Бернини спал великий талант, а Борромини, сварливый и пылкий, сначала, до того как вдвоём они... – пока Эвелина переводила, Бруно прихлёбывал вино, нетерпеливо похлопывал ладонью по скатерти. – Борромини сумел во славу Рима разбудить берниниевский талант, последний великий талант, учтите, Браманте, Микеланджело, Рафаэль, Перуцци и Виньола умерли, искусства уснули, но Рим дождался рассвета, дождался, второе барокко взошло, как солнце, о, сеиченто – это счастливое высокое везение Рима, сплавившее много везений... как повезло, Лоренцо и Карло стали творческими врагами! Ведь Лоренцо в боях с Карло перерождился, Лоренцо, уроженец Неаполя, был по происхождению флорентийцем, – Бруно со строгой доверительностью посмотрел на меня, желал подчеркнуть заведомую греховность происхождения? Не жаловал флорентийцев? – Но как же... – Да, синьор, – настаивал Бруно, всё сильнее выпучивая глаза, – Микеланджело не в счёт, он отдельный и несравнимый, а в Лоренцо, в начальных намерениях его, опасно проступали худшие свойства едоков фасоли, да, – повторил презрительно кличку, приклеенную к тосканцам римлянами, – едоков фасоли – замкнувшихся в себе, исключительных, гордыней снедаемых; начинал он в первых проектных набросках своих так серьёзно и скучно, так сухо, будто уверовал, что школярский флорентийский ренессанс возвращается, что вновь пришло его время. Папский любимчик, увлекающийся, но твёрдый и волевой, гордый и угодливый, с блестящим умом, внешне неотразимый – видели молодого Лоренцо в белой рубахе, с бантом, на автопортрете? Да, синьор, согласен, не иначе как он, неравнудушный к себе, предугадал в своём облике байронические черты. – На старости лет седовласый Лоренцо похож стал на Леонардо, – вздыхала Эвелина. – Его после чисто скульптурной, на мой взгляд, удачи, после балдахина под куполом собора, заваливали заказами, – продолжал Бруно, – и он, дай ему сразу архитектурную волю, вполне мог бы распространить дух прекрасной флорентийской мертвечины на весь... да, синьор, не сомневайтесь, с его-то самомнением, с его размашистостью именно на весь... но, слава богу, оберегавшему римский пейзаж от скуки, Бернини на несколько лет попал в опалу, затем и папа сменился, ненадолго, но всё-таки, всё-таки на архитектурный трон взошёл Борромини, напряжение, смятение и сводящие с ума чувственные восторги внушавший пучкам колонн, пилястр, учивший танцевать колокольни. Ревнивый Бернини за ним шпионил, перенимал идеи, перерисовывал детали, – Бруно не позволял Эвелине, желавшей возразить, открыть рот, – допустим, всего-то вдохновлялся перспективными эффектами колоннады в палаццо Спада, когда планировал пологую ватиканскую лестницу. Но вот у Борромини надолго прервалось строительство Сан-Карло алле Куатро Фонтане, службы уже шли в церкви, но фантастичный фасад её Борромини лишь перед смертью своей dokonчил, освободив от бремени душу, так вот, у Борромини прервалось строительство, а Бернини поспешил на фасаде Сант-Андреа на Квиринале воспроизвести... две церкви обичие, будто родственные, черты связывают теперь, черты непредвиденной, безмерно-странной запутанности и при этом безусловной уравновешенности. – И внешне Борромини был похож на Бернини, удивительно похож, как брат, видели портрет? – спросила, забыв свои возражения, Эвелина, – его написал неизвестный художник. – Да, похож, – согласился Бруно и отхлебнул вина, – такие же, как у Лоренцо, усы, заостренная борода, только глаза безумные... горячка и возбуждение души, передаваемые им камню, возвещали о какой-то не испытанной прежде искусством жизнетворной агонии, словно забавляясь, Карло взывал к своим современникам, до сих пор к нам взывает – всмотритесь в причудливые формы и линии, ощутите, что мир утратил равновесие, потерял покой, да, каменные детали у Карло дышат и содрогаются, они, как кажется, многократно обведены прерывистым, неверным контуром, непременно всмотритесь, обогните палаццо Барберини и на заднем его фасаде неопишутые кривые линии, карнизные профили придут, если понаблюдать за ними, в нервное, паническое движение... Перебивала Эвелина. – И у Лоренцо спадала пелена с глаз, и он после ренессансной упорядоченности, к которой изредка, спору нет, склонялся, по-новому,

сложно и остро видел, и удивлял, нельзя обвинять его в том, чего он не сделал, но мог бы сделать! Когда в вилле Боргезе я останавливаюсь перед автопортретом Лоренцо, он так живо на меня смотрит, что я никак не могу поверить, будь он хоть трижды флорентийцем, в его способность омертвить скукой Рим! Давайте-ка по порядку... и справедливо, – кольнула меня негодующим взглядом, словно я, не Бруно, в припадке подозрительности застиг Бернини на подступах к Вечному городу со свитком неблагоприятных планов, – в начале своего пути он удивлял не масштабом и мощью идей, забулбливших в нём, не феноменальным пониманием пространственных свойств ансамбля, которое проявилось позже, а беспримерной после Микеланджело свободой, фантазией, одушевлявшими подчас небольшие формы, видели его облака из бронзы? Признайтесь, такого и сам Борромини не смог бы выдумать, признайтесь, вас разве не поразили сказочно-изящные витые колонны бронзового балдахина, сверкающего под куполом Святого Петра? Он с него, с балдахина этого, начинал, с него. Но и позже увлечение титанической колоннадой ничуть не помешало изысканной прорисовке фонтанов, крыльев бестелесных, воздушных ангелов, чуткой обработке цветного мрамора, затейливым играм светотени, нежному скольжению бликов по оживавшим на ваших глазах скульптурах! И даже второстепенные чертежи у Лоренцо – чудо искусства, сами по себе они – чудо и загляденье, чудо и загляденье, но как он грандиозные и тонкие замыслы свои переводил в натуру, не позволяя прекрасной натуре этой самодовольно застыть навечно? Десять лет... – одиннадцать, – поправил Бруно, – возводил могучую дорическую колоннаду соборной площади с её волнующими зрительными обманами, видели, как прихотлива и подвижна колоннада, как разлетаются её дуги, как сливаются вдруг воедино, когда вышагиваешь мимо неё по площади, четыре ряда колонн? А круг, вытянутый в овал, слегка вытянутый, в неявный овал, отчего площадь... – распалаясь, волоокая Эвелина смотрела на меня, пожалуй, поживее, чем на неё с автопортрета мог смотреть молодой Лоренцо, – и почти полторы сотни статуи святых... – сто сорок, – поправил Бруно, – поднял на колоннаду, да так поднял, что... он изобретательно рисовал, лепил, как он всё успевал? Одиннадцать лет ежедневно занят был с утра до ночи колоннадой, а мелочей не избегал, эскиз кареты сделал, её с шестёркою лошадей от имени папы подарили королеве Христине при встрече у Фламиниевых ворот, Лоренцо и внутренний фасад ворот с виртуозной манерностью успел к прибытию королевы разрисовать, но она, победительница по духу, стати, в дарённую карету не пересела, верхом во главе свиты въехала... – Эвелина принялась посвящать меня в ставшие достоянием эпохи барокко, скандально ломавшие этикет выходки и беззастенчивые интимные приключения беглой королевы, поэтичной и любвеобильной, развязной, жестокой, слышали об её парижском периоде? Когда папа из-за скарденности и желания обратить-таки её к благочестию урезал содержание Христины, она в отместку ему уехала, – на корабле уплыла, – поправил Бруно, – во Францию, там тоже не унималась, безнадежно запутывалась в отношениях с роившимися вокруг неё кавалерами-авантюристами, сгоряча приказала ипагой заколоть одного из постельных фаворитов, предавшего её маркиза... – Мональдески, – нехотя помог Бруно. – Маркиз посмел оскорбительно насмехаться над ней в частных письмах и поплатился, Христину умоляли проявить благоразумие, милосердие, но непреклонная королева велела, не медля, призвать аббата и учинить казнь. Дворцовая зала в Фонтенебло, где закололи после сбивчивой жалкой исповеди маркиза, была залита кровью, не отмывшую залу потом торжественно испуганно-восхищённым гостям показывали, да, синьор, вы правы, вполне барочное убийство, потом Христина, раскаиваясь, рыдала, рыдала... и, безутешная, окружала себя алхимиками, астрологами, искала, пока не вернулась в Рим, философский камень, да, для неё, казалось, звёзды удачно расположились на небосклоне, сменился папа, да, благоволивший к ней Климент IX взойшёл на Святой Престол, Христина поспешила вернуться, её тепло встретил Адзолини, верный и влиятельный друг, к тому времени назначенный секретарём нового папы, но, – Бруно больше не мог молчать, – но жизнь, такая яркая, угасала. Постаревшая, заточила себя в палатцу

Корсини, занималась своей библиотекой, своим собранием живописи, празднества и развлечения не влекли... синьор, она умирала тихо, а пышные и мрачные, вы бы сказали, вполне барочные похороны королевы вылились в похороны сеиченто. Не известно кто оформлял каретукатафалк, увы, Лоренцо уже десять лет как спал вечным... – Девять, – нетерпеливо поправил Бруно, и прежде, чем окончательно похоронить сеиченто, затряс гривой, раздул толстые ноздри, на лбу его заблестели крупные капли испарины. – Христина завещала кардиналу Адзолини свою изумительную коллекцию Тициана, а Адзолини её после смерти Христины выгодно продал, часть полотен, – Эвелина, растянув рот и обнажив крупные зубы, посмотрела выразительно на меня, – вернулась в Венецию, по-моему, в галерею палатцо Барбариго, но позже попала к вам, в Россию... недавно я стоял в Эрмитаже перед «Венерой с зеркалом», не зная истории перемещений картины. Бруно, прервавший мои раздумья, ревниво торопил Эвелину позабыть о Христине, переключиться на перевод, до сих пор он не высказал, точнее, не досказал нечто для меня важное, решающе важное, если я действительно хочу проникнуть в суть искусства последнего из славных римских веков; сыпал восклицаниями, – *bizarro, carpiccioso*... да, барокко и Борромини нераздельны, уловите звуковое родство имён, и почувствуйте наново, когда пойдёте завтра по Риму, сколько пугающей страсти вживил Борромини в силуэты и драпировки барокко, сколько душевного огня отдал, добывая красоту, пока в припадке отчаяния не перерезал себе горло. Ого! – Соснин лишь передёрнулся, не отвлекаясь, читал: Лоренцо, великий талант, великий, его тоже с барокко не разлучить, куда там, нерасторжимо и навсегда срослись, однако он таких болезненных сомнений не знал, а Карло до рокового расстройства рассудка себя довёл, порывался всегда достичь большего, чем косный мир позволял, порыв этот последний в жизни фасад его, фасад Сан-Карло алле Куатро Фонтане, запечатлел... видел внутренним зрением какую-то высшую красоту, но никак не мог воплотить её, безжалостный к себе, считал, что не мог, не сможет. Официант принёс мне долгожданную долму. Что я ещё запомнил? Бернини и Борромини соседствовали на улице Мерчеде, якобы Борромини, чтобы позлить соперника, велел украсить фасад, на который смотрели окна Бернини, лепными ослиными ушами; так Борромини поиздевался над двумя бездарными башенками, пристроенными Бернини по вздорному указу папы к куполу Пантеона, но выставленный на посмешище в долгу не остался, на собственном балконе, дабы ответить обидчику, укрепил скульптурный фаллос, – Эвелина ещё что-то вдохновенное добавляла из привычного репертуара экскурсий и бегло переводила анекдоты Бруно, нехватку отдельных слов восполняла мимикой, жестами, постоянно ударяясь локтем о монументальный обрубок чёрного дерева, основание для светильника из жёлтого стекла в виде исполинского бутона розы, – обратили внимание на фонтан «Четырёх Рек», тот, что в центре Навоны, у обелиска? Заметили, что Бернини не упустил случая уязвить соперника – аллегорический Нил покрывает голову и отворачивается от церкви Сант-Аньезе, чтобы не видеть отвратительного сооружения Борромини. А Ла-Плата загораживается рукой, боится, что убогая церковь обрушится ей на голову.

– Но и Борромини не сдался, утёр смертельному врагу нос, Святая Агнесса с фасада церкви, жеманно прижав ручки к груди, успокаивает и усмехается.

– За какой подвиг канонизировали Святую Агнессу? – спросил я, вызвав на себя новые словесные залпы.

– Святая Агнесса жила при императоре Максенции. Девственница, возмнившая себя Христовой невестой, она отвергла притязания консула, и тот повелел бросить её нагой на арену, убожить гладиаторов.

– Не консула, сына проконсула. Но на арене у Агнессы мигом отросли волосы, длинные-длинные, до пят, сокрывшие наготу, и от веры она не отказывалась, и никто не мог лишить мученицу девственности, её закололи кинжалом.

– Борромини использовал её образ, чтобы разыграть...

– О, Борромини был не только изошрённым шутником, но и изошрённым подхалимом, он университетскую церковь спланировал в виде пчелы, у папы Урбана VIII в гербе было три пчелы! И на палаццо Барберини, как на мёд, пчёлы слетелись...

– Рассудочный Бернини и тут свёл счёты... – я слушал вполуха.

Нервически-развесёлые неразлучные творцы римского барокко не постеснялись героиню раннего христианства, погибшую на арене, поместить в центр одного из своих обидно-колких и солоноватых мраморно-пространственных анекдотов, – думал я, раздосадованный не оправдавшей надежд долмой, – затем сами, сделавшись героями городского и искусствоведческого фольклора, переоделись в барочных Бобчинского и Добчинского. Молва, гогот зевак, которых собирал на улице Мерчеде поединок ослиных ушей и фаллоса. И два образа, две самооценки, застрявшие в памяти потомков, такие разные. Навсегда залюбовавшийся собой в зеркале, в белой рубашке, с бантом; и – перерезавший себе горло, почувяв, что высшей красоты не достигнуть.

– Но и внешне рассудочного Бернини возделения терзали. Как? Не видели распалюющий самых холодных зрителей «Экстаз Святой Терезы»? Войдёте в Санта-Мария-делла-Виттория, в первой капелле – справа.

Звон бокалов прервал просветительскую атаку, глотки вина изменили её направление; Бруно и Эвелина почему-то вмиг позабыли про Бернини и Борромини.

– У палаццо Борджиа, того, сквозь который проходит лестница, придерживайте шляпу, на площади перед палаццо всегда почему-то гуляет ветер.

– Знаете, обелиск на площадь Навона притащили с Аппиевой дороги?

– Оттуда же, с Аппиевой дороги, и два верстовых столба, ими украшена балюстрада площади Капитолия.

– А ванны из терм Каракаллы приспособили для фонтанов у палаццо Фарнезе.

Я узнал также, что церковь у развилки Аппиевой дороги стояла на том самом месте, где когда-то Редикул, бог возвращений, повернул восвояси боевых слонов, конницу и обозы Ганнибала, затем здесь же апостолу Петру, бежавшему из Рима от неминуемой расправы, повстречался Христос, который шёл в Рим, чтобы быть распятым во второй раз; Пётр устыдился собственного малодушия, вернулся. Ну а залитый солнцем нежно-зелёный холм с козами и кипарисами, так меня умиливший, был всего лишь благостной оболочкой промозглых подземелий. Последовали сжимающие сердце истории про катакомбы Святого Каллиста, где похоронены первые папы, про базилику Святого Себастьяна с катакомбами, где христианские гробницы перемешались с языческими, про храм Цереры и Фаустины, переделанный позднее в церковь Сант-Урбано, а когда-то включавшийся в состав виллы, она принадлежала Ироду Аттическому, покровителю искусств, творившему добрые дела при Марке Аврелии, этот самый добрый из Иродов был богат, почитаем, но после внезапной смерти жены его оклеветали родственники жены, прибывшие с севера, из провинции, чьи земли вобрала затем Тоскана, иноземцы обвиняли почитаемого римлянина в отравительстве, хотя суд... не доходя до усыпальницы Цецилии Метеллы, я мог бы увидеть, если бы знал куда надо смотреть... а если бы прошёл ещё дальше...

Что в осаде? Узнал, узнал-таки неожиданно имя безумца-зодчего, который себе перерезал горло. Но до самого интересного на Аппиевой дороге Соснину не хватило терпения дотянуть; искал хотя бы намёки на очередное послание, не находил.

Рим, 26 марта 1914 года

Я выспался, едва не опоздал к завтраку.

И, позавтракав, – открыл ставни – погода отличная! Слепящая солнечная клякса плавала у моста Кавур.

У меня не было определённой цели, после вчерашней вылазки за городские стены на далёкой южной окраине захотелось просто послоняться, выйдя из гостиницы, я свернул по *via del Babuino*, но не к площади Испании, как обычно, а в противоположную сторону, свернул, гадая об ощущениях путешественников-европейцев прошлых веков, которые до появления поездов и вокзалов въезжали в Рим с севера, через Фламиниевые ворота.

Что чувствовали они, распалённые ожиданием путешественники, приближаясь после долгой тряской дороги к Риму? Фламиниевые ворота близко, слева зазеленели пышные купы виллы Боргезе, а...

И вот, первый взгляд. За воротами, и в самом деле манерно, но, как всегда, мастерски – успел-таки встретить шведскую королеву! – перерисованными Бернини – площадь Пополо, на удивление разностильная, предупреждавшая пытливых чужестранцев о стилевом многообразии всего Рима; ренессансная церковь Санта-Мария-дель-Пополо в левом углу, обязательный египетский, привезённый при Августе обелиск, барочные – парные, с куполками, – церкви в глубине площади; такой площадь увидели Гёте, Стендаль, Гоголь.

Я постоял у обелиска, в условной точке схода трезубца. И, освобождённый от неясных обязательств, потеряв из виду удалявшиеся кареты с великими взволнованными паломниками, которым предстояло открывать и восславлять Рим, я бездумно устремился за ними – зашагал обратно, по Корсо, центральному лучу трезубца.

По Корсо я дошёл до...

Сперва, правда, я оглянулся на парные портики двух церквей с куполками, церковей, лишённых благодаря этим портикам задних фасадов, сжимавших горловину Корсо перед тем, как улица вливалась в площадь... церкви смотрели на площадь и отворачивались от неё... о, церкви-то вовсе не одинаковые, у одной барабан под куполком восьмигранный, у другой... итак, по Корсо я дошёл до... да, тени великих, обосновавшись в Риме, теперь уже вкрадчиво сопровождали меня, бывало, наступали на пятки – где-то тут квартировал молоденький Гёте, начинающий живописец.

Сегодня, как и вчера, позавчера, задаюсь одним и тем же вопросом – возможно ли вообще словесное воспроизведение на бумаге эскизной путаницы ежедневных моих прогулок? Пишу в кафе на Кондотти, мучительно уточняю по карте маршрут, зависевший от случайных импульсов. Вдруг потянуло в сторону, свернул налево, в густую тень, по одной из параллельных – или почти параллельных – улочек снова вышел на солнечную сторону Бабуино, в первом попавшемся по пути питейном заведении, неожиданно – французском, проглотил рюмку анисовки, пересёк Бабуино, вернее, по-мальчишески перебежал её перед быстрой пролёткой, взбираясь, а по внутреннему ощущению – взлетая на Пинчо, задержался на улочке, где издавна селились художники... зацветали фруктовые деревья, дома – террасами – лепились по склону; и – вверх, вверх, какую лёгкость, какой азарт обретал я, взбираясь-взлетая, желая насладиться плывучею панорамой крыши, передохнуть у фонтанной чаши перед виллой Медичи – мелодично струилась вода, вытекая через отверстие в пушечном ядре, которым с замка Святого Ангела выстрелила по фасаду виллы королева Христина, – затем я намеревался медленно, растягивая удовольствие, спуститься, но уже по Испанской лестнице.

Струилась вода... когда-то, при изнеженных Медичи, в саду виллы порхали попугаи, томно прогуливались фазаны, павлины.

Так-так, подключённые к глазам самописцы строчили.

Иногда я поднимался на Пинчо по укромной лесенке за церковью Санта-Мария-дель-Пополо – поднимался, предварительно заглянув в церковь, постояв в маленькой капелле перед двумя полотнами Караваджо; стоял почти вплотную к Савлу-Павлу, к распинаемому вниз головой Петру, необъяснимо-яркий свет шёл от полотен, первое впечатление было сильным, неизгладимым, однако раз за разом я чем-нибудь обновлял его, а после неизменно возбуждавшей проволоочки... из отблесков алтарной позолоты, из сгущённого средоточия гробниц, фре-

сок, мозаик, статуй пророков и живописных полотен, пробитого огоньками свечей, я попадал под сень вековых дубов, лесенка с зараставшими по краям зелёным пористым мхом ступеньками выводила меня на променадный уступ холма, к едва ли не стихийно протоптанному до церкви Тринита-деи-Монти бульвару – протоптали и облюбовали бульвар, как тихие мечтатели, так и прожигатели жизни со всего света, благо у виллы Медичи с её историческим фонтаном и стриженными деревьями их поджидал роскошный ресторан, где же, как не в нём, как не на променаде, поминать всуе Лукулла... или Клавдия, где-то здесь, на холме садов, убившего Мессалину. Вчера мои говорливые сотрапезники советовали мне также, прохаживаясь над Римом, дожидаться здесь закатного часа, когда солнце садится за собором Святого Петра, раскалённые клинки пронзают сквозь окна купол.

К закату я, конечно, намеревался сюда вернуться.

За день Рим отнимал у меня всё, что я знал об искусстве, помнил о городах, замещал собой, своевольными своими пейзажами, любые знания и воспоминания. А в сумерках – возвращал утраченный днём багаж, причём ощутимо потяжелевшим, словно текущие римские впечатления день ото дня чем-то весомым и важным пополняли мою прошлую жизнь, а то и, подозревал я, задним числом меняли её состав. Мало того, менялось, преображаясь, увиденное сегодня, совсем недавно, сгустившиеся сумерки чудесно воссоздавали до мелких подробностей и сводили вместе всё то, что порознь и в разных концах города покоряло меня во время дневных прогулок – Рим, темневший внизу, опечаленно прощался с багрово-красными мазками и затёками последних лучей, нехотя готовился отойти ко сну, и тот же Рим, рассыпаясь, подчиняясь затейливой избирательности моих видений, обращался для меня на вечернем Пинчо в праздничную страшноватую мистерию, в нескончаемое шествие-столпотворение своих представительных, но лишившихся вдруг каменной плоти пластических образов: в какую бы сторону сам я не шёл, это напористое эфемерное шествие направлялось мне навстречу по променаду и, находясь во власти галлюцинации, я смешивался с разноликой толпой прекрасных призраков. Пока же дневной Рим, цельный, монолитный, нежилась в холодных лучах – испещрённый иероглифическим светотеневым узором, обесцвеченный, с выгоревшей черепицей; навряд ли Пинчо, не удостоенный вхождения в символическую семёрку почётных холмов, был ниже любого из них, Пинчо лишь казался мне невысоким, хотя поднимался над карнизами выстроившихся вдоль Бабуино, подступавших к холму фасадов, потому и весь Рим при взгляде отсюда был плотным и нерасчленимым, распластывался рядом, почти у моих ботинок, кое-где поодаль небрежно-кубистические поверхности крыши и стен, смыкаясь, разрыхлялись, как губка, ещё дальше – полого вздувались сизо-зелёными, слегка задымленными складками, а спереди, тут и там из наслоений черепицы торчали колокольни, верно подданные купола и куполки, словно нарисованные одной рукой, истоиво подражали главному куполу.

Рим распластывался справа, до волнистого горизонта, я блаженствовал – с подставленным солнцу лицом приближался к церкви Тринита-деи-Монти, перед ней высился очередной обелиск, но не подлинный, имитировавший египетский.

Каскад выпукло-вогнутых террас.

С верхней террасы взгляд стекал по округло обнимающим террасы рукам лестницы, по причудливо изогнутым ступеням и площадкам широченного марша, раздвигавшего белые массивные парапеты; ученик Борромини, размашисто-свободный, прорисовывал скульптурные детали с чувственной витиеватостью, исполненной какой-то непостижимой силы; достойнейший ученик этот Франческо де Санктис, не посрамил учителя, страстно сотворил нечто бесполезное, но – невиданное! Лестница пологая, не очень-то удобная для ходьбы, она, как и подобало вальяжно-роскошной, возможно, главной лестнице барокко, служила не ногам, а возбуждённым глазам. Вычурные контуры-парапеты – будто берега. Плавно, но неудержимо ниспадавшие, разрифлённые светотенью потоки ступеней, их упругие, как у разорван-

ных, разбежавшихся по воде кругов, дуги, не соотносясь с естественным ритмом шагов, сливались в просторную ступенчато-наклонную площадь, заставившую удивлённо расступиться желтоватые и розовато-коричневые дома. Подлинная площадь, площадь-зрелище, располагалась вовсе не у затеснённого подножия лестницы, а на ней самой, где толпились, глазели. Лестница притягивала пёстрый люд фантастичностью своих размеров и форм, пластическими излишествами, понуждавшими метаться восхищённые взгляды – что выбрать, на чём остановиться? Пора спускаться. Жаль, на уступчатых каменных подставках для цветочных ящичков ещё не скоро запылает азалия – с лестницы сгонял холодный ветер, согрелся я в английской чайной; старомодный уют – тёмная тяжёловатая мебель, благородный блеск посуды, солнце, упавшее на красный ковёр – располагал к бокалу портвейна, но я решил не засиживаться.

Ветер унялся.

Мне не хотелось покидать Испанскую площадь. И потоки ступеней подчинились развороту взгляда, потекли вверх. Стройная симметрия была дивным фоном для вольных изгибов лестницы! Наверху, над террасами, две одинаковые, тронутые скользким светом колокольни Тринита-деи-Монти, меж ними – вертикаль обелиска, зрительно наложенного на церковь.

Холодные брызги летели из фонтана-лодки.

Кружить, так кружить?!

Несколько шагов и – на меня уже смотрит лицевой фасад берниниевского дворца, да, рядышком со своим зазорным фонтаном опять Бернини, но – не уверен, что по вине его сомнительно-флорентийского происхождения – такой серьёзный, скучный, такой сухой. Не израсходовал ли всё же творческий запал на непосильную ватиканскую колоннаду? А заодно и на анекдотичную борьбу с врагом-конкурентом? Или, напротив, сберёг запал? – надо бы разобрататься с датами. А-а-а, тут как тут и Борромини, темпераментно приложился к боковому фасаду, в скучных ритмичных интервалах между пилястрами, такие накрутил обрамления у окон, славно, неразлучные враги пересеклись под прямым углом... я вспомнил, что мне надлежало повнимательней всматриваться в содрогания волнистых линий и причудливых профилей другого дворца, дабы снова и снова убеждаться, что мир навсегда потерял покой. Пойти к площади Тритона, до которой рукой подать? Я потоптался под довольно-таки уродливой скульптурой на одинокой колонне, кажется, колонна посвящалась догмату о непорочном зачатии. Нет, очередной осмотр палацио Барберини с его страстными линиями, профилями, с подхалимски напущенным на него роем геральдических пчёл я отложил, задумал хитрый круговой манёвр, по Макелли, продлевавшей Бабуино, – до первого угла налево, свернул, снова налево и опять – на холм, на Пинчо, по улице Грегориана, останавливаясь, как повелось, думаю, у каждого, кто вновь и вновь сюда возвращался, перед палацио Дзуккари с окнами и дверями в виде разинутых ртов ужасных чудовищ. Не они ли, фасадные чудовища, своими устрашающими шалостями заманивали великих почитателей Рима селиться именно на Грегориана? Нет, это было бы чересчур смелым, если не оскорбительным для ревнителей строгой красоты допущением. Стендаль, с первого взгляда пленённый Римом, и в барокко-то видел лишь досадно-надсадное искажение, даже извращение ренессанса, который как стиль, наверное, наиболее полно отвечал его идеалу прекрасного. Ловушка заведомого предпочтения! Если принять за идеал палацио Канчеллерия, то и все прочие памятники условного римского ренессанса в пору корить за искажения, извращения. Любопытно, каким же виделся Стендалю не реальный, а желанный для него Рим, – Рим без барокко? Не представляю! И не потому не представляю, что имею свой «пунктик», никак не могу разделить до сих пор раздающихся упрёков барокко в искусственности, неискренности – не представляю вычитания из усложнявшейся век за веком живописной картины Рима её едва ли не главной краски, ведь от соседств с нею контрастно заиграли неожиданными оттенками и потускневшие мазки, давно нало-

женные; мне, похоже, свойственна какая-то ограниченность наоборот. Ограниченность расширившегося взгляда, вменённая новым, не допускающим произвольных изъятий, временем? Как подвижна мысль, пока не натъкается на непреложность грани, наложенных свыше... подрастала церковь Тринита-дель-Монти, к ней я приближался теперь с другой стороны, её боковой фасад заливало солнце, засветилась и боковая грань обелиска; не доходя до церкви, я мог бы по узкой диагональной лестничке вернуться к колонне, посвящённой непорочности, но я не способен был отказать себе в удовольствии, покачиваясь, сбивая шаг, повторно спуститься к фонтану-лодке по Испанской лестнице.

Круг замкнулся.

И меня накрыло тёмное, блестящее дорогами витринами ущелье Кондотти, я толкнул дверь кафе.

Обветшавшая роскошь. Официант во фраке поднял глаза на звяканье колокольчика, церемонно, с угодливой улыбкой, повёл меня мимо портретов гениев-завсегдаев к свободному столику в дальнем, третьем зале анфилады; на стене – два потемнелых полотна, римские пейзажи с руинами, между ними, над столиком, старинное зеркало.

В зеркале вместо собственной физиономии я увидел расплывчатое пятно, амальгама пришла в негодность. Зеркало не заменяли, наверное, потому, что в него смотрелись... хм, продолжал ли бытовать в зазеркалье победно жующий Байрон? Или неловкий Гоголь, опрокидывающий кофейник на исписанные листки?

Официант положил на мраморный столик две свежих салфетки.

послание о смысле писания?

Почему всё, что вижу и чувствую, я исправно заносу в эту разлинованную тетрадь? Я боюсь, что вне радостной повинности, день за днём догоняющей летучие впечатления, моё путешествие обесмыслится.

Минут годы, удивлюсь – полно, был ли я в Риме? Вот и записываю, чтобы не дать погибнуть тому, что было.

послание о вальяжности и безудержности барокко?

Я чувствую, какие драматичные напряжения и противоречия испытывают в Риме городские пространства.

Чувствую благодаря живым лицам барокко... то погружённым в тень, то открытым солнцу.

Барокко повсюду, а ещё и ещё хочется его видеть – ломаные карнизы, многослойная контурная дрожь накладных пилястр и полуколонн, поддерживающих накладные разорванные фронтоны. И как не вспомнить о барочных статуях, которые лишаются всякого очарования, если не угрожают разрушить ниши. Трафаретов нет, глаз радуется. Но тут и там образная затейливость коробит чрезмерностью, тут и там ловлю себя на стыдливом недоумении, словно подглядываю ненароком выражающие бури чувств гримасы или неуместно-экспансивные и при том – едва ли не вальяжные жесты. Но, ещё раз но. Изломы, разрывы, даже разрушения антично-ренессансных канонов вовсе не покушаются на цельность, её, догадываюсь, гарантирует собирательная внутренняя энергия, та самая художественная энергия, которая, не иссякая, рвётся наружу.

Бури чувств – на фасадах.

И пусть чрезмерный и потому ложный пафос внезапно отвращает в возвышенном, будто бы последнем, обращённом в экспрессивный предсмертный надрыв, порыве – испытываем внутреннее напряжение, отдавшись порывистости барочных форм, через миг всего, если не одновременно с увлеченным пафосным преувеличением, мы покорены уже вальяжным покоем, беззащитной и беззаветной, чудесно умножающей душевные силы искренностью.

Воздействие зримой животворной агонии?

Порыв на краю?

За краем?

Барочная композиция не признаёт границ, барочный замысел – любой, пусть и самый камерный, запёртый в каком-нибудь городском закутке – обязательно грандиозен. Барокко – это всевластная и бескрайняя образная претензия.

Сколько места, воздуха отвоевала Испанская лестница, но барочная композиция не способна остановиться – в возбуждающем свободном движении ей и всего Рима мало. Нет и намёка на расслабленность в потоках ступеней, сжатая формой, как кажется, сжатая временно, мятежная внутренняя энергия готова вмиг эту форму изменить – расширить русло, выплеснуться за парапеты: на площади, в перспективы улиц. У подножья лестницы и впрямь тесно, и в тесноте – фонтан-лодка, беззаботно-весёлый, нагловатый в своей весёлости, смело подставил борт потоку ступеней, а сам словно вознамерился растолкать грузные фасады; маленькая лодка вовсе не сидела на вечной мели в ограждённой овальной лужице на замощённом пяточке, она, кренясь, проваливаясь, взрезала рыбьим носом волны городского моря, образовавшегося когда-то после тибрского наводнения, да так и не осушённого. А неподалёку – в пяти минутах ходьбы – пышнейшая феерия. Какой самовольной и самодовольной символической взрывчатостью заряжалась сама и заряжала каменное своё окружение сугубо декоративная композиция, с какой напористой вальяжной восторженностью выбрасывалась она в пространство! Скульптурная колесница Океана, запряжённая морскими конями, трифонами, театрально вылетала не только из-под арки, которую прислонили к боку палаццо Поли, но и из самой полукруглой чаши Треви – подгоняемая шумом воды, колесница летела над скальными напластованиями на зачарованных зрителей, толпившихся на дугообразных ступенях, ей по силам смять, сокрушить и плоские, вот уже несколько веков как оцепеневшие от неожиданности, не меньше, чем зрители, зачарованные подвижным пластичным чудом фасады. Камень зарядился эмоцией, мгновенное пьянящее чувство, порыв обрели длительность и воплотились в ней. Колесница, взмыв, уже неслась поверх бездны; мимо колонны Траяна, форумов, вот уже остался позади Колизей... дальше, дальше, к Аппиевой дороге, к заповедным, истаивающим в дымке у горизонта ландшафтам Кампаньи.

Мне подали гренки, пышный, с нежным сыром, омлет.

на сытый желудок

По Кондотти вышел на Корсо, свернул налево.

Потеплело. Экипажи, коляски, не замечая редких неповоротливых авто, неслись наперегонки, Корсо оправдывала древнее своё назначение. Я, жмурясь, шёл по многолюдному тротуару навстречу солнцу. Впереди громоздилась какая-то аморфная масса – а-а-а, коридор внимания заперал тот самый, теснивший Капитолийский холм, ещё не достроенный памятник с колоннадой над Алтарём Отечества; объединённая Италия, похоже, не пожалела на бездарный памятник себе-единой весь свой белый мрамор.

послание о стилистической уживчивости и привередливости римских ансамблей, которое дополняло наблюдения за работой времени?

Есть ли в Риме самодовольные, центрированные ансамбли, рассчитанные на длительное приближение к ним по осевому направлению? Этот, эклектичный, помпезно запирающий перспективу Корсо, по-моему, будет первым.

Разные архитектурные стили сошлись в Риме, сошлись и – ужились, как ужились, когда уравнились, сделавшись прошлым, разные эпохи, но где – забеспокоился я – где классицизм? Внутренне напряжённое и зрительно неудержимое барокко лишь образно захватывало и покоряло пространства, величая ватиканская композиция и вовсе замыкалась сама в себе, а для классицизма, требующего практического градостроительного размаха, попирающего и подавляющего соседей, в тесной свободе Рима не нашлось места.

Все стили, все эпохи, объединились в священный союз, чтобы уберечь Вечный город от классицизма?

очередной поворот

Пересёк Корсо у триумфальной, отмечавшей край Марсова поля, тянувшегося до излучины Тибра, колонны Марка Аврелия, которая не постеснялась продублировать увитый прославляющими рельефами траяновский образец. Взмахивали и щёлкали кнутами-бичами извозчики; обогнул шумную их стоянку, лошади мотали головами у мемориальной колонны, как у монументальнейшей коновязи, притянутые лепными сценами с поверженными уродцами-варварами и героической переправой через Дунай.

Пошёл к Пантеону.

Рим, 27 марта 1914 года

После проведённого на ногах дня – ноги гудели, но не было усталости, только глаза болели, будто бы от долгого чтения, а я, ненасытный, вернувшись в гостиницу, сокрушался, что что-то, возможно главное, проморгал, на завтра старался мнимые ли, действительные пробелы заполнить. Мои прогулки, обрывавшиеся на самом для меня интересном, сулили продолжение, как сказки Шахерезады, за коленцем знакомой улочки вдруг открывались заманчивые перспективы.

Шёл к Пантеону, но оттягивал встречу с чудом, там, где следовало свернуть налево, чтобы побыстрее выйти на площадь Ротонда, сворачивал направо, потом – делал по своему обыкновению изрядный крюк и, будто желая заблудиться, какое-то время шёл туда, куда глядели глаза; коричневатый, за ним – тускло-вишнёвый фасад... внезапность утеплённой боковым солнечным светом охры между высокими окнами с обкладками из бледно-серого мрамора, глухая синева косой тени, рассекавшей по диагонали безвестный дворец надвое, на треугольные половинки, хмурую и мажорную – к затенённому крыльцу дворца подкатила карета, запряжённая парой чёрных лоснившихся лошадей в нарядных жёлто-зелёных пополах; задержаться? – рустованный первый этаж, фронтоны над блеском стёкол, массивный карниз, но взгляд метнулся в сторону, хотя там тоже русты, фронтоны, карнизы, там тоже смешения декоративных мотивов – они накладывались, подклеивались один к другому в видимых коротких отрезках улиц. Какого всё-таки цвета Рим? Вот красная охра стены и жёлтая охра пилластр, вот оранжевый фасад, один из бессчётных мазков римской картины. Оран-

жевый, но какой же сложный по цветовому составу, в нём и укрывистые сиена с охрой, и кармин, и марс коричневый, и какие-то неувовимо пригаиающие яркость добавки; я шёл уже по терракотовой улочке. Растянутые оттенки терракоты – от густой и горячей, шоколадно-красной, до высветленной, почти что розовой; и не слышать чых-то шагов, голосов, никто не попадётся навстречу, ничто не отвлечёт от подбора и смешивания красок. Мысли спутывались, в чувствах своих, вызванных увиденным, я никак не мог разобраться. Сколько раз наступало меня необъяснимое восхищение в этой точке? Не знаю, не считал, возможно, что именно здесь я за два месяца накопительных наблюдений ни разу и не был, именно по этой улочке, мимо этих красновато-коричневатых и розовых стен вообще раньше не проходил. Да я ничем по-отдельности и не восхищался, собственно, и восхищаться-то было нечем, разве что самой насыщенностью, сконцентрированностью отвердевших давным-давно озарений; череда пустынных, изобилующих неброскими каменными художествами пространств лишь представляла мне желанное убежище для уединения. Но и в этой случайной точке, чувствовал я, уплотнялся, оставаясь огромным, весь Рим, весь Рим исподволь подавлял и восхищал меня своей безмерностью, многооттеночной многоцветностью, повелевал мною, мистически внушал мне, что я в минувшие времена всё-таки не раз бывал здесь, мне уже представлялось даже, что всё вокруг мне давно знакомо. Вполне бесцельно и безответственно я вновь заскользил взглядом по темноватым, многозначительно молчавшим фасадам, ощутив, однако, тайное присутствие в сумеречной тесноте ещё чего-то, невидимого. Если обходить стороной Пантеон, как я его обходил сейчас, об античности могла напомнить разве что невразумительная яма с развалинами Ареа Сакра, храмового центра Марсова поля, но вокруг простирались его, Марсова поля, земли, замоищённые когда-то мрамором, загромождённые тенистыми портиками, бессчётными театрами, термами, стадионами; под этими плоскими булыжниками, тротуарными плитами, под моими подошвами, когда-то кипела жизнь. Античность похоронена, а до сих пор смерть её неизъяснимо гнетёт душу, тревожит память? Камни словно шептали мне в след: *temento mori, temento mori*. Мой взгляд уже не скользил беспечно по фасадам. Исчезла и лёгкость, с какой я взлетал на Пинчо. Где бы промочить горло? Машинально направляюсь в просвет за тёмно-коричневым углом. Нет, нет, только не к мосту Умберто, у которого разноязыко гудит старинная харчевня, приманка для иностранных путешественников, там легче лёгкого вовлечься в светскую болтовню, да и незачем мне упираться взором в тупой комод Дворца Правосудия, возведённого как раз напротив моста, раздражение от этой чуждой блаженному римскому пейзажу громадины, как уже было с неделю назад, вполне могло меня потянуть опять направо от Тибра – миновав массивное палаццо Боргезе, я, не понимая, что именно меня потянуло, забыв про Пантеон, опять покорно побрёл бы вдаль по Рипетта, по лучу трезубца, почти касавшемуся береговой дуги, побрёл бы мимо Мавзолея Августа, мимо церквей, не заметил бы как очутился вновь на площади Пополо... нет, я не забывал о Пантеоне, и, попятившись, я уже не чувствовал жажды – мне не хотелось пока покидать умиротворяющий таинственный дневной полумрак безмянных для меня улиц и переулков, где можно – надолго и счастливо – затеряться, чтобы затем, в полном соответствии с волнующим властным церемониалом, какому я подчиняюсь, обрести внезапную цель, беспрекословно, резко свернуть на площадь Навона, в узкий, но роскошный, театрально-солнечный, терракотово-умбристый зал под лазурным небом с обязательным обелиском, барочными, вставленными одна в другую неглубокими фонтанными чашами, где плещутся в неутомимом наслаждении символические фигуры, морские коньки, рыбины с приоткрытыми губастыми ртами и изумлённо выпученными глазами – ко всем трём фонтанам, если что-то не путаю, приложил искусную торопливую безупречно-мастеровитую руку вездесущий Бернини; не верится, что ещё недавно роскошная площадь была подсобным цехом римского гужевого транспорта, на ней мыли лошадей, экипажи... да, да, я не могу не задержаться у центрального фонтана «Четырёх Рек» с хитро укрепленным,

будто ни на что не опиравшись обелиском, вот и сведённые временем визави свидетельства жестокой уморительной вражды Лоренцо и Карло, сотворивших здесь в четыре руки изумительный пластический анекдот. Искусно встроенная в громоздкий дворец Памфили, темпераментно и изящно прорисованная церковь не иначе как для поддержания потешной интриги, пусть и по воле папы Иннокентия не помню какого номера, высилась как раз напротив фонтана, вот опасливо-защитные жесты аллегорических Нила и Ла-Платы, вполне прозрачные, вот и ответная ехиднёвкая ужимка Святой Агнессы, с игривым превосходством поглядывающей на оскорбительный фонтан с фасада посвящённой ей церкви; иссохшая головка Агнессы хранится в холодной тиши подземной церковной крипты, но маску христианской мученицы, заколотой на арене кинжалом, до болезненности изобретательный Борромини с ужасающим и прелестным ощущением собственной правоты снабдил характерной мимикой и подключил к своей – неотделимой от изводивших узорчатых замыслов? – многолетней тяжбе с Бернини, понудил к бессрочной, задорной и едкой, в духе площадной комедии, весёлости, и тем самым мистическим образом вернул канонизированную девственницу к мирской жизни. А себе перерезал горло. Медленно прогулявшись под плеск фонтанов, я мог бы теперь взять правее, отклониться к палаццо Канцеллерия, чтобы убаюкать глаз этим – таким одиноким в Риме и, пожалуй, единственным в своём роде! – воплощением ренессансного идеала, его непорочной чистотой и покоем. Ничего лишнего. Каково этому небесному каменному посланнику в окружении, где лишним ему могло показаться всё? На манер второпях всеми позабытого праведника, в белых скромных своих одеждах затесавшегося в разношёрстную безалаберную толчею безбожников, палаццо Канцеллерия со скорбным укором взирал на скопище неправильных форм. Забавно и грустно, прежде за строгими белыми стенами корпел трибунал кардиналов-каницлеров, нынче же палаццо Канцеллерия самим своим сдержанным совершенством осуждало расточительные вольности зодчих-отступников, которым, понятно, не суждено раскаяться; с искренним – или фальшивым – сожалением-смирением опущенные взоры, поджатые губы, и – безоглядная страстность... был какой-то привкус мелодрамы в отношениях стилей. И впрямь, почему бы не взять правее, не отклониться? Не пора ли глазу передохнуть и от невнятно-хмурых осыпающихся фасадов, и от сочно-терракотовой возбуждающей барочной роскоши Навоны, просветлиться выверенной золотыми пропорциями гармонией брамантовских линий и плоскостей, единственно-верными соотношениями простенков, интервалов между пилястрами? И затем – мгновенно – окунуться в бесшабашную солнечность Кампо-де-Фьори, Цветочного поля, исстари назначенного перетасовывать, как карты, картины публичных казней, увеселений. Правда и без казней, костров инквизиции сейчас здесь не заскучаешь – кабачки на все вкусы и по всему периметру поля, горы фруктов, всякая всячина сомнительного происхождения, с неистовой доброжелательностью к любопытным воспеваемая разбитными вральями-торговцами; они не прочь и наорать, корча жуткие рожи, на чересчур недоверчивых и расчётливых. На неряшливых лотках под серыми парусиновыми зонтами, навесами, рядом с экзотической снедью – меж страусовых яиц, ананасов, фиников – обманчивый хлам: облезлый и растрескавшийся перламутровый веер, украденный на балу у куртизанки Империи, почерневшие бронзовые подсвечники, помнившие кровосмесительные оргии в покоях папы-Борджя, эфес поломанной шапки, ею закололи подленького французика, беспардонного фаворита королевы Христины. Не пора ли всё же пропустить рюмочку? Или выцедить глиняный кувшинчик вина? – добираясь сюда натоцк, я вознаграждал себя за зрительское усердие ещё и ломтём тёплого хлеба, перегруженного подкопчённой ветчиной, белым сыром и зеленовато-розовыми кружками не успевшего созреть помидора. Амброзия жарки, варки. У стойки мирно бранятся кучера, грузчики, тут же какие-то чопорные старикашки при шляпах, перчатках, но с лихо заблестевшими, когда им наполнили рюмки, глазками, в углу, не замечают питейного бедлама, сражаются в шахматы, а рядом со мною шуршат газетами, спорят, тараща глаза и жестикулируя, аргументы свои выкрикивают,

как лозунги, ловлю себя на том, что понимаю по-итальянски. – Джолитти не хочет войны из-за австрийских территорий, он за нейтралитет. – Нет, синьор, это не австрийские территории, это итальянские земли, их давно пора у австрийцев отвоевать, а Джолитти юлит. – Джолитти никогда нельзя было верить на слово, но сейчас он за войну, за войну, он фальшивый либерал, он заодно с непримиримыми социалистами. – И хорошо, что заодно, только союз Джолитти и Муссолини нас приведёт к победе, мы вернём земли, захваченные австрийцами. – Муссолини был против ливийской войны, забыли? – Теперь поумнел, понял, что пора проучить австрийцев... Боже, как все эти воинственные политические страсти-мордасти далеки от меня! За окном – ослик, жующий сено, повозка с высокими дощатыми бортами, натюрмортный лук-порей и бутылка масла на краю лотка, пышнотелая краснощёкая матрона с охапкою парниковых роз. И приятно зашумело в голове, и вновь потекли в разные стороны темноватые, хотя уже довольно оживлённые улочки; лавки, набитые таинственно мерцающей рухлядью, разваливающиеся фонтанчики с вымученной капелью, новорожденные, пока нежно-желтоватые листочки, льнущие к древней бархатной кладке в булыжных двориках, в расстрескавшихся, осыпавшихся уличных тупичках. Площадь Парадизо. Кривой ствол. Лениво замираю в паутино-синей тени ветвей у изогнутой оплывшей стены, если верить эффектно ткнутому в замусоренную землю лакированной тростью зычноголосому чернокудрому предводителю нагнавшей меня экскурсии, под желтоватой стеной, под грязным исцарапанным цоколем – фундамент театра Помпея, славу которого увековечила натуральная сцена убийства Цезаря. Не время ли с издёвкой превращает мир в пошловатый театр, людей в актёров, загримированных навсегда? И ты, Брут? – с бесталанным пафосом век за веком вопрошает, как заведённый, бессмертный Цезарь. Стена залеплена афишами и плакатами. Вразброс – чёрно-белые афиши синемаатографа – «Кабирия», «Кабирия», после туринской премьеры смотрите в Риме. «Кабирия», ещё не показанная, наделала много шума своим героическим античным сюжетом, подробности которого пока что держатся в тайне, нетерпение по милости газет с афишами активно подогревается, и, думаю, вскорости доведено будет до кипения, но я не успею уже посмотреть сенсационную фильму. Огибаю стену. Опять «Кабирия», крупными буквами – Джованни Пастроне, Габриелле Д, Ануцио. Что они там напридумывали? А дальше, за рекламным обещанием – тоже крупными буквами – гастролей Тосканини, – плакат выставки Умберто Баччони с фото зрительно-динамичных его скульптур-агрегатов, рвущихся пронзать, крушить, вращаться и перемалывать. Футуристы, разрушители прошлого, бредят устремлённым движением, буравят грядущее. За скатом случайной крыши прочертился карниз палаццо Фарнезе, я засомневался – не чрезмерным ли получался крюк? Обратно, обратно, как славно, что Навона осталась замкнутой, цельной, что в патриотическом раже не проломили, как планировали, её фасады, чтобы открыть вид на уродливый, взгромоздившийся за Тибром дворец Правосудия. Не доходя до скруглённого угла площади, наложенного на дугу античного стадиона, у фонтана «Негр» сворачиваю в чёрную щель меж заглядевшимися на водные забавы домами, оставляю справа руины Ареа Сакра, чтобы начать, наконец, такое же долгое, такое же радостное, как и мои удаляющие плутания, возвращение к первоначальной, будто бы позабытой цели.

На сей раз я, терпеливый охотник за главным, отложенным на закуску зрелищем дня, подкрадываюсь к машине Пантеона сзади и чуть сбоку, его не видно пока... Редкостная для Рима готика, Святая Мария над Минервой. Обелиск, установленный, правда, почему-то на спине мраморного слона, опять Бернини; не посвящён ли монумент памяти слона, которого подарили папе и водили по Риму – я надумал справиться о слоне в путеводителе, однако в углу площади, между охристо-коричневыми домами уже виднелось могучее, напоминавшее о массивах древних крепостей, закругление глухой серой стены.

Огибаю Пантеон по границе довольно глубокого, огороженного толстыми парапетами рва. На площади с Рамсесовским обелиском, выметнувшись из барочного распластанного

цветка, недоверчиво застываю перед многоколонным портиком – колонны графитно-серые, как грифели гигантских карандашей.

Неужели таким Пантеон и был без малого два тысячелетия назад, сразу после пожара и адриановской перестройки?

На Форуме моё недоверие вызывали попытки схематично реконструировать облик теснившихся у Священной дороги храмов, а, застывая перед Пантеоном, я упрямо не верю в его фантастическую подлинность. Что менялось? Потрафили папскому капризу, прилепили, затем, лет эдак через двести, сбросили – победа Марса и Венеры с толпою прочих богов, незримо свой храм оберегавших? – нелепые, позорившие Бернини башенки, купол освободился от ослиных ушей. Что ещё? Отодрали фронтонный барельеф, какие-то позолоченные пластинки, пустили бронзу с портика на прославивший молодого Бернини соборный, с витыми колоннами, воздушный балдахин, на так, наверное, никогда и не выпалившие с замка Святого Ангела пушки, но – вот он, Пантеон, почти первозданный, лишь потемневший от времени. И Наполеону не дался, когда тот захотел его умыкнуть в Париж.

Впрочем, одной пушке нашлось применение, экстравагантная Христина пальнула в виллу Медичи, чтобы разбудить проспавшего свидание кардинала.

Мягкий сумрак, льющийся в круглое окно свет.

Сокращались кверху по ширине пояса кессонов, будто бы с учётом инженерных расчётов прорисованных современным мастером. Купол как образ неба, большое круглое окно в нём... небо за небом, образ небесной бесконечности? Под основанием купола – ещё два круговых яруса членений по высоте, золотисто-розовые, поблескивающие мрамором, бронзой; шушукались чёрные траурные старухи у трогательно-скромного надгробия Рафаэля, я снова задрал голову и снова не поверил глазам.

Сбоку донеслась сбивчивая, с форсированным прононсом французская речь; голос знакомый. Эвелина! – мадам-синьора, старенькие мосье с разинутыми ртами.

Я стоял поодаль, прислушивался.

– Император Адриан, – с заученным вдохновением излагала легенду Эвелина, – при возведении купола приказывал постепенно засыпать внутреннее пространство землёй, чтобы рабочие по мере подъёма купола могли доставать до верха очередного пояса кессонов, при этом в землю подмешивались золотые монеты, потом, когда конструкция купола поднялась, Адриан, знавший цену плембсу, разрешил всем, кто пожелает, искать и забирать золото, толпа быстро очистила Пантеон.

Какой неблагодарный закон усвоения! Сначала подвиги страстотерпцев, фантастические прорывы духа, творившие Рим в решающие его часы, затем – расхожие анекдоты. История, если дело сделано, с облегчением скалит зубы?

Когда я выходил из кофейни, в Святой Марии над Минервой зазвонили колокола; я осмотрелся – площадь будто бы перекрасили.

Соснин читал, не отрываясь.

Ему было хорошо знакомо поисковое состояние, близкое к трансу: одержимость поиском чего-то желанного, но неясного, чего-то, что так трудно понять и определить. В самом деле, что именно искал, что хотел найти или открыть дядя, импульсивно подчиняясь невнятным подсказкам Рима? В страстную неменяемость слепого поиска с широко раскрытыми глазами и сам Соснин не раз впадал, когда брёл вдоль Мойки, блуждал по Коломне, повелевавшими им так же, наверное, как улочки и площади вокруг Пантеона повелевали дядей; Соснин ведь тоже не столько рассматривал город как нечто внешнее, отдельное от него, сколько торопливо, слитно и едва ли не бессознательно впитывал всё, что видел, покорялся тайным силам и сигналам увиденного, которые непрестанно теребили воображение. И скорее всего нечто подобное тому, что испытывал Илья Маркович, испытывал бы и он, если бы сказочно вдруг перенёсся

в Рим. И, возможно, писал бы о Риме так же, как писал дядя – с эмоциональной дотошностью, под диктовку переполненных глаз.

Родство душ?

Почему нет, ведь когда-то за окном шумел ливень, он стоял со скорбной миной у гроба Ильи Марковича и почудилось, что в него, бездушного, переселялась дядина душа, пусть не вся душа, частичка её; в ушах отозвался ритмичный стук молотка, такой далёкий. Заколачивали крышку гроба, затихал ливень. И разгоралось по пути на кладбище солнце. Увидел, вздрогнув, на неровном глинистом дне могилы рассечённого надвое лопатой дождевого червя, голубую лужицу с облаком.

Вечерело, ошеломлённый мощным великолепием Рима, я углубился в какие-то и вовсе богом забытые переулки и ощутил вдруг лёгкость, даже летучесть барочных церквушек, которые притулились в невзрачных тупичках, как статуи в нишах. Ничего не менялось здесь на протяжении послебарочных столетий. Губчатые, плотно пригнанные камни покоились на обжитых местах. Потемнелые лицевые фасады храмов встречали показную пышностью прихожан. Однако послушные опрометчивому толчку фантазии, фасады эти, в неверном свете будто бы невесомые, окончательно утрачивали свою обманчивую устойчивость, чудесно отделялись от прилепившихся за входными порталами нефчиков с алтарями; отделялись и – сминались-размягчались-менялись. А фантазия выигрывала, не знала удержку – я ввязывался в один из быстролётных римских сюжетов.

Не чересчур ли у дяди выигрывала фантазия?

Раскрыл Вёльфлина: «появились новые определения признаков красоты – своеобразие, своеобразие. Благоклонно принималось всё оригинальное, нарушавшее правила. Тяга к бесформенному стала всеобщей».

Пластичностью, текучестью каменные оболочки соперничали с материей – да, каменные драпировки, конечно... они действительно трепетали, как драпировки, примерялись к разным, податливым, заждавшимся их, но неведомым пока что пространствам, то развёртываясь в вольном, реющем, всеохватном поиске, то, ограничивая, пробно закрепляя найденное, упруго сжимались.

Форма жила сама по себе?

Я, по правде сказать, не страдавший ранее сверхчувственными способностями, уже не фантазировал – видел то, что творилось за притворной косностью травертина. Взламывалась драпировочная – лишь маскировочная! – плавность твёрдых перетеканий. Профилированные обломы с калейдоскопичностью сдвигались, распадались и рассыпались в бесформенностях; хаотичное дробление, камнепад. Но – обломы и складывались заново, перекладывались, беспорядок их промежуточных сочетаний обнажал исходный хаос художественных позывов, из которого рождалось барокко, одномоментно разбрасывая и собирая камни.

Нет, не приходилось сомневаться – не зря именно ему дядя незадолго до смерти попросил переслать свой дневник. Интуиция Ильёу Марковича не подвела, точно угадал с адресатом! Кто бы ещё взялся читать такое? А Соснин читал с нарастающим волнением, не мог оторваться. Да-а, позаботившись об адресате, дядя свою земную миссию завершил, спокойно мог умирать.

Звонил телефон.

снова Влади (с доверительной интонацией)

– Я от тебя не только обещанную «Справку» о правилах, лучше – законах – красоты, для убеждения комиссии и правосудия жду, это-то тебе – раз плюнуть, а не забыл приватную просьбу? Да, должок за тобою, Ил! Не в службу, в дружбу – раз, два, три, пионеры мы... Нака-тай конспектик главы о зодчестве убогих чухонцев. Помощники Хозяина в хвост и гриву гонят,

и Салзанов туда же, ползучий гад, пролез в Смольный и – пресмыкается, жалит... вмиг перенял тамошние гнусные нравы, меня тоже вынудил на себя ишачить, для установочной к юбилею газетной статейки велел фактуру с цифровыми выкладками готовить, полночи я прокорпел. Да, «В гостях у северного соседа». Накатаешь к субботе? Не майся дурью, сосредоточься и – с чувством, толком, но – быстро. А о красоте пиши чётко, ясно, не вздумай напускать туману, дразнить гусей.

– Знаешь, что я уже не свидетель? Следователь прокуратуры меня вчера переквалифицировал в обвиняемого.

Пауза.

– Ну так как, знаешь?

– Не дрейфь, это юридическая рутина, не отвлекайся.

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.

Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега... –

еле разбирая бледную машинопись, автоматически, краем глаза, читал Соснин.

привычка свыше

Да пусть он и собрал бы волю в кулак, расстарался, как мог, в усидчивости, сосредоточенности, всё равно вскоре засмотрелся бы на вспухавшее облако, открыл бы наугад тот ли, этот из десятка коричневых томов, которые, провоцируя, жались один к другому, и – провалился бы в долгие музыкальные лекции зайки-Кречмара, истории болезней или объяснения влюблённого Ганса с Клавдией, рассматривал бы на просвет ещё пристальнее, чем Ганс, рентгеновский снимок её грудной клетки... его захватывала гулкая монотонность больших, ритмизованных самим временем книг.

А тут ещё почтовый подарок прошлого.

Рим, 29 марта 1914 года

Теперь – в палатце Фарнезе, давно к нему подступался.

Вход – только по предварительной договорённости, я отправил письмо, дождался ответа-приглашения.

Рыцарский замок, облагороженный, перенесённый в город?

Соснин охотно взял романский след в планах ренессансных и раннебарочных дворцов, где, как в рыцарских замках, к парадным, сочившимся роскошью залам могли примыкать темницы.

И далее:

Выразительность захватывает все чувства, покоряя пространство, заряжая магией пустоту; изобразительность приманивает всеядный глаз, насыщает его иллюзиями на плоскости. Но умозрительное разграничение это исчезает в прихотях обратимостей. Художественные смыслы перетекают...

Судя по напору впечатлений, Илья Маркович не задержался на безлюдной заспанной площади у высохшего фонтана с античной ванной, созерцая расчерченный тягами, равномерно пробитый окнами фасадный панцирь с рустованным центральным порталом и накладными каменными стяжками на углах; впрочем, фонтану, одному из двух, одинаковых, он уделил внимание: *каким же трогательно-уморительным получилось составное трёхчастное сооружение – в изысканное, со скруглёнными лепестками, барочное блюдо была помещена грубоватая, с непропорционально высокими, чуть наклонными бортами античная ванна из терм,*

а уже из ванны выросстал собственно фонтан, напоминавший то ли вычурный антикварный канделябр, то ли сработанный ювелиром корпус керосиновой лампы для гулливеров.

Далее Илья Маркович, приближаясь к входному portalу, не скрывал попутного удивления – *неужели на этой пустынной площади, между этими фонтанами, когда-то толпы шумели на боях быков, на итальянской корриде?*

Но не стоило отвлекаться.

«Только раз, только миг человеку всё небо открыто» – почему-то забормотал я корявый пястовский стих, войдя во двор, – Илья Маркович будто бы вошёл в запертый для посторонних складень, будто один он, первым на белом свете, был допущен в сердцевину пластической тайны, разгадку коей именно ему младший Сангалло с Микеланджело завещали донести миру вопреки бессилию языка; вошёл, испытал восторг.

Панцирь, как кажется, ренессансный, или – с учётом разорванных фронтонов над окнами третьего этажа, чрезмерно поднятой фасадной стеной с карнизом большого выноса – почти, условно говоря, ренессансный, а ну про... Воплощённая переходность! Ордера строгость и соразмерность всех элементов палатцо Канцеллерия, находившегося поблизости, всего в двух минутах ходьбы, забыты? Два первых этажа, возведённые Сангалло, ещё хранили традиционную серьёзность, отличались от ренессансных образцов лишь большей массивностью и сгущённостью деталей, но Микеланджело, своевольный, безоглядно-отважный, своим третьим этажом преобразил пластику всего дворца, вольно ли, невольно, свершил победоносный переход от ренессанса к барокко. Начал, сломав идеальные пропорции, с карниза, мощного карниза с явно преувеличенным полем для мощной тени на главном фасаде, ну а внутренний двор... Нет, я, конечно, не знаю, точно ли с Микеланджело началось барокко, но уверен, ибо не могу не верить глазам, что он, неистовый, одержимый, первым столь полно выразил характерную для барокко невозможность остановиться – в старательно выисканные и так хорошо знакомые, звавшие к повторению желанных гармоний формы внезапно вселился дух саморазрушения, связные элементы – карнизы, колонны, пилястры – рвали к подвижной бесформенности, свободе от канонических правил их сочетаний. Художественная энергия побеждала предписанные формам ренессансной традицией покой и сухость. Резной, песочно-землистый камень, затворённый на пыли веков, сотворённый... неземная гармония на земле... – не стыдился чувств Илья Маркович. Его, однако, отрезвила странность увиденного, он смахнул слезу умиления, умеряя жадность глаз, принялся раскладывать формы-образы в условном порядке, снизу – вверх.

Аркада первого этажа привычно очерчивала периметр двора, но это была не чисто-ренессансная, воздушная аркада на тонких колоннах, – арки покоились на объёмных пилонах с накладными дорическими полуколоннами; лежащий на их капителях архитрав служил нагруженной балкой и... изображал – под окнами второго этажа – декоративную балюстраду.

Во втором этаже ионические полуколонны накладывались уже на пилястры, копирувавшие профили и карнизные членения нижних пилонов; с пилястры на пилястру перекидывались нарисованные – со слабым рельефом – арки. Сквозная несущая аркада первого этажа словно пародировалась на втором – в плоскость стены под дугами нарисованных арок вписывались окна с треугольными фронтонами, выше, над ними, тянулся пояс-фриз с листовыми гирляндами.

Фасадные стены на третьем этаже расчленялись двуслойными пилястрами с коринфскими капителями – пилястра накладывалась на пилястру, изображение на изображении; окна накрывали эллиптические фронтоны...

Илья Маркович нудно перечислял увиденное, но пояснительные слова его на сей раз безотчётно перекликались со сбивчивым устным комментарием и картинкой, которая сама собой мистически оживала перед мысленным взором Соснина. – Это Рим, Рим, не перепу-

тайте, палаццо Фарнезе в Риме, – звучал в ушах взволнованный голос Гуркина, а из далёкой-далёкой тьмы на смятый экранчик институтской аудитории выплывал, ёрзая от гуркинских косноязычных похвал, величаво-спокойный кадр, взятый фотографом в духе итальянской перспективы с фронтальным, пятиоконным по ширине, фасадом и симметричными сокращениями боковых крыльев дворца; с густой тенью аркады, ковровыми, крест-накрест и по диагоналям, утмнениями замостки. И тут, пока Соснин прислушивался к ускорявшемуся биению своего сердца, Илья Маркович покончил с изнурительными перечислениями, вернулся к уколывшей глаз странности.

Аркада первого этажа несла на себе всю тяжесть... Но чем выше, освобождаясь от нагрузки, возносились фасадные стены, тем массивней, пышней, выглядели они – реальный вес уступал весу символическому по мере убывания кверху связной, общепринятой выразительности: дорический ордер надстраивался ионическим, тот – коринфским; объёмные пилоны придавливались их сплюснутыми дубликатами, пилястрами, те – пилястрами сдвоенными. Тяжесть, накапливаясь и возрастая, обращалась в фикцию. Комбинируясь из канонических фрагментов по гениальному произволу, детали, казалось, набухали, нервически тянулись к карнизу дворца, да, именно так: всё, что рельефно лепило и расчленяло стены – арки, балюстрады, фронтоны, картуши, гирлянды – всё зрительно утяжелялось и при этом тянулось ввысь, опрокидывая земной закон, сопротивлялось, если тут уместно такое слово, не материальному весу камня, а весу возвышенному, силилось удержатъ мироздание, хотя одно только бездонное небо голубело над карнизным венчанием. Всё откровенней заигрывая с изобразительностью и лёгкостью, если не легковесностью, многосоставная форма достигала бутафорской массивности – как и подобало образной опоре небесного свода, имитировала мускулистость, упругость, словно была высечена из монолита. Парадокс или...? – вопрошал Илья Маркович, явно гиперболизируя перегруженную излишествами, довольно-таки суховатую при всей её пышности, как привык считать Соснин, композицию, никоим образом им не принимавшуюся прежде за кульминацию барочных безумств. Хотя эфемерная, порождённая лучом волшебного фонаря картинка, которая запомнилась Соснину, покрасовалась да и соскользнула со светящегося квадрата во тьму, а римская барочная натура – благо, покончив с покоем и негой, не знала меры – наверняка могла перевозбудить.

Между тем, Илья Маркович, успевший уже восхититься и более поздними, исполненными братьями Карраччи, пьянящими росписями свода над большой галереей дворца, – *вызов заурядности, пошлой рутине* – переходил к вполне смелым для своего времени – хоть вставляя в лекции Шанского – соображениям. *(Петербургская пространственная традиция – замечал Илья Маркович в скобках – вывернула наизнанку средиземноморскую, дворы доходных домов – голые, художества вынесены наружу, на улицы, дабы поражали всех горожан. Мы, правда, страна фасадов).*

Похоже, он приближался к главному.

Дворец являл идеал строения – не только бытовым, но и символическим ядром его был патио. Сгущение тянувшихся к небу античных форм превращало патио в пантеон, искусство славил в нём самое искусство. Художественная страсть не затвердевала – камень пульсировал, его теснила изнутри колдовская сила – раздувала, искала выход, непрестанно взламывала гармонию, с которой едва обвыкался глаз.

И действительно – главное.

Столько слов, когда подсказка барокко проста: в искусстве правит закон небесного тяготения.

И приписка ниже, в углу страницы: *выбрал спокойную точку для фото – из-под арки, по продольной оси двора.*

**ветерок, пронёсшийся над Тибром, охладил
чувства, прочистил мозги и помог Илье Марковичу,
не поступаясь оглядками, сомнениями, фантазиями,
сформулировать второе (дополнявшее и уточнявшее
первое) послание об особенностях римских ансамблей?**

Via Giulia – потрясённый, я посмотрел на табличку, не сообразив сразу, где находился. Оглянулся на стену сада, за ней, на фоне лоджии заднего фасада палаццо Фарнезе клубились пинии. Античный фонтан с уморительно-уродливой розгой, арка. С этой арки, кажется, Микеланджело начинал сооружение так и не осуществлённого коридора, который он намеревался перебросить через Тибр, чтобы связать разделённые рекой палаццо Фарнезе и Фарнезину. Каким он его, этот коридор, задумывал? Любопытно, фасады сдвинуты – наискосок, по кратчайшей прямой от фасада к фасаду, он его хотел перебросить или – с изломом?

Via Giulia вывела меня к Тибру у моста Систо.

Снега в горах пока не растаяли, вода лениво струилась между высокими серыми стенками набережных, довольно унылыми.

Прошумели на ветру и стихли платаны, безлистные, словно проржавелые – на бледных, обвислых, как плети, ветвях, распушивались красно-рыжие серёжки.

Я медленно шёл к мосту Гарибальди, всё отчётливее виднелись театральные декорации острова Тиберина, похожего на сказочный, севиший на мель линкор.

Плотность, с какой сконцентрировались искусства во внутреннем дворе палаццо Фарнезе, недавние кружения окрест Пантеона, держали всё ещё в напряжении все мои чувства, но засветились голые белёсо-пятнистые стволы, заблестела вода, покачивая серебряное высоченное небо... высыпали к Тибру дома, те, что подальше, повыше, живописно рассыпались по яникульскому склону.

*На ходу оглянулся. Нет, фантазия моя сплосковала, над мостами, на фоне уплывавшего влево, за холм, купола Святого Петра, не возник воздушный коридор Микеланджело; небесное серебро впитали камни, сгустили? – из тусклого серебра были отчеканены мосты, и уплывавший влево соборный купол, и фасады вдоль набережной, и замыкавший перспективу *via Giulia*, помечавший крутой изгиб Тибра куполок церкви, возведённой для себя флорентийцами, в ней упокоился по прихоти судьбы Борромини... приютили самоубийцу... На другом берегу виднелся угол Фарнезины, крыша палаццо Корсини.*

Не вернуться ли к мосту Систо и свернуть в Трастевере? Почему бы после палаццо Фарнезе не подивиться опять сокровищам Фарнезины?

Шелестяще налетал, срывая серёжки, ветер.

В воде зыбились отражения ветвей.

Лень было решать – возвращаться, не возвращаться – я машинально шёл к мосту Гарибальди, удалялся от Фарнезины.

*Рим избежал барабанного боя классицизма, ему вообще чужды массивные ансамбли нового времени, какими хвастливо обзавелись Вена или Париж? Ансамбли, которые реорганизуют, подчиняя себе, а то и подавляя, окружающие пространства? Собор Святого Петра – по сути замкнутый ансамбль самого собора, расширенный и, в замкнутости своей, завершённый симметричными дугами колоннады, едва ль не основное символическое назначение её – заключать в совершенную форму слитную массу людей, когда они заполняют по церковным праздникам площадь, отделённую от мирской суеты и скверны слоем непритязательных случайных домов. А барочный трезубец, *Tridente*, как восклицают римляне? И тут всё – вразрез с учебниками градостроительного искусства, по-своему. Три уличных луча уводят*

из пространственного ядра Рима: площадь Пополо прижата к средневековым крепостным стенам, за Фламиниевыми воротами, чью воздушную арку, сходясь, прокалывает трезубец – дубравы и пруды с лебедями виллы Боргезе. Да! И – опять, будто мне не хватало немедленного зримого доказательства, оглянувшись, убедился, что купол уплыл за холм – собор Святого Петра тоже на самом краю города, за ним лишь ватиканские сады, виллы. Главные ансамбли – на выселках?! Но выросла симметричная беломраморная громадина в перспективе Корсо, в противоположной от площади Пополо стороне. Взрывной выброс патриотизма окаменел, уличный трезубец, привычно уводивший и з, привычно целивший в арку Фламиниевых ворот, теперь, обнаружив цель сзади, пронзает ещё и ступенчатое, многоколонное, подавляюще-огромное диво центральным своим лучом. Новое время настигло своевольничавший до сих пор Рим? Памятник объединительному экстазу сдавил сердце его, Капитолий. Спесивая попытка отменить неписанные предпочтения, подчинить осевому ансамблю свободный город?

Вот и мост Гарибальди.

Может быть, свернуть всё-таки в Трастевере?

и тут

Меня окликнули по-русски. – Илья Маркович, вы? Невероятно!

Действительно невероятно! – передо мной стоял, улыбаясь, Тири; он наклонил голову и галантно приподнял шляпу.

не переводя дыхания

Достал вложенные в тетрадь копии писем. Гм, качество копий, действительно, так себе; едва различимая шапка на бланке отеля «Консул», дату не разобрать... а-а-а, всё-таки разобрал.

Рим, 31 марта 1914 года

Гурик!

Заканчивается моё сентиментальное итальянское путешествие. За перипетиями его, если была охота, ты мог следить из Петербурга по письмам, которые я исправно посылал Соне, но недавно повезло выведать твой Тифлисский адрес, сие учёнейшее послание, надеюсь, поспеет как раз к началу твоего отпуска и...

Так, дальше.

Извини, Гурик, за сбивчивость, вроде бы необязательные, но, поверь, упрямо цепляющие перо подробности. Пишу по свежим впечатлениям прелюбопытной экскурсионной поездки с Тирицем, не удивляйся – столкнулись нос к носу в Риме. Ты-то ещё по гимназии знаком с разнообразнейшими талантами и познаниями, причудами и ужимками неистового Петра Викентьевича, а я прежде встречался с ним от случая к случаю, в основном за покером, наши отношения карточных соперников – с шуточками-прибауточками он однажды едва не спихнул меня в долговую яму – бывали, мягко сказать, натянутыми, Тирицевский азарт, вспылчивость, острословие, сполна явленные за зелёным сукном, не выдавали страсти к приключениям в лабиринтах искусства, и – уж точно! – не могли объяснить необузданности его вдохновения и лихости за рулём авто.

Так-так.

Я знал, что Тириц в Риме, стоял даже в задних рядах слушателей на его дерзком, огульно ругавшем раздражительность русского искусства докладе на вечере римских петербуржцев, но не хотел...

Так-так, про тот скандальный вечер уже начитан, дальше.

В Риме я упивался одиночеством, намеренно не заводил знакомств, поселился в тихом «Консуле», а не в прославленной соседней, через два дома, ближе к площади Пополо, гостинице, обители иностранных путешественников, после экскурсий назойливо делящихся своими восторгами – я благодарил судьбу за то, что могу смотреть и видеть, обдумывать увиденное, не отвлекаясь на пустые светские беседы, однако внезапная встреча вывела меня из созерцательной отрешённости, которой я, рискуя разучиться говорить, признаюсь, всё же подспудно начинал тяготиться, поездка с Тирицем в Орвието дала острую пищу уму...

Соснин пропустил ещё с полстраницы.

Орвието, крохотный городок, уместился со своими монастырями и сонными запущенными дворцами на почти отвесной, вулканического происхождения, коричневато-ржавой скале – взбирались по серпантину, петли покруче крымских. Первоначально мы хотели ограничиться осмотром главной достопримечательности городка, воздушного готического собора с белокаменным стрельчатым лицевым фасадом, засмотревшись на тесную площадь, с сине-золотистыми мозаиками, кружевными рельефами на лицевом фасаде и фресками Лукино Синьорелли внутри, в капеллах и нефях – печаль, нежность синих и голубых оттенков, невесомость фигур. В одной из капелл – «Осуждённые», заставившие меня вспомнить о микеланджеловском «Страшном Суде». А в поперечном нефе нас поджидал уже совсем не страшный Апокалипсис с известняковыми просветами на розоватых телах и пепельно-сиреневом небе. Однако не одним собором жил Орвието, вулканические породы не только угрожали собору оползнем, но и, как возвещал аляповатый плакат близ соборной площади, были благотворными для лозы, мы, беспечные искатели удовольствий, получив ночлег в простенькой, по-деревенски милой гостинице, соблазнились дегустацией, вовсе не аптечными дозами, белых вин, издревле – теперь замечу, вполне заслуженно – ценимых по всей Италии.

Ну как, Гурик, не надоело? Терпи, дорогой.

Итак, Гурик, мы на веранде грязноватого кабачка, на столе – яблоки, блюдо с козым сыром, травами, вялеными маслинами. Напротив веранды – дремлет необитаемый, сложенный из коричневого туфа дворец, измученный переходом от ренессанса к барокко. Налево, к зазеленевшему вдали горному склону с пылевым облаком масличной рощи, тянется, искривляясь, улочка, справа, в перспективе другой улочки белеет увенчанный пиками и стрелами угол собора.

– К чёрту серьёзность, не терплю художников в футляре, – шутиливо резюмировал впечатления от соборных фресок Тириц, всё ещё мысленно любуясь прозрачными, расплывчатыми, сине-голубыми мазками, розоватой бесплотностью наготы, – не зря мы сопротивлялись напускной серьёзности Синьорелли, поняли то, что он от нас так искусно пытался скрыть: настенные изображения, будь то чудеса антихриста или дантов хоровод потерянных грешных души, призваны ласкать глаз, подобно обоям с тюльпанами, птичками... Поняли, и теперь...

Просветлённые провинциально-наивной готикой, облачными фресками, мы с лёгкими сердцами предавались питейным радостям – осушая слезливые стаканы, отодвигали на потом початую бутылку, пробовали из новой, за каждой словоохотливый кабатчик, деловито надевая вытертое пальто на рыжем меху, спускался по каменным ступеням глубоко-глубоко под землю, говорил, в старинные катакомбы, где бутылки хранились в прохладе среди скелетов. Тириц чутким памятьливым носом улавливал ароматическое родство орвиетских вин с пьемонтскими, впрочем, после долгих сопоставлений мы сошлись на том, что лучшие в мировом меню ординарных вин, и впрямь, итальянские, а в конкуренции дорогих, отбор-

ных сортов, конечно, первенствовали французские. Сии вакхические банальности подвигли, однако, Тирица на искромётную лекцию о суливиших демонические галлюцинации и бурления крови красных испанских винах, кои он досконально знал, – именно знал, не любил! Из козней тамошнего солнца и винограда он выводил экзальтации горячего, если не горячечного иберийского католицизма, жестоких страстей его, крестом осенённых: географических захватов, испелений ереси; а художнический жар, пылкость? – и ну нахваливать одному ему известного набожного и безумного зодчего-каталонца, увы, имя растворилось в винных парах. Потеплел, потом вспыхнул коричневый дворец, черепица на дальних крышах занялась оранжевым пламенем, но мы как пили, так и болтали, перескакивали от темы к теме. Пьяный язык не только разоблачал трезвый ум, являлись прихоти мысли, её извивы, круги. Тириц с хрустом надкусил яблоко... следуя за Соловьёвым в стремлении раздвинуть завесы видимостей, он рассыпался в похвалах недавно открытому им французскому сочинителю-бергсонианцу, который любой своей эмоциональный, интуитивный позыв, возвращавший в прошлое, воплощал в волшебной словесной вязи. Восхваления сочинителя, едва издавшего свой первый роман, никем, кроме Тирица, как понял я, не отмеченный, зато внушительно-многословный, перетекали в невразумительные пересказы прочитанного, свидетельствовавшие, на мой взгляд, о заслонении мира новыми завесами, новыми словесными видимостями, но как бы не увлекался сам, как бы не распалялся Тириц, он не спешил убеждать, просвещать, лишь с помощью безвестного сочинителя-парижанина выговаривал свои мироощущения, смешивал и перемешивал их, чтобы получать поводы снова и снова извлекать из невообразимой мешанины обрывки ранее сказанного, пытаться бегло намеченное домысливать, развивать, уточнять. Складывалось впечатление, что за винопитием на фоне собора он лишь распевался, пробовал голос, ничуть не смущаясь, когда давал петуха. Нет нужды добавлять, что я не ошибся – главные арии были впереди.

Так-так, ну и письма тогда строчили!

Мягкие краски заманивали вглубь Умбрии, звали поломать первоначальные планы, повернуть к Ассизи, хотя и я, и Тириц там уже побывали прежде и успели властью обсудить чудо-город, обнесённый мощными стенами, спящий на склоне холма, рассечённого вдоль склона прямыми длинными улицами с темноватыми средневековыми домами и суровыми соборами, словно готовившими взгляд к встрече с главным пространственным и символическим узлом города – сопряжёнными воедино верхним и нижним храмами. Поперёк холма проложены узкие улочки с лестницами, поднимаясь или спускаясь по ним, натыкаешься сплошь и рядом на неожиданности; выходишь к романской ли базилике, башне ратуши с примыкающим к ней античным, отлично сохранившимся портиком храма Минервы. Гурик, обрывая себя, всё это надо своими глазами видеть. Вот и нам захотелось, раз уж мы заехали в Умбрию, увидеть Ассизи вновь, но...

Так-так.

Прежде, чем вернуться в Рим, мы намеревались также заехать в Витербо, цитадель пап, однако сильнейший грозовой ливень накануне размыл горбатую дорогу, путь нам преградил утонувший в грязи допотопный дилижанс, и, почертыхавшись, Тириц дал задний ход.

Так-так-так.

– Смотрите, смотрите! Рим – это невиданное ристалище эпох, где ещё язычество и христианство сибились в столь безжалостной плодотворной битве? И языческий Рим не повержен, нет, поле эпической битвы усеяно символами торжествующей утончённости, выброшены щедрые побеги в новые времена, вот, гениальное озарение римлян, арка. А Пантеон с посулами высокой бездны? – образный поток света непрерывно орошает наши души из круглого окна в небо! – выпаливал Тириц. – Гляньте-ка, гляньте на руины! – худющая рука обводящим жестом вылетала за приспущенное стекло авто в палевую пелену зноя, – века сбросили с капителей обузу балок, фронтонов, каменные цветы на длинных стеблях потя-

нулись к солнцу. И незачем теперь запоздало кланяться Винкельману, наново возродить романтическую эстетизацию руин, глотать слёзы в жалостливых умилениях порушенными красотами. Символические цветы, которые взметнулись над останками античных стилобатов и зарослями шиповника, вдохновляют уже на эзотерические прорывы в красоту как высшую целесообразность! Долой путы, догматы, долой вековечное иго трёхчастного трюизма Витрувия! – поигрывал рулём Тириц; мы огибали имперские форумы, оплавленные предзакатным огнём.

Возвращение из Орвието едва не доконало меня – мутило на зигзагах узкой дороги, во рту першило от пыли. А Тириц немилосердно изводил красноречием, от острых, злых суждений его касательно зодчества ли, выморочной нашей истории поначалу бросало в оторопь, но скорости сомнения в проницательности столь переперченного ума побивал певческий дар внушения. С нескрываемым наигрышем он повышал или понижал голос, менял интонации, тембры, сотрясался от клокотанья праведного гнева в хилой груди и вдруг принимался хихикать, будто изнутри щекотали. Стоит ли удивляться, что я, угодник всякого лицедейства, покорно нацепил маску простака и развесил уши? И повторюсь для полноты картины: разнозвучные филиппики свои он снабжал комичным гримасничеством, взлётами костлявых рук – баловень салонов, словно витийствовал у камина, а не правил в горах машиной – свою жизнь, вкупе с жизнью квёлого пассажира, он безбоязненно доверял судьбе.

– Нет, я не фаталист, – ёрничал Тириц, – но уже и не смиренный католик, молитвенно ждущий, когда пред ним отворят врата небесного царства, – припомнилось Анино с Костей венчание, нахохленный, птичий силуэт Тирица в костёле на Ковенском... куда там! Непревзойдённый оригинал, он, тепло принятый в ватиканской курии, Пия X, аудиенции которого удостоился, называл презрительно мозгляком, а сам мечтал о церкви, где когда-нибудь породнились бы ересь и ортодоксия; пока же в мировой столице католицизма надумал поклоняться экзотическому божку, эдакому гибриду Будды с Марком Аврелием. Для вящего эффекта Тириц, не сбавляя скорости, повесил на указательный палец чётки и медленно потягивал цепочку, дабы я зримо ощущал соскальзывание будущего в настоящее, затем – в прошлое, тогда как, пояснял, настоящее, то бишь палец, пусть и при механическом перемещении по Вечному городу, недвижимо, постоянно, стало быть, только настоящее есть реальность, в ней и надлежит жить. После представления наглядной формулы новейших верований ловко подхватил руль, круто свернул и затормозил у внешне невзрачной, но давно, как признался, облюбованной им таверны, дабы и я отведал, – усмехнулся он, – пиццу богов.

– Долой априори! – мы уселись за стол, накрытый красно-белой клетчатой клеёнкой, тучный повар взялся мять, раскатывать тесто по мраморному прилавку. – Долой, долой! – вскипал Тириц, велел, не мешкая, откупорить... и – предупредил. – Итальянскому простолюдину ли, аристократу-гурману пицца подаётся исключительно для начала, чтобы грубо утолить первый голод, лишь затем... я вспоминал, что и кавказские застолья начинались с горячего, размером с большую сковороду, круга хачапури. Затем Тириц рекомендовал непременно распробовать тортеллини со спаржей, но, разумеется, после клёцок, картофельных клёцок под острым сырным соусом, и обязательно, – подзывал официанта, – обязательно руколу, сладковатую, пахучую, с пармезаном; жадно отпивал *Vardolino*, терпкое, маслянистое.

– Растущие из руин античности, доросшие до наших дней колонны-бездельницы не только освободились от повинности симулировать борьбу с тяжестью, сие вдохновляющее раскрепощение освободило и якобы строгих эллинов, прародителей прекрасного, от неподъёмных тектонических умыслов, которыми и спустя тысячелетия их привычно нагружали легионы туниц от искусствоведения, – Тириц вернулся к дорожной, исчерпанной, как я ошибочно думал, теме. – Пока, – он плотоядно запихивал в изгибистую щель рта ломоть обжигавшей, сочившейся томатом лепёшки, – пока витрувианская метода насаждала отформованный в сопротивлении мраморной тяжести канон, утончённые римляне творили изысканнейшие

чудеса поверх скучноватых правил. Они видели в колонне прежде всего символ опоры и лишь затем – самую опору, символу не пристало тужиться! Не обращали внимания? – примелькалась прелестная римская тавтология, колонны на пьедесталах, чем не памятники символам, символы символов? И сама колонна зачастую превращалась в пьедестал для скульптуры, вознося её к небу, заметили? – близ Испанской лестницы восславили догмат о непорочном зачатии. А триумфальные колонны Траяна, Аврелия возносили к небу не только фигуры самих императоров, но и восславлявшие их лепные послания, – прожевал, проглотил, – вырос лес вариаций... Вандомскую колонну вслед за римскими её прототипами запеленал спиральный рельефный свиток, зато Александринский столп вполне самобытен; гранитный исполин, вонзившийся в облака, невиданно-мощная опора для ангела с крестом – пролетал, коснулся ступнёю куполка над абакой. Правда, ещё раньше, в барокко, с символикой научились играть как с чистой абстракцией – что, кроме символической нагрузки, несёт мощная четырёхрядная колоннада Бернини? Но теперь-то, только теперь, когда столько художественных изысканий осело в памяти, символическим весом мы, изолируясь, нагружаем и случайные колонны, торчащие из руин, просто-напросто выжившие в исторических передрыгках, специально не замышлявшиеся в качестве памятников! И в них, утративших опорные функции древних колоннах, главный для нас урок. Терпеливые века-разрушители старались, обнажали для нас, бесчувственных тугодумов, упряманную под хвалёными масками трепетную суть красоты. Сохранись целёхоньким, Афинский акрополь не заслужил бы сумасшедшего поклонения. Да и скульптура антиков христианские души разбередила утратами: безрукая Любовь, безголовая Победа...

– Не пора ли воздавать хвалу туркам за пороховой склад в Парфеноне? – не смог я не отозваться.

– Парфенону повезло, басурмане, не ведая, что творили, зияниями облегчили массивную дорикку, изъяли лишнее – нам достался образный скелет, прозрачный, пронзаемый и омываемый синевой. Вижу, вижу, задел самое дорогое. Не обессудьте, Илья Маркович, но Герострат выбирает храм покрасивее! И есть смысл в том, высший смысл! – разве не заскучали на выставке в археологическом музее, где вас соблазняли скрупулёзной реконструкцией Форума? И от чего же вас одолела скука? Да оттого, что увидели вы, как время остановилось.

Признаюсь, Гурик, не без задней мыслишки я столь долго перепевал для тебя тирцевские гимны руинам как закваске воображения. Тирцевские речения невольно оживляли давнее путешествие по Кавказу, наш с тобою героический переход по нестерпимой жаре из скально-пещерного Гегарта в Гарни и – само собою! – незабываемый привал с крестьянским супом из баранины, обжигавшей, пряной долмой и сливовым самогоном у древних камней на окраине деревушки, накрытой могучими ореховыми деревьями; благодаря Тирицу я другими глазами посмотрел на замшелые выщербленные ступени, обломы колонн античного портика над извилистым глубоким ущельем.

И вот сомнение, которое угнездил-таки во мне Тириц, – если твоя мечта воссоздать очаровательный языческий храмик сбудется, не остудит ли мнимая победа над временем холодком мёртворождённого слепка?

Кстати, отведал недавно римскую долму – не то!

пока он читал

– Остап, дорогуша, я из машины, – ворковал Филозов, – вычеркни-ка, Христа ради, абзац о домах-угрозах из обвинения. На кой ляд опасно так перегружать преамбулу? И стоит ли нам самим, тянувшим лямку расследования, обывательские слухи подпитывать, нас, если паника

захлестнёт, по причёсочкам не поглядят. Не гони волну, ладно? Поверь, на мази адресная программа усиления и ремонта, для надёжности мы даже антисейсмическим опытом головного закавказского института вооружились – интереснейший научный отчёт профессор Адренасян прислал, ха-ха-ха, и землетрясение нам теперь не страшно, а отменённые башенные пятна я как раз объезжаю в поте лица. Что? Те башни, что заселены? Я же сказал – тбилиским компетентным отчётом вооружились, свои умельцы по усилению конструкций без сна и отдыха шевелят мозгами. Не дрейфь! – железом схватим, не повалятся! У тебя люди? Свободную минуту выловишь – перезвони в машину. У меня тоже с утра раннего пожар с наводнением, написать некогда.

бескомпромиссная (простодушно-настырная) борьба за правду как главный компонент еврейского счастья по-Файервассеру

– Привет, подельник! – бодрился Семён, – до ночи трезвонил тебе, хотел по горячим впечатлениям покалякать, сверить позиции. Ну как, очухался? Ага, и меня изводил, терзал гад, правда, не бил, иголки не загонял под ногти, но какой же он скользкий, гнусный, брехал и не морщился, нелепыми вопросами засыпал, ответов не слушал, часа полтора мурыжил с песенками-побасенками, у-у-у, Стороженко, ничего, эту лощёную суку я фактами на суде дожду. Все протоколы испытаний один к одному у меня подшиты, отпускная прочность бетона и раствора – проектные, не придраться, а торопливые Салзановские молодцы плюнули на зимнюю технологию, у них и бетономешалка в трескучий мороз не вращалась, потом платформенные швы между стенами и плитами перекрытий оттаяли... я докажу, докажу, что чист... каждую страничку лабораторного журнала скопировал, заверил в нотариальной конторе...

Излагался подробный план защитных и нападающе-разоблачительных действий; Соснин отвёл телефонную трубку.

Семён, конечно, был чист, лаборатория его сработала безупречно, однако не могло не позабавить, как он, защищаясь, отважно кидался из боя в бой, лез на рожон, бил наотмашь доказательными бумагами, высвечивал тёмные умыслы властей, срамил беззубость комиссии, всех-всех, кто, воляня, имитировал разбирательство, но так всем надоел своим самодеятельным добыванием истины, своей наступательно-язвительной верой в торжество справедливости, что виновность именно его, Семёна Файервассера, гордого и отважного правдоискателя, в органах дознания уже не вызывала сомнений.

Вновь приложил трубку к уху.

– Подлое время, Ил! Обманывают, продают ради служебной выгоды, Салзанов высоко взлетел, так, себя же оберегая, истинных виновников выгораживает... Не поверишь, Ил, подумаешь, громко сказано, – несло Файервассера, – я счастлив, счастлив, что защищённых партбилетами чинуш и строительных делег-бракоделов с приказчиками из преступной смольнинской лавочки на чистую воду выведу. И не в поганных их кабинетах с полированными столами всю правду скажу, в открытом суде. У-у-у, Влади, как выдрессированный, – заходился гневом Семён, – ловкач, пролаза, ничего за душонкою не осталось! А Стороженко – мразь, на месте бы укокошил! Про твои студенческие шалости выпытывал, намекал, мол, для смягчения судебной участи недурно бы поступать, плакатную историю в подробностях вспомнить... забыл, гад, что нынче другое время...

перелистнул страницу в то время как.....

Стороженко отодвинул телефон, потёр переносицу и одному ему понятной закорючкой на перекидном календаре пометил просьбу Филозова.

Ох, до белого каления довёл вчера Семён Вульфович...

Опять потёр переносицу, стараясь вспомнить анекдотическую фамилию. Попался же нагло-ершистый типчик с маслянистыми глазёнками, но – вперёд!

Впереди были решающие, завершающие напряжённую подготовку к процессу дни, суббота с воскресеньем – и те рабочие. К тому же со вчерашнего вечера, едва за гадёнышем Семёном Вульфовичем закрылась дверь, а возмутительные архивные папки с секретными грифами легли на стол, Остапа Степановича, в отличие от Филозова, будоражило ещё одно сверхважное дело, с обрушением и предстоящим показательным процессом связанное лишь косвенно.

Какая всё-таки у агрессивного Вульфовича фамилия?

Вспомнить не мог, злился.

Усмиряя бурю в душе, машинально продул и закусил мундштук, посетовал вслух, дабы пронять давивших зевки сотрудников, которые были спешно созваны на летучку. – В суровое и честное время не наказали по закону идеологических пачкунов, сжалились над подававшей надежды юностью, а теперь расхлёбываем прогорклую кашу абстрактного гуманизма. Безнаказанность развращает, пачкуны эти, если решительно их не остановить, и до седин не уймутся.

Посетовал, самокритично поморщился.

Из обличительного монолога следователя по особо важным делам обидно выглянула растерянная риторическая фигура, хотя следователь не привык пасовать перед вопиющей наглостью идеологических врагов, сидеть, сложа руки. Напротив, он по-бойцовски, одна о другую, потёр ладони, предвкушая карающее очищение активных разоблачений; тёпленья компания последние денёчки догуливала. Один – плакатист-абстракционист со стажем – играя в красоту стенами и окнами, преступно до статьи доигрался, вот-вот усядется на скамью подсудимых. Другой, самодеятельный языкастый лектор, маскировавшийся под котельного оператора, – утром, перед летучкой, Остап Степанович дал по внутренней связи оперативное добро на выдворение болтуна без тормозов, сразу, сегодня, – пусть историческую родину осчастливит, почешет язычок на перекурах между дойкой коров в кибуце! И к собственному удивлению, не говоря об удивлении сотрудников, так вдруг воодушевился, что громко произнёс вслух. – Его фамилия – Шанский! Третьего... Бухтина-Гаковского, достойного наследника космополита-отца, давно унять пора. Хватит ему, пока другие работают на пользу отечества, безбедно коньячком баловаться. Метнул молнию в огнеглазого, со смоляной бородкой, человечка в коричневом плечистом костюме, скомандовал усилить наружное наблюдение за идейным фарцовщиком, превратившим в свою вотчину интуристовскую гостиницу, чтобы взять под стражу с уликами. Четвёртому, правда, пока Стороженко не избрал меры пресечения, ибо тот на рожон не лез – лишь пошевелил губами фамилию... Бызов не был гуманитарием, выпадал из сектора идеологического контроля, хотя ничуть не внушал доверия, доложили, что повязался псевдонаучными контрактами с заокеанскими, гадившими из-под респектабельных университетских крыш разведывательными центрами; да и расстрелянного отца его, секретного атомщика-ядерщика, завербовали в своё время ливерморские итальяшки. Даром что ли он признавался в содеянном?

Ну и четвёрка непризнанных гениев, подобрались уникамы! К каждому теперь изволь индивидуальный подход искать, но вместе они – грибница, ядовитая грибница, пора бы выдернуть... Выдернем, искореним!

Стороженко улыбнулся, без озабоченности, напротив, с удовольствием потёр переносицу, по контрасту к простой фамилии – Бызов – ему вспомнилась, наконец, и фамилия нелепо-анекдотичная, да-да: Файервассер!

ещё раз

Соснин перечитал:

Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин...

Рим, 31 марта 1914 года

Чудесную изнурительную экскурсию в Орвието отметили ужином по возвращении: до чего же остра, тяжела, обильна пицца богов! Да ещё – сопроводившие пиццу блюда. Правда и возвышенного обжорства с возлияниями нам не хватило; получался прощальный ужин – Тириц на лето уезжал в Биарриц, я после нескольких дней во Флоренции должен был вернуться в Рим, но затем через Венецию отправлялся домой, в Крым, как можно было перед дальней дорогой не продолжить прощание?

– Скитаний пристань, вечный Рим! – приосаниваясь, воскликнул Тириц и где-то на Квиринале радостно бросил до завтра обузу-автомобиль, мимо выросшего во тьме палаццо Барберини, мимо изукрашенной скелетами церкви... пошатываясь, заболтавшиеся кутилы повлеклись в зазывную пляску букв, подмигивания фонарей и всласть покуролесили в визжавших и плакавших скверной танцевальной музыкой подвальчиках на Венето. Заполночь с немой молитвой о возврате кидали монеты под водомёт Треви. – Илья Маркович, – вспоминал протрезвевший Тириц, – перед нашей встречей на набережной вы, кажется, собирались в Трастевере? Ну, так как? Попировать под фресками Фарнезины нам вряд ли удастся, однако я знаю заведение, где к утру соблазнительно забулькает на кухонной плите похлёбка из требухи, – он уже подавал знак извозчику; последний стаканчик граппы, наспех опрокинутый «на посошок» в дымной таверне, когда из неё выпроваживали захмелевших гуляк, для меня явно стал лишним.

– Завтрак, синьор!

Я не отозвался и на повторный стук в дверь.

Давно било в открытое окно солнце, а я всё не мог поднять руку к шнурку ставень-жалюзи. Свершив-таки этот подвиг, я с полным правом вкушал сиесту и остаток дня провалился в постели. Невольно перебирал вчерашние слова и картинки, благо не стёрлись гастрономическими буйствами ночи. Слушал, сбиваясь со счёта, перезвоны часов и меланхоличное дребезжание на ветру жалюзийных створок, тупо провожал соскальзывание в сумеречный угол огнисто-жёлтых полосочек – они бледнели, гасли. Ближе к вечеру щёлки заголубели. И я опять дёрнул шнур, впустил прохладу. Наконец, расстался с подушкой. Со свинцовой головой и мылом во рту, мало-по-малу, впрочем, таявшим от прихлёбываний Valpolicella, я с безотчётно-острым желанием сохранить на бумаге услышанное-увиденное вчера уселся просеивать еретические разглагольствования Тирица – знатока-дилетанта, игрока, победителя по-призванию, как он себя без ложной скромности аттестовывал. От вина и тяжесть в голове улетучивалась.

Начать хотел с письма Гурику.

Уселся и – под звуки кошачьего концерта, наполнившие колодец гостиничного двора, – нацарапал невидимку-букву.

В чернильнице высохли чернила, долго не шла горничная.

сирена за рулём (ночной дневник стартовал)

...на себе испытал, католиков православные братья на дух не выносят, хуже проказы боятся латинской ереси, ей-ей, им магометане роднее – ещё благоверный князь Невский с Ордою миловался, а с европейским рыцарством рубился, как с вражьим племенем; потом, наглотавшись татарщины всласть, Русью её назвали, – пропел с романсовым взрыдом. – Попам нашим, что чалмы, что клобуки. Святая правда, каков приход, таков и поп... Тирица обуюло беспощадное отчаянное веселье. – Не корите богохульством, но старые камни, ей-ей, соврать не позволят, гляньте-ка непредвзято на обращённую в мечеть константинопольскую Софию – женственным купольно-апсидным округлостям православия на диво идут игольчатые минареты! Не выдаёт ли сия жутковатая гармония постыдно-органичную для паств восточных религий тягу к несвободе, которая вот-вот нас наново вспять потащит, в гибельное отторжение от Европы?

куда зовут рассечённые напополам гении?

– Прекраснодушные, критические, болеющие и радеющие за народ реалисты-классики наши – разорванные, мятущиеся меж любовью и ненавистью, зовут, зовут, не зная куда. Холя историческую близорукость, глубокомысленно в будущее светлеющее заглядывают, как в рай, а русское настоящее для них – досадливо-случайный загаженный полустанок, где обитают одни пороки, но, кляня его, норовят взлелеять святость с бедностью и мечтают, мечтают о заслуженной страданиями лучшей доле, там, за горизонтом, алмазы с неба на всех посыплются; он отругал безымянных местоблюстителей мёртвых истин, наставляющих к самоусовершенствованиям в пещерах души; сгоряча оттаскал Толстого за бороду.

– Что толку, однако, пенять классикам минувшего Золотого Века, их объёмно выписанным созданиям, их мечтаниям-сетованиям-поучениям-обличениям? – резко повернулся, впился немигающими глазами, пока мы мчались к выраставшему впереди холму с каменной, как неприступная крепость, деревушкою на макушке; куда несёшься ты, дай ответ? – прошептал, мигнув, Тирица и сразу с наигранной серьёзностью повысил голос. – Кто и сегодня не бросает обвинений в свирепой бестолковщине родной нашей власти и тут же с гадливым безмыслием не утешается презрительным осмеянием педантизма, рутинной узаконенности всяческих процедур в неметщине? И нетерпение, какое нетерпение гложет! Нам вынь да подай немедленно рай... и разве не прав Булгаков? Нам подвиги подавай, подвиги, но не подвижничество.

Я вслушивался, силясь нащупать нерв его беспокойства; смотрел-то он на меня, а словно в пустоту говорил.

И как будто нерв я нащупывал: отказ от скандинавской родословной в пользу византийско-ордынской? Безысходное расщепление русского духа?

Расщепление?

Сколько лет и бед минуло, но те же зыбкие темы провоцируют спор за спором; те же встревоженные мысли, почти те же, рождённые напряжённой замкнутой пустотой слова. В том же идейном тупичке топчемся, как нарочно, весь вчерашний вечер топтались, – вновь поражался напору совпадений Соснин.

– Возьмите некоронованного нынешнего короля фельетона, с ним, – язвил Тирица, – и покойный папёнка ваш, если память не изменяет, у суворинского самовара чайёвничал, о, Василий Васильевич без преувеличения – умнейший талант, зачитываюсь его расхристан-

ными мыслями, сводимыми в афоризмы! Какой там талант – искромётный угрюмый гений! Но, чур меня, чур! – порча наведена на него, он наполам, на враждующие половинки рас-сечён злым волшебником: и самому Господу не понять, что ему по уму, по сердцу? Всё ещё не отводя испытующего горящего взора, Тири развернул плечи, откинулся на тиснёную коричневую кожу массивной спинки сидения. – Околдованный Флоренцией, Василий Васильевич в ней затепленную свечу увидел, духовный светоч, но не долго благоговел, взялся привычно забрасывать Европу комьями грязи за чугунные наши беды; ну разве не рассечён? – то христианство для него светоносно и жизнетворно, то честит его как религию смерти, клянётся, что лишь Ветхим Заветом жив, полон; но смолкают юдофильские откровения – зыркнет исподлобья окрест, тёмным идолам отобьёт поклонны и уже никак не признать ему бейлисовскую невинность, не откреститься от лживой веры в кровавые иудейские ритуалы. И замечали? – юдофильство отдаёт слащавой искусственностью, словно скороспелый плод окультуренного ума, зато юдофобство бьёт наповал натуральной силищей, ибо распирается глубинно-перво-бытным инстинктом, – остывающий взгляд Тирца поглотила дорога, гордый водительской сноровкой, он держал молча и недвижимо руль.

Я пересказал ему беседу отца с Сувориным относительно истоков шизофрении, беседу, по-моему, данную в сокращениях «Новым временем»; мол, симптомы болезни в самих духовных поисках христианина заложены, в метаниях между позывами телесного естества и бессмертной души. – И разве, – спрашивал я, выслушав его молчание, – апостолы Пётр и Павел не две половинки одной природы?

Тири задумался, долго молчал, будто бы внимание настолько отдавалось дороге, что он и слова не мог проронить без риска вильнуть рулём и свалиться в пропасть, так и оставил мой вопрос без ответа.

– Да и к тому же Василию Васильевичу вы не очень-то справедливы, – не унимался я, – помните, обвалилась в Венеции главная колокольня, наши церковники унизились до злорадной возни, антикатолических выкриков и ухмылок? Розанов с сарказмом на ту возню отозвался.

– Я же сказал, он наполам рассечён, на взаимно зеркальные половинки, – прошипел Тири, едва разжав губы, не выпуская руля.

Чтобы разрядить искусственно сгущённую атмосферу, я поделился своим шутивным наблюдением над взаимно зеркальными Диоскурами, сторожившими в Риме вход на площадь Капитолия, в Петербурге – вход в Конногвардейский манеж, воздал должное художественной симметрии, которая свела братьев-близнецов в цельную совместную композицию вопреки их поочерёдному инобытию. Тири благодарно рассмеялся. А за громким внезапным вздохом изливал уже негодование на другой фланг, где и я, зло бросил он, ошивался, костерил восторженные пошлости Блока, поэтические метели коего опаляли пламенем фанатизма. И откуда ослепления стихиями, надрывы-навзрыды, прочие пагубные экстазы в нём, немце? – спрашивал Тири с заговорщицким прищуром и тотчас выдавал заветный секрет, закладывая у губ язвительные морицинки, – от самообманного раздувания первородной самости! Невдомёк европейски воспитанному певчому символисту, что жадно и раскосо смотрит в нас не скифское прошлое, но грядущая деспотия.

Торжествуя, опять жгуче уставился мне в глаза.

пугающие взгляды и нечто

Извечным внутрирусским расколом, дурившим и господ, и холопов ложными целями, он объяснял шаткость трона, на нём невезучий Николашка был обречён досиживать отпущенный ему срок царствования будто бы на двух стульях. Тири обещал, что монаршья власть, эфемерная, как царскосельские иллюминации в дубовых аллеях, вскоре... у него разбо-

лелись суставы, поморщившись, сжал и разжал кулак, сжал и разжал, потом потёр локоть. Вслед за Ключевским он готов был считать Российскую империю историческим недоразумением, которое вдруг растворится в бурях времени, как облако от порывов ветра. Но уж те, кто угодит в это «вдруг», испытают такое... – Двусмысленность и ложь в основе всех ощущений нации, – высокомерно оглашал свой приговор Тири, его отвращало забубенное, бесшабашно-заунывное упоение исключительностью, замкнутостью, якобы вменёнными нам национальной судьбой и лесостепным, с ямищскими колокольцами-бубенчиками, простором на невидимой границе материков, обрекающим нас подчинять историю географии; и ещё измылся он над общенациональной страстью к крайностям, она ведь мутными эмоциями и идейным столпам затмевала взор, торопила обнародовать очередную глупость; боюсь перевернуть, но веховцы и те мелкогато у него плавали. Тири же, активный участник модного философского кружка Майкла Эпштейна, где домысливали на свои лады Соловьёва, был до зубов вооружён полемическими, отточенными на собраниях кружка аргументами, отважно в бытийную глубину глядел, прозревал-диагностировал родовую травму Руси: платоновское разделение мира на идеи и вещи у нас, как водится, с недогнувшею прямою провели, но приняли не умом, а сердцем, возлюбили больше себя идеи, слепливаемые из сладчайших слов. Увязая в елее самообольщений, мы упорствуем, точно помутился разум у всех рассудок: промежутков с полутонами чураемся, вещи – низкая материя! – нам, вполне алчным и вороватым, вроде как противны до жути, а хотим мы сказочно жить-поживать-добра-наживать в раздоре с внешним миром других и – значит – плохих идей, плохих, коли вещи хотя бы и красного словца ради не третируются этими другими идеями, не отвергаются; праведное бесподобное будущее себе на погибель хотим построить в борьбе с чужим, чуждым, насквозь греховным. Даже тот свет в святой Руси удобно и беспощадно надвое поделён на рай и ад, заблудшие-то бедолаги-католики озаботились ещё чистилищем, промежуточным укрытием для загробных полугреешников-полуправедников. Горе нам, гордым и ничтожным затворникам, горе.

– Пётр Викентьевич, «Вестнику Европы» вы, часом, не предлагали печатать свои пугающие соображения? – откликнулся я, наконец, вопросом на утомительные умствования Тирица.

– Знаю, ценю римскую мудрость – verba volant, scripta manent – да, слова разлетаются, написанное остаётся, и, признаюсь, соблазн одолевает тихо засесть во французской моей глуши, холить стиль под гул океана... да, но тут-то и меня гипнотизирует Азия, тут и я покоряюсь восточной мудрости: побольше думать, немножко пописывать, ничего не публиковать! – просиял, обрызгал чёрным огнём зрачков.

ГДЕ И В КОМ ЗЛО

– И от того же, от всевластия крайностей, не только индивидуальные, но и коллективные расколы наши и расщепления! И никакая сверххудожественная симметрия нас не сведёт уже воедино. Западники вроде вас или меня, грешного, – ухмылялся Тири, – безбожники ли, христиане любых конфессий, а то и, допустим, глумливо-разочарованные католики с тем ли, иным философски-религиозным бзиком; однако все, настаиваю – все! – сочные славянофилы, как бы истово не крестились, не блюли посты, сбиваются в беспощадное племя православных язычников, веками и до дня сего вскармливаемое ядами манихейства! Ведь и погромщики наши молятся в кадильном дыму, но заповеди Христовы почитают формально, зато манихейству служат с изничтожающей надуманных врагов искренностью. Вот вам и гибельность восходящего к Платону противостояния духа низостям материи, ещё и нутряная подоплёка его – стародавнее помрачение намертво слиплось с философской посылкой античной школы: всё вещно-материальное, деловое, идущее из Европы – зло, возводимое в зло космическое, а присвоенные себе духовность, душевность, да уездное лобомудрие вкупе с дутым гей-славянским

величием – добро, которое надобно огнём-мечом защищать в простых, невинных, как малые дети, людях от пущей с Запада порчи.

Редкостно-ровный и отчётливый, короче, фантомный почерк.

Даже вычёркивания слов и строчек – будто бы по линейке.

Но расплывались буквы. Модный философский кружок... не на его ли архивные премудрости ссылался вчера московский теоретик?

В голове была каша.

припев

Сколько талантов у нас в России, сколько талантов... и как мало умов!

Тирц против социалистов, вскармливаемых империей крайностей

– Да, у заступников народа в нашенских палестинах – гениев слова ли, убогих бомбистов – мозги вспучены ложью об этом самом народе. Святое в нём, богоносце и богомольце, славят, злое, звериное, – гневно полыхнули зрочки, – замечать не желают, заметив ненароком, замалчивают; а человеческое-то, пока свирепеет борьба за выдуманную или внушённую правду, – потешался, – ухаёт в пропасть между добром и злом, когда добро и зло, свет и тьма понимаются как враждующие абстракции. О, Тирц, ругатель заблуждений и насмешник над предрассудками, беззаветно верил в наличие адского, затаившегося в добрых посулах плана, который ему досталось по пунктам разоблачить! – Гуманистические увещевания-мечтания обожаемых классиков, – резал с металлом в голосе, хотя и смешно гримасничая, – сыгнали с нами презлую шутку, справедливость подавай теперь всем, мы делаемся заложниками охлоса, свобода черни – рабство лучших.

И Тирц, срываясь на крик и уже без паясничанья, всерьёз, напускался на социалистов, он на них, похоже, давно точил зубы. И не за фанатизм и мертвящие идеалы, вовсе нет, его не пугали сами по себе еврейско-немецкие теории капитала, французский утопизм, но... и озорчивое но, вырастая, злоеущую тень отбрасывало. – Смычка надсадной патриотической фанаберии с книжными идеалами света и справедливости, то есть с социализмом, обрекает нас на долгое сокрушительное бесславье, – разводил руки, бросая руль.

зачем всё это?

Попивал вино, перечитывал и правил записанное.

Ну и замес!

Европа и Азия, раболепие и православие, рассечённые, обманувшиеся и обманувшие в лучших побуждениях гении, манихейство, социализм... зачем я напрягаю память, пишу, а не ложусь спать? Опять не мог долго дозваться горничную, наконец, разбудил, принесла с гостиничной кухни сыру.

Тирц (задолго до Бызова!) раскопал корни просветительских бед

Вцепившись побелелыми на сгибах пальцами в руль, заряжался картечью многословия для нового залпа, но попутное восхищение опушенным апельсиновой роцею городком в ложбине, силуэтом барочной колоколенки над бугром красноватых крыши перенацелило его запальчивость.

– Да, барокко вспомнило Бога, возбудилось, хотя сугубо-художественная горячность барокко, затмив ренессанс как «правильный» стиль в искусстве, не могла унять притязаний ренессансного человека – выпущенного джинна не затолкать обратно. Между тем, человек не венец творения, а его инструмент, есть люди-рубанки, люди-молотки, свёрла, по душе ли вам человек-зубило? Не морщьтесь, Илья Маркович, попусту не досадуите – пора бы нам, самоназначаемым светочами, уразуметь, что все идеи человека, все взлёты его, которыми он так кичится, суть средства достижения скрытой, ведомой небу одному цели.

И как он за всю поездку ни разу не поперхнулся своей отвагой?

– Да, ренессанс, – продолжал беглый обстрел далёких мишеней Тири, – гордо изобразил в центре мироздания личность. И эта гуманистическая иллюзия, по сию пору содрогаящаяся одическими радостями, рвущаяся из мрака к свету, лишила раба смертного смирения, вывела его из-под присмотра Бога. Вот она, ключевая ошибка истории! – губительные инстинкты выжили из оцепенения, разбушевались, осталось лишь беспомощно всплескивать руками, ужасаясь, что такое всё чаще и чаще взбредает на человечесий, не в меру пылкий и самонадеянный ум.

припев с дополнением

Сколько талантов у нас в России, сколько талантов... и как мало умов!

– Так ведь Василий Васильевич Розанов и умён, и талантлив, сами сказали, – ловил я Тирица на противоречии.

– Умён. Да не так, не так, он рассечён безнадёжно.

– А есть ли кто-то, кто умён и безнадёжно не рассечён?

– Есть, Пушкин. И ещё, наверно, – застенчиво улыбнулся, – Чехов.

глубина заблуждения

– Что же мы от просветительства получили? – Тириц опять целил в ближнюю, вовсе не упущенную из виду, как мне показалось, мишень.

– Что же мы получили? – повторил, размышляя вслух.

– Свобода отмахалась флагами на баррикадах, а европейские мечтания уныло извратились нетерпимыми, дурно образованными разночинными неофитами; покамест с пеною у ртов о высоком спорили, явились нам мститель-Нечаев с кровавой харькой, революционеры-взрывники, из-за его спины повыскакивавшие. Таких бы выпороть на конюшне, пока не поздно, ан нет, упустили, как всегда, время, душегубов произвели в героев, вот и расхлёбываем.

По правде сказать, – спохватился Тириц, – виной тому не слабование, не отсталости-недоразвитости, а заблуждение, которому тысяча лет уже, тысяча самообманых лет. И энергия этого заблуждения разнесёт всё и вся, русский мир окончательно расколется, раскрошится, крошки разлетятся по белу свету.

Тириц понял, что я жду пояснений.

Помолчал, набрал в лёгкие воздух, ругнул свой артрит, опять потёр локоть.

– Не вас, Илья Маркович, убеждать, что всякий зодчий – утопист по природе, проект города – это сказка о жизни, которой не будет. Однако доморощенных наших социалистов одними розовыми мечтами о сказочном мироздании не ублажить – самозванные зодчие умозрительного русского будущего домогаются властвовать над податливыми умишками, они вот-вот обратят абстрактного врага в конкретного, объяснят, кто виноват, укажут, как древние жрецы, на тех, кто добро воплощает, кто зло и... что делает князь тьмы, выходя к людям? – вдруг спросил, глядя мне в глаза, Тириц и сразу ответил, – ну конечно же, зовёт к свету! Так и социалисты – погонят ослеплённые новой верой и правдой толпы строить на земле рай; голытьбу на богатеев-мироедов науськают, потом...

А свобода черни – рабство лучших, – сокрушённо повторил Тириц; если б он был у руля истории, то точно знал бы, как знал сейчас, ловко управляясь с большим авто, куда свернуть, чтобы не ухнуть в пропасть, где, когда ускорить поступь рока, притормозить. Он потряс кистью, пожаловался, что не на шутку разнылись кости.

.....
Моя задумчивость подтолкнула его продолжить в том же устрашающем духе. – Не в том беда, что трухлявый трон рухнет, беда, что манихейство подготовило народ к праведным злодеяниям – нравственная допустимость, даже необходимость насилия по первому сигналу отворит ворота террору, кровь задурит сильнее браги, – замолк, словно ожидая рукоплесканий, затем добавил, – порушив в угаре жизни, любого злодея над собою признают, лишь бы имел он благодетельный вид; во многом я с ним был почти согласен, но «почти» это всю поездку из-за самоуверенных и логически-противоречивых резкостей Тирица, возжелавшего враз поквитаться с дьявольскою напастью, оставалось неодолимым.

Тириц пугал, пугал, потом, будто успокаивал, раскатисто читал Данте: стрела, которой ждёшь, ленивей ранит... Дочитав, откашливался в кулак.

Окрест простирались божественные, с воздушно-сизым античным виадуком, соединявшим холмы, ландшафты.....

Для пиццей внушительной убедительности Тириц повторял и повторял анафему. – И здесь, в Италии, социалистам неймётся – правительство многоопытного Джолитти, которое запуталось в своих же интригах, социалисты подмять готовятся, смертной войной грозят разуму и всяческому благополучию уравнилельно-разрушительной своей верой. Послушайте этого развязного Муссолини, ораторствующего на грани падучей, почитайте его поджигательскую социалистическую газетку! А уж у нас, манихейцев... Социалистические веяния, взвихря низменные, чёрные, как сажа, архаические поверья, образуют гремучую смесь братоубийственных мифов. От них – культы идолослужения с роевыми взлётами посредственностей, возвышениями на трибунах мелких демонов, воспламенителей толп: недавнему, ошалелому от непрошенной вольницы оголодалому крепостному или рабочему-слобожанцу, рождённому недавними крепостными, ткни в придуманного врага перстом, так они свои грехи мигом на него свалят и – за кольё, топор; люди и топоры объединятся...

и Бог самоустранился

– Что же будет? – спрашивал рассеянно я.

– Плохо будет, хуже некуда! – вспыхив, кричал Тириц, – мы гибнем – и мир наш гибнет, – минуту спустя посмеивался. – Что, убаюкал ужасами? Что будет и Бог не знает, поскольку от нас, непутёвых, устал – брезгливо покачал бородатой головою, рукой махнул. Разочаровался в земной интриге, отвернулся к свежим сюжетам, которых пруд-пруди в беспредельности. Но свято место не опустело, дьявол куда страшней, чем его малюют.

И опять запел про социалистов, про князя тьмы, зовущего к свету.

всё дозволено

Тощий, узкоплечий, с маленькой носатой головкой на худой, длинной, с вытиравшим кадыком, шее. Болезненно-бледный, словно кожи его не касалось итальянское солнце, с синевой на впалых щеках, голубизной дёргавшейся височной вены, он всё ещё прожигал меня удивлёнными и удивляющими глазами, на дне которых я неожиданно уловил испуг.

.....запах крови и гари, возбуждающий всех грязных патриотов, наших, великорусских, особенно, чуеете? И социалисты своего часа ждут, как надо ненавидеть жизнь, чтобы... – не находил слов, сжимал в кулаки и разжимал затёкшие кисти, вновь замирали на руле руки, – и пока мы с вами одухотворённой болтовне предаёмся на фоне итальянской весны, не только наши, российские, все мировые безмозглые подлецы-правители держат носы по ветру, всем им, хищно принохивающимся к крови, гари, только поскорей подай casus belli, потом... почитайте газеты! У них старьёй лгун Джолитти, чтобы власть не потерять, спутывается с молодым идейным поджигателем-лгуном Муссолини, выскочившим из своих статей в политику, как чёрт из табакерки, у нас... – рукой махнул. – Никому не сдобровать потом будет в кровавом хаосе, никому! – Тири, обскакавший всадников Апокалипсиса, расписывал будущее, как очевидец, – западников всех, без сортировки, под корень срежут, за компанию к ним добавят просвещённых славянофилов, затем... так и с расколом покончат – косное большинство верх возьмёт, стадом потянется вспять, в косматое, войлочное кочевье. Пётр, первый и последний наш стихийный европеец-правитель, посрамлён будет, творение его захиреет, лебедой зарастёт. Я-то, даст бог, ноги унесу, в Биаррице укроюсь; там, знаете ли, океанские приливы-отливы дивные, в окнах, за пальмами и тамарисками – закаты густые-густые, как бордоские вина, – забалагурил натужно Тири и вдруг. – Но и там я против тупых патриотов наших и против социалистов останусь, против, покуда жив, гореть им в аду.

Руки лежали на руле.

Режущий профиль новоиспечённого буддиста-стоика озаряла гордая ненависть.

а пока

Чёрная «Волга» с шестёрками и нулями на номерах неслась по шоссе Революции над белой разделительной полосой – шофер заказал по радию зелёную волну, постовые, вытягиваясь, брали под козырёк.

Филозов наслаждался скоростью, шипящим напевом шин и слушал прогноз синоптиков – волнение в заливе усиливалось, ожидалось штормовое предупреждение.

От избытка чувств надумал вспугнуть Фофанова. – Егор Мефодьевич, как, готов ко Дню Здоровья? Всегда готов? Пионерская бодрость похвальна, однако учти, я подъеду скоро, проверю. Собирайся с духом, чистое бельё к исповедальному докладу надень и смету пробежать изволь свежим взглядом. Сто сорок тысяч – слишком жирно на всё-про-всё, без роскоши обойдёмся. Ужимайся, сонных подрядчиков подгоняй нещадно, благо вечера, ночи светлые – пусть повкалывают, пока зори одна другую сменяют.

И не хнычь, не одному тебе от трудностей невтерпёж – если метеосводка не врёт, против трёхбального норд-оста пойдём.

кристалл, ускоритель русского времени

– Но ведь именно в Петровское правление оформлялся идейный раскол между Россией и Европой в самой России, – заметил я, – Пётр Великий в реформаторском раже, что, перебрал жестокостей, когда привычный уклад ломал, столицу на костях строил?

– А-а-а, при Петре случился знаменательнейший разрыв в самоповторах тысячелетней истории! – возбуждаясь, заулыбался, заёрзал Тириц и шаловливо выдавил из резиновой груши противный протяжный вопль, – он уже летел, летел, будто не в руль вцепился, в гриву Пегаса, – а-а-а, в России повелось жертвы понапрасну приносить на алтарь спеси и мессианских глупостей, но тут-то было за что платить! Да?! – вперился расширенными, удивлёнными и удивляющими зрачками, отчаянно горевшими на бледном лице, – головы юный царь собственноручно рубил, орошая бульжники стрельцовой кровью; потом бороды в полевых условиях ампутировал, тащил, как умел, упиравшуюся Московию из трясины увековеченной национальным самообманом отсталости. Однако любые жестокости, будь они напрочь бесполезно-безрезультативными, ему по привычке скорее простились бы, как прощались хотя бы Ивану Грозному – за слепое насилие громче славил. А тут закавыка – Санкт-Петербург, главное Петровское деяние, которое, конечно, напоено жестокостями, было исполнено высокого смысла!

Тириц опять ко мне повернулся, дабы убедиться, что я оценил эту ключевую для его рассуждений тезу.

Что ж, я оценил, он продолжил.

– И откуда, думаете, единая художественная воля взялась, почему Петербургу удавалось претворять бесчётные смутные озарения в твёрдую и непреложную форму? О, – отвечал на свои же вопросы Тириц, – у Петербурга, уникальнейшего из городов, было явное, но лишь постепенно раскрывавшееся предназначение, тайно внушённое и первым творцам его!

Заложив форпост, чудесно превращённый в окно, царь-плотник бросил цивилизаторский вызов величавому хаосу застойной соборности, извечному её саморазрушительному сплочению. И почему, думаете, наши классики, за вычетом Пушкина, не жаловали Петра? Помните-ка как Толстой, всеобщий моралист и учитель, на него, виновника всех ужасов русской истории, обрушивался – беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса... и губил, казнил, жену заточал, распутничал. Ах-ах! – всплеснул ручонками Тириц, – Толстой ему Петербурга простить не мог! Какая смутная мечта мучила раздвоенных русских гениев? – авось, мы без уроков Европы обойдёмся, сами с усами. А Петербург-то велел делаться европейцами. Вот почему матёрого гуманиста, певца непротивлений вовсе не патологические петровские жестокости отвращали, нет! – Толстой глубинных сдвигов в застойной национальной бытийности опасался, и не зря опасался, не зря. Древние правы: фабула важнее морали. А главный моралист наш о фабуле позабыл, хотя, казалось бы, кто ещё знал так в фабуле толк? Петербург-то – плод не царской блажи, но фабулы истории, и какой невиданной фабулы! – Пётр изменил ход мировых событий, основав город в нелепом месте. Да уж, в сверхнелепое это место столько отравленных стрел запущено – некий шутник недавно догадался, что нос, исчезнувший с ковалёвской физиономии, есть Петербург, отвалившийся от России, а много раньше не самый глупый француз предрекал, издеваясь, что закладка в устье Невы новой русской столицы обещает не большие пользы, чем вынос сердца из груди на кончик мизинца.

Тириц перевёл дух, я – тоже. И с искренним нетерпением возжелал слушать дальше, лишь подстегнул. – Но ведь Пётр оставил после себя вопросы, неразрешимые, как квадратура круга.

– Лучшие мучиться квадратурой круга, чем загнывать в общинной поручке.

Тирица уже никто не смог бы смутить, остановить.

– До Петровского вызова, – нёсся он всё быстрее, сыпал тезисами, судя по всему, особенно тщательно отшлифованными им в философских дискуссиях, – духовность столь активно не реализовывалась в истории, века протекали без пользы для нас, а Петербург-то становился и возрождением нашим, и просвещением, и реформацией впридачу; возрастая, фантастически хорошея, внезапная столица ускоряла навёрстывание промотанного в сонных столетиях пустопорожних дрязг, иг, будущее пульсировало в лабораторных пространствах. Вот, Гоголю отсюда, из Рима, виделись сверкания русской дали, но не догадывался поди, что произвольно ещё и сквозь Петербург, как сквозь кристалл, смотрел. В пику былинным картинам беспробудно-удалого распутья Петербург олицетворял-прокладывал путь в Европу, наглядно – по контрасту! – доказывал, что вываренная в собственном соку самобытность, оплаканная и воспетая угорелыми патриотами, вырождается в этнографический паноптикум: расцветает русский мир лишь тогда, когда встречается с другими мирами. И это ненавистное и гибельное для многих, а избранными вымечтанное, как парадиз, место встреч, делалось ещё и рассадником многоцветья – молодой, но такой гибкий, богатый язык наш, искусства, науки, всё, что с обманчивой лёгкостью питал и обретал Петербург, разносилось семенами по обширным, насупленным русским землям, вопреки тупому сопротивлению давало всходы.

Продуваемый живительными западными ветрами, этот холодный причудливый идеал пространственного творения, оказывается, запечатлевал и выражал их, этих земель, скрытые чаяния.

не от мира сего

– Но, помилуйте, откуда всё-таки столь острая неприязнь к Петербургу у Гоголя с Достоевским, которых именно Петербург сделал такими художниками? – очнувшись, переспросил я, как если бы не доверял его аргументам.

Прожог зрачком. – Наши гениальные гиды по блистательным проспектам и мрачным дворам были, повторюсь, напололам рассечёнными, они гордились и боялись; гордились, проглотив свои аришины, собственной статью, – хихикая, изгалялся Тириц, – и боялись, до озноба боялись этого пространственного вызова времени, сделали от Петербурга окончательными безумцами, ещё бы! – такое возросло на тощей родимой почве. И уж точно не постигали они глубинных смыслов того, что видели. Учтите, у классиков наших – удивительно обострённое чувство слова, за что им от нас спасибо, зато зрительное восприятие у большинства из них будто бы атрофировалось, своевольные внутренние движения архитектуры, живописи они с их заскорузлыми в этой трепетной сфере вкусами вообще не могли принять, иные мнения-признания относительно великих городов и холстов читать теперь, ей-богу, стыдно, когда же на Петербург, ни с чем не сравнимый, они смотрели, всё в их испуганных и изумлённых глазах темнело.

Тириц принялся разъяснять. Резюмировал споры, разгоравшиеся на заседаниях эпитетейновского кружка?

– Для Гоголя ли, Достоевского, православных не без экзальтации, страшным искусом был Петербург, он не свой был для них, не свой, но – прекрасный, и они, художники, не могли его неземную красоту – каждый по-своему – не ценить. Боялись её, ох как боялись, но и ценили, пусть бессознательно, но ценили, да. И, наверное, изгадывала их досада на самих себя, недостойных тайного идеала, который, привораживая пугающим и дивным пейзажем, колот глаза как высшая правда. Это же город... не от мира сего. В тяжёленных, оцарапанных золотыми иглами облаках, стеснённых гранитами невских вздохах, палитре штукатурных миражей, согласитесь, играет сверхестественная сила преображения!

Тириц опять стал стискивать грушу, с монотонной пронзительностью гудков мы обо-
знали повозку с двумя крестьянами.

– Да, петербургская красота заряжала расхлябанную русскую жизнь взрывной художе-
ственностью, её, эту начиняющуюся безумствами и насущными причудами жизнь уже впору
было судить скорее по законам эстетическим, нежели нравственным. Гоголь ругал доходную
скуку и бездушие Петербурга, а без ума был от чародейств его, к вещим голосам, звучащим
сквозь бред, прислушивался, взволновано плутал в дорисованных воображением перспективах,
ловил, ловил тайны всеобщих внутренних сдвигов в петербургских фантасмагориях. У Гоголя
Петербург – заколдованное проклятое место, где заправляет всем чертовщина, он романти-
зировал городские ужасы, озирался по сторонам и удивлялся: всё не то, чем кажется... смот-
рел по сторонам с восторгом и страхом перед непостижимостью. А Достоевский нелюбовью
к Петербургу бравировал, охотно ею мог поделиться: окна, дырья и – монументы... смотрел
и отторгал, потому что не видел! Но – чувствовал что-то запредельное, чувствовал. Алча
божьей справедливости, Достоевский в бездны бедных людей заглядывал, там, в брожении
пустых фантазий и бесовских возделений, трепетали студённые петербургские отражения,
от них-то и закипала кровь; меж плоскими издырявленными фасадами выстраивался объём-
ный и пугающе-непривычный мир.

Почему Гоголь предпочитал главную свою вещь писать в Риме? Столько всего показал
и рассказал ему Рим, открыл, перевернул в душе. И хотелось извне, из гармонии, смотреть,
когда же Италия расслабляла, возвещал – пора возвращаться в Россию, набираться злобы.
И злоба эта воплощалась в искусстве. В Риме-то всё иначе было, ведь ещё Блаженный Авгу-
стин здесь вышел из манихейства, понял гибким умом своим относительность добра и зла,
их разъединённость и общность, вжился в плавность и прихотливость, с какими нравствен-
ные противоположности перетекали одна в другую. Но Гоголь-то ощущал собственную при-
частность к русским несообразностям, от манихейства неотделимым, потому, наверное,
и не поддался на уговоры Волконской принять католичество, на балы и угощения к ней ходил,
а...

Я представил себе, как, выйдя в поздний час от Волконской, Гоголь сворачивал за угол
палаццо Поли, стоял, раздираемый неразрешимыми своими сомнениями, перед фонтаном
Треви.

Полоснув меня лихорадочным блеском глаз, католик-Тириц, который свой выбор сделал,
дал, однако, понять сколь близки ему духовные терзания Гоголя, взялся напористо повто-
ряться, развивать сказанное.

– Созидая новую русскую историю, новую и потому тревожную жизнь на зло смехотвор-
ным и кровавым извращениям иных из европейских идей и мечтаний, Петербург пестовал-таки
и русского европейца: пробуждал дремлющие таланты, убыстрял и истончал мысли, чувства,
наделял загадочной, только в приневском пейзаже бурлившей, только из него изливавшейся
во вне психикой. Помните беседу в трактире Раскольниковова и Свидригайлова? Помните, гово-
рил Свидригайлов, что это город полусумасшедших, что редко где найдётся столько мрач-
ных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге? Полусумасшедших... вот
оно, для него, удивлённого, ключевое слово. В души, к бердящей петербургской красоте при-
чащавшиеся, спазматически вторгались возрождение, просвещение, реформация... и – инкви-
зиция! Бескорневая, мнилось, не стоявшая на земле столица измучивала, пытала, понуж-
дала казнить за предательства идеала, который пульсировал, звал в сверкания. И сам-то
Достоевский, духовидец наш, как чёрт ладана ложных идей боявшийся, их гениально и беспо-
щадно разоблачавший, сам же, сам верил истово в русский свет, во всемирное учительство
православия, могла ли его болезненная отзывчивость справляться с такими противоречи-
ями? В чуждом, но необъяснимо-притягательном граде они лишь обострялись. Вот и заде-
лывался Фёдор Михайлович инквизитором, подлинным великим инквизитором, если хотите,

ибо наизнанку выворачивал и героев своих, и читателей! Вот вам и трагически-гротескный театр русской души, подвигающий швырять в огонь миллионы, гениальные рукописи – реактивные надрывы, выкаблучивания, безвкусовые страсти и словесные смертельные потасовки, отнимающие ночи у сна. Вот вам и бесщётные, немотивированные вдруг, которые судорожно дёргали перо Достоевского, – художественность резко меняла русло и скорость преобразующего жизненного течения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.